МИХАИЛ ВОРОНЕЦКИЙ

МГНОВЕНЬЕ — ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Феликс Кон… Сегодня читатель о нем знает мало. А когда-то имя этого человека было символом необычайной стойкости, большевистской выдержки и беспредельной верности революционному долгу. Оно служило примером для тысяч и тысяч революционных борцов.

Через долгие годы нерчинской каторги и ссылки, черев баррикады 1905 года Феликс Кон прошел сложный путь от увлечения идеями народовольцев до марксизма, приведший его в ряды большевистской партии. Повесть написана Михаилом Воронецким, автором более двадцати книг стихов и прозы, выходивших в различных издательствах страны. В книге повествуется о том, как Феликс Яковлевич Кон, революционер интернационалист, начавший свой путь в польском революциопном движении, остался верным до конца главному делу своей жизни — укреплению революционного союза польского и русского пролетариата. Г. М. Кржижановский писал: «Мы строим новый мир, и в этом новом мире не умрет память о Феликсе Коне». Книга «Мгновенье — целая жизнь» — дань этой памяти.

- МИХАИЛ ВОРОНЕЦКИЙ
  -
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - Революционер, патриот-интернационалист, государственный деятель
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

МИХАИЛ ВОРОНЕЦКИЙ
МГНОВЕНЬЕ ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Повесть о Феликсе Коне

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Самое яркое воспоминание о детстве связано с приездом дяди. Это было уже после смерти отца, в последний год перед поступлением в гимназию. Пасху Феликс с матерью встречали у деда с бабушкой. Вечером в квартире раздался резкий и сразу же оборвавшийся стук в дверь. Когда дверь открыли, из промозглой мглы в ярко освещенную комнату шагнул высокий человек сред них лет, облепленный мокрым снегом. Вот он снял мохнатую шапку, шерсть с которой свисала влажными сосульками на лоб, закрывала глаза, и Феликс перевел взгляд с лица ночного гостя на один из семейных портретов, висевших но степам. «Дядя Изидор!» — радостно ударило в голову, и тут же другая, пугающая мысль: «Да ведь он убит».

Дядя Изидор, «убитый» в сражении под Сандомиром за год до рождения Феликса, никогда не приходил к нему даже во сне, хотя все это время, с самого марта 18(53 года, не было ни одного дня, чтобы Изидора Гейльперна не вспомнили в доме Конов. Все ужасно гордились тем, что во время последнего восстания поляков против России в 1863 году Изидор воевал адъютантом генерала Мариана Лянгевича, которого повстанцы 27 февраля 1863 года объявили диктатором всех губерний Польши, Литвы и Западной Белоруссии, взявшихся за оружие.

И вдруг вот он — наяву, живой и невредимый, только сильно постаревший, если сравнивать с портретом.

Мать, дед, бабушка обнимают дядю Изидора, о чем-то расспрашивают и не дают ему снять тяжелый, набрякший сыростью полушубок.

Потом все сидели за обильно уставленным столом, чинно угощали воскресшего из мертвых ветерана, а сильно недослышавший дедушка в который раз спрашивал:

— Так ты говоришь… генерал Лянгевич разделил своих повстанцев на два отряда из тактических соображений?

— Ну, конечно. Как же могло быть иначе? К нам после первых же удачных боев под Сандомиром собралось столько войска, что трудно было маневрировать. Не забывай, мы были окружены царскими войсками.

— Возможно, возможно. Генерал Лянгевич уроженец Познани, а в Познани дураков, как известно, нет. Но вот что до сих пор непонятно… Почему генерал ушел в Австрию? Почему он, только что объявленный повстанческим диктатором, не остался ни с тем, ни с другим своим отрядом, а перешел границу. Уж не испугался ли он ответственности, оказавшись во главе восстания?

Ведь он знал, что австрияки его арестуют.

Изидор вяло защищал своего генерала, при котором когда-то состоял адъютантом:

— Ромуальд Траугутт тоже на первый взгляд поступил странно. Оставил свой отряд в тот момент, когда всюду побеждал, да еще заявил: «Бродить по лесам может и кто-то другой».

— Да, но генерал Траугутт оставил отряд, чтобы пробраться в Варшаву и взять на себя общее руководство восстанием. И, как ты знаешь, в течение полугода успешно его возглавлял. А Мариан Лянгевич, согласись, поступил загадочно.

— Нас всех, отец, рассудит история, — сказал Изидор. — Но генерал Лянгевич не был трусом. Его храбрость отмечал сам Гарибальди, под началом которого он сражался за свободу Италии. И это же говорю вам я, Изидор Гейльперн, его адъютант.

Утро в семье встречали печалью. Изидор, младший брат Паулины Кон, которого в Польше ожидала виселица, должен был покинуть родной кров. И хотя никто не говорил, но все понимали, что видят его последний раз. Дедушка еще храбрился и даже пробовал было снова затеять спор о генерале Лянгевиче. И хотя из этого ничего не вышло, но все-таки видимость какого-то делового разговора была соблюдена. А вот бабушка, как видел Феликс, совсем потеряла себя: глядела на сына, не утирая слез, и никак не могла сказать что-нибудь утешительное на прощание.

— Паулина! — сказала дочери старуха, — пошли Феликса — пусть осмотрит улицу… Нет ли там чего-нибудь подозрительного…

Феликсу дважды говорить не надо: что может быть интереснее поручения «осмотреть улицу»? А через пять минут влетел в комнату и возбужденно объявил:

— Дядя Изидор, а тебя на улице уже поджидают.

— Кто? — разом спросили мать и бабушка, у которой мигом пропали слезы.

— Сыщик.

— Какой сыщик? Что ты говоришь? — бабушка кинулась к окну. — Это же разносчик стоит у ворот…

— Бабушка, я всех разносчиков в Варшаве знаю в лицо, — перебивая старушку, воскликнул Феликс. — Да ты посмотри хорошенько — бывают такие разносчики? Разносчик кричит во всю глотку, свой товар нахваливает, а этот стоит как истукан. А почему? Ага, не знаешь! А я знаю — боится, как бы дядю Изидора не упустить. А почему у него левая рука в кармане? Знаешь? Нет. А я знаю — за свисток держится, чтобы полицейских звать…

— Да-а, — проговорил дядя Изидор, — племянник прав. — И с тоской оглядев двор, обнесенный вместе с садом высокой

каменной стеной, вздохнул. — Придется, видно, пристрелить этого типа. Сразу, конечно, сбежится вся полицейская свора, но иного выхода нет.

— А можно сделать по-другому, — сказал Феликс. — Вот пойду сейчас и устрою этому сыщику скандал. Прохожие будут на моей стороне. Здесь прохожие всегда на стороне тех, кто дерется с полицейскими и сыщиками. А вы, дядя Изидор, тем временем ныряйте мимо…

Так как иного выхода действительно не было, ухватились за план Феликса. И он побежал на улицу. Из всех окон квартиры следили за ним родственники. Феликс крутился около разносчика, ждал удобного момента. Вот идут четверо молодых людей, по виду — рабочие. О чем-то весело беседуют. Феликс кинулся к ним и громко закричал:

— Посмотрите на сыщика! Посмотрите на сыщика! Вот он, переоделся разносчиком и думает, что никто его не узнает!

Парни остановились, подозрительно оглядывая мнимого разносчика. А тот, ухватив Феликса за волосы, трепал его голову из стороны в сторону и приговаривал:

— Какой я тебе сыщик?! За оскорбление я тебе все волосы выдеру!

— Дяденьки! У него свисток в кармане! — крикнул Феликс и, изображая гримасами боль, притворно заплакал…

Парни попытались отнять мальчишку, но разъяренный «разносчик» не выпускал его из рук. Вокруг мигом собралась толпа. Кого-то куда-то тащили, кто-то пробирался к плачущему мальчишке, а все вместе изо всех сил, типично по-варшавски, кричали на польском, русском и еврейском языках… Больше всех доставалось бедному сыщику, которого били по голове его же лотком…

Что было дальше, Феликс не помнит. Заметив, как дядя Изидор, одетый мазовецким крестьянином, проскользнул мимо гудящей толпы, Феликс вырвался и метнулся за угол…

Первые годы учебы в гимназии запечатлелись многими событиями. Одни из этих событий вспоминались весело, другие на всю жизнь оставили в душе горький осадок.

В Варшаве в семидесятых годах прошлого столетия было шесть гимназий. В первой учились дети русских чиновников; в четвертой — отпрыски мелкопоместных шляхтичей; в шестую принимались только наследники магнатских родов; вторая, третья и пятая предназначались для детей из остальных сословий. Феликс учился во второй классической.

В числе особо нелюбимых учителей был некто фон Дуйсбург,

фанатически приверженный к немецкой патриотической поэзии. Однажды, заставляя учеников выучить стихотворение, он сказал:

— В этих чудесных стихах рассказывается о том, как немецкие рыцари разгромили армию поляков…

— Может быть, это случилось при Грюнвальде? — не сдержался Феликс.

«Шваб», как именовали про себя ученики фон Дуйсбурга, услышав название местечка, при котором соединенные польско-литовские и русские войска под руководством польского короля Ягелло наголову разгромили немецких рыцарей, побагровел:

— Вы безнравственный юноша! Я вас оставляю на два часа после уроков в наказание!..

Из времени учебы в старших классах в памяти навсегда осталась трагическая гибель однокурсника Феликса Игнация Нейфельдта.

Возвращение из заграничного турне Хелены Моджеевской, которой гордились поляки, взбудоражило всю Варшаву и предвещало, казалось бы, сплошные развлечения. Особенно возбуждена была учащаяся молодежь. Еще бы! Ведь самые первые спектакли всемирно известная актриса давала в пользу учеников гимназий и студентов. И не было ничего удивительного, что именно студенты стали самыми горячими ее поклонниками.

Однако гимназистам без разрешения начальства не позволялось посещать спектакли. Администрации театра запретили продавать им билеты. Но можно было кого угодно остановить запретами, только не учеников гимназий.

— Или мы не дети и внуки повстанцев? — горячился Феликс. — Нам ли не знать правил конспирации?!

— Ты прав, — ответил Домбровский, — найдем подставное лицо.

— У меня есть знакомая учительница, — вспомнил Игнаций Нейфельдт, — она нам все устроит.

И вот билеты куплены. Заказан венок, перевитый широкой лентой под цвет польского национального флага и поднесен с надписью: «Хелене Моджеевской — польская учащаяся молодежь». Но власти уже настороже: театр оцеплен полицейским нарядом. И все-таки несколько сот гимназистов прорвали оцепление и ворвались в театр.

Наутро начались допросы:

— Были на спектакле?

— Давали деньги на венок?

— Знали, что лента изображает запрещенный национальный польский флаг?

Естественно, что на первый вопрос все ответили «да», а на два

последних — «нет». Тогда было решено во всех трех гимназиях исключить по пять учеников. В их числе оказался и Феликс.

Во второй и третьей гимназиях исключенные приняли удар судьбы спокойно. Но в пятой дело осложнилось тем, что Игнаций Нейфельдт, не попавший в черный список и считавший, что из-за него пострадали товарищи, взбунтовался:

— Это я поднес венок!

— И я, — крикнул Домбровский.

— И я, — присоединился Кон, однофамилец Феликса.

Добровольное признание почему-то взбесило гимназическое начальство, и все трое получили по «волчьему билету», что лишало их права заниматься частной практикой. Игнаций пошел к директору гимназии Хорошевскому.

— Господин директор, — сказал Нейфельдт, — я прошу вас назначить другое наказание. Я не могу лишиться права давать уроки, потому что это единственная возможность содержать престарелую мать. — И, чуть помолчав, добавил: — Если вы не измените своего решения, я застрелюсь.

Хорошевский, крупный и крепкий мужчина, от души расхохотался.

— Жид — и пулю в лоб! Да кто же этому поверит?

Игнаций выхватил пистолет и выстрелил себе в висок.

Гимназия была потрясена. Хорошевского немедленно уволили. А вскоре о трагедии стало известно всей Варшаве. Полумиллионный город содрогнулся. За гробом Игнация Нейфельдта шла процессия в пятьдесят тысяч человек. Таких похорон Варшава не помнила со времен восстания 1863 года, когда хоронили первых пятерых повстанцев, останки которых также провожала многотысячная скорбная процессия. Перепуганный генерал-губернатор Горчаков дал согласие похоронить погибших на главной аллее Повонзковского кладбища…

Решение об исключении гимназистов так и осталось на бумаге.

О приезде в Киев Людвик не стал извещать родителей.

Он горько усмехнулся, представив, какими жалкими станут глаза у матери, когда она узнает, что сына исключили. Прощай родительская мечта увидеть старшего с дипломом инженера! А ведь уж как они старались, чтобы нанять учительницу младшим детям, а старшего снарядить в Петербург.

Семейное благополучие было в корне подорвано в те далекие времена, когда Северин Варыньский примкнул к заговору и отдал все свое имущество в распоряжение повстанцев. Нагрянувший

карательный отряд забрал лошадей, перерезал коров, сжег хозяйственные постройки и дом, а самого пана увез в Киев, где он предстал перед военным судом…

Зато уж теперь-то пан Варыньский не станет упрекать сына за легкомыслие, когда узнает, что тот выслан на родину по высочайшему повелению.

В дороге легко думалось. А думать было о чем. И хотя размышлял он о событиях невеселых, это не печалило. Потому что жизнь еще только-только начинается. Потому что он понял: его призвание быть вожаком, организатором, руководить товарищами. Так на него и смотрели студенты во время недавних волнений в институте. А когда Людвика и Александра Михайлова[1] исключили, в знак протеста забастовали два курса Технологического института. Это ли не пример товарищеской солидарности!

Как переполошилось институтское начальство! Занятия прекратились, в учебных аудиториях с утра до вечера — шумные сходки. Студенты требовали вернуть в институт Варыньского и Михайлова.

Разумеется, не вернули ни того ни другого. Более того, первый курс полностью распустили, а со второго исключили еще несколько студентов и выслали из столицы.

Ну так и что же? Отчисленным из Технологического — открыта дорога… в институт революции. Так-то, господа наставники!

А ведь с чего началось? С одной, можно сказать, случайной встречи. Но почему же — случайной?! Разве он сам не искал этих людей, приехав в Петербург в прошлом году? Конечно, искал. Потому и нашел, что искал. Александр Венцковский, с которым сошелся в первые же месяцы своего пребывания в институте, быстро разглядел в Людвике человека темпераментного, чуткого ко всякой несправедливости и пригласил к себе.

Славные это были вечера, проведенные в квартире Венцковского! Имеете изучали «Капитал» Маркса в русском переводе. Обсуждали статьи из журнала «Вперед», «Исторические письма» Лаврова. Много спорили о книгах Герцена, Чернышевского, Лассаля, Бакунина…

Людвик был готов к участию в кружке Венцковского, потому что еще в гимназии входил в тайный кружок самообразования, приобщаясь к правилам конспирации.

И вот теперь всему этому неожиданно положен предел. Жаль, хотя почему же неожиданно?! Поздно или рано это должно было случиться. А уж коль случилось, то сообразно случившемуся и надо строить дальнейшую жизнь. Надо будет посмотреть, не

удастся ли нащупать какие-либо связи с киевским подпольем. Киев под боком — не может быть, чтобы не подвернулся какой-нибудь подходящий повод проникнуть в здешние нелегальные сферы!

Родители не только не упрекнули Людвика за невольный уход из института, но, напротив, хотели бы, кажется, утешить его и оправдать, обвинив во всем петербургские власти.

— Не тужи, мать, — сказал отец, — если начальники невзлюбили Людвика, значит, из этого парня будет толк. По себе знаю, чем человек честнее, тем он неугодней начальникам.

— Да пропади они пропадом со своими институтами, — храбрилась мать, — как будто без этого человеку уже и жить невозможно.

«Браво, браво, дорогие мои предки! — думал Людвик, ласково глядя па своих стариков светло-серыми глазами и теребя тонкими нервными пальцами русую бородку. — Только уж если вы думаете, что я навсегда похороню себя здесь, то это совсем напрасно. Ради этого не стоило кашу заваривать».

А с противоположного конца стола, за которым завтракала многочисленная семья Варыньских, на Людвика, не мигая, смотрели круглые серые глаза невысокой девушки с каштановыми вьющимися волосами — домашней учительницы младших детей. Все называли ее Филипиной. За столом девушка не перекинулась с Людвиком ни одним словом, но по выражению ее глаз он понял, что она относится к нему с сочувствием и интересом.

А через некоторое время Филиииина свела Людвика с киевскими социалистами.

Так буквально в первые же дни ссыльной жизни нащупал Людвик нужные связи.

Людвик под родительским кровом находился мало — то и дело уезжал в Киев. Иногда ходил с Филипиной Нласковицкой на завод в Кривде. Но все это было из категории «малых дел». Душа томилась по широкой деятельности, которая связывалась с Варшавой, и, как только представилась возможность, Варыньский уехал.

В Варшаве Людвик устроился на фабрику Дильпоп и Рау. Он трудился от темна до темна, постепенно привыкая к нечеловечески тяжелым условиям существования фабричного пролетария.

В один из вечеров он явился в свою комнатушку и застал в ней гостью, которую меньше всего мог здесь ожидать.

— Филипина! — обрадованно воскликнул Людвик. — Какими судьбами?

— Теми же самыми, какими и ты, — улыбнувшись, ответила гостья.

— Ну, вот и добре! Рассказывай, как там наши…

— Да что ж, все живы, здоровы. Просили кланяться тебе. Только я ведь уже давно из вашего дома.

— И что же ты тут делала?

— Живу в деревне недалеко от Варшавы. Работаю и школе. Учу крестьянских детей.

— Добре, добре, что ты приехала. У нас, знаешь, кружок тут составляется, человек тридцать собираются, но больше все народ темный…

— Это студенты университета — народ темный? — с нарочитым недоумением спросила Филинина.

— А что ты от них хочешь? Либо это маменькины сыночки, выросшие в больших квартирах за глухими портьерами, либо дети бедных дворян. Понятие о социализме почти такое же, как у ксендза. Но желание послужить народу велико. Надо их серьезно и упорно просвещать. Впрочем, два-три человека есть по-настоящему толковые. С ними-то прежде всего я и познакомлю тебя. Казимеж Плавиньский, Станислав Мендельсон…

— Ну и какую же цель ставит перед собой ваш кружок?

— Целей много. Но прежде всего, консолидация всех оппозиционных групп, а там на очереди… создание политической организации. Ну а если еще дальше заглянуть, то работы невпроворот. Организацию надо будет развивать, а для этого есть только один путь — пропаганда среди молодежи я рабочих. Да вот беда, Филипина… Нужна социалистическая литература на польском языке. А ее нет. Нужны переводчики, нужна типография, нужна своя газета…

— Не слишком ли много? — усмехнулась Филипина. — Для одной-то жизни?

— Если бы целой жизни! Поюсь, что все это придется провернуть за каких-нибудь два-три года. На большее не рассчитываю. Хорошо бы втянуть в это дело и тебя, Филипина.

— Меня?

— Да, тебя.

— Ну, что же, если ты считаешь, что я чем-то могу тебе помочь, я готова.

— Не мне, Филипина, не мне…

— А кому же еще?

— Польше.

Теперь Людвик не понаслышке, а на собственной шкуре познал нелегкую судьбу пролетарием. Это была тяжкая, почти немыслимая для людей жизнь. Большие семьи ютятся в тесных грязных комнатках-клетушках огромных рабочих казарм с непролазной грязью во дворах. В комнатах никакой мебели, вместо постелей охапка сена у стены. Скученность, полумрак, голодные, грязные, оборванные дети.

Когда Людвик рассказывал обо всем этом в беседах со студентами, собиравшимися в богатой квартире Станислава Мендельсона, многим становилось не по себе.

— А знаете что, — сказал однажды во время шумного спора Варыньский, — есть ведь народ более несчастный, чем поляки…

Стало тихо. Казимеж Длуский, который перевелся из Новороссийска в Варшавский университет, спросил:

— Что же это за народ?

— Это народ пролетариев, — ответил Варыньский. — И если мы посвятили свои жизни делу освобождения народа, то прежде всего должны освободить пролетариев… независимо от того, в каких географических границах они находятся, в Польше или в России. Передний край борьбы проходит не по историческим границам — он проходит через наши сердца. И тому, кто скажет, что я не прав, я отвечу так: побывайте, пан хороший, в рабочих казармах, и вы увидите такую беспросветность, такую великую нужду рабочего человека, что хоть завтра будете готовы пойти на баррикады! Я это видел. Я это знаю.

— Ты нрав, Людвик, — сказал Казимеж Плавиньский, запахивая полы студенческой тужурки, словно его худому тщедушному телу было зябко.

— Да, прав, — сказал и Дулемба, могучий человек в потертом сюртуке. Молча согласились и все остальные.

Людвик переводил взгляд с одного лица на другое, словно стараясь понять, кому и насколько он может довериться в том великом деле, которому отдавал свою жизнь.

Странное дело, до сих пор и потом, до самого конца жизни Людвика, никому не приходила в голову мысль о соперничестве с ним. Все, как само собой разумеющееся, признавали его верховенство, хотя сам Варыньский всегда готов был отдать пальму первенства. Но жизнь поворачивала события таким образом, что на гребне их всегда оказывался он сам. И Станислав Куницкий, этот польский Желябов, до самой виселицы считал себя только ближайшим сподвижником и последователем Варыньского.

Агент охранки, внедренный в созданные Варыньским «кассы сопротивления», доносил: система касс по сути своей

представляет рабочую организацию, где каждая касса объединяет не менее трехсот человек, которые собирают взносы в забастовочные фонды, а избранный ими комитет руководит забастовками; руководитель «касс сопротивления» слесарь Ян Вух, а также слесарь Привислинской железной дороги Хенрик Дулемба на собраниях касс затевают дискуссии по экономическим и политическим вопросам, проводят обсуждение системы централизации и федерализации рабочих организаций…

Вскоре от провокатора охранке стало известно, что слесарь Ян Бух вовсе не слесарь, а проживающий по подложным документам видный революционер Людвик Варыньский, в свое время за организацию беспорядков высланный из Петербурга на родину. Выяснилось также, что снимающие у него угол жильцы Людвик Кобыляньский и Ян Томашевский — тоже революционеры, разыскиваемые полицией.

Жандармы нагрянули с обыском, но промахнулись: жильцам удалось скрыться.

— «Отцы сенаторы! До каких пор Катилина будет испытывать наше терпение!» — громко прочитал Феликс переведенную с латыни фразу. — Однако как же правильно — «будет» или «будешь»?

Феликс раскидал на столе бумаги, отыскивая свои вчерашние черновики, но найти не мог. Значит, опять заходила Хелена и унесла к себе перевод этой речи Цицерона против Катилины в древнеримском сенате.

— Хелена! — крикнул он в открытую дверь. — Ты не брала моих последних переводов?

Ответа не последовало. Когда же она ушла? Неловко искать на чужом столе, а делать нечего — завтра латинский первым уроком, а у него ничего не готово. Можно будет извиниться. Сестра тоже хороша — берет и никогда даже в известность не поставит…

К преподаванию древних языков в классических гимназиях относились в высшей степени серьезно, приготавливая своих питомцев к поступлению в университет, где лекции читали в основном на латыни. Ученики ежедневно получали задания — переводы с древнего на русский и наоборот.

Много неприятностей приносили переводы гимназисту Кону, но он был вознагражден тем, что получил возможность читать в подлинниках древних философов и писателей, изучать постановления и законодательные акты древних республик. Он стал задумываться над преимуществами республиканского строя, когда глава государства не наследует власть, а избирается

народом, перед самодержавным…

Ничего не обнаружив на аккуратно прибранном столе сестры, Феликс машинально выдвинул верхний ящик. Его взгляд сразу же уцепил какую-то брошюру. Сначала он хотел просто полистать её, но, читая, увлекся. И вдруг понял, что это нелегальная брошюра и что, попади она в руки властей, сестре не миновать крепостных казематов.

Сестра, конечно, ужасно рассердится, узнав, что он без разрешения «конфисковал» ее, но делать нечего, придется пойти на это, чтобы преподать урок конспирации.

В окно, выходящее в сад, виднелась полуразрушенная беседка на высоком основании, обшитом полусгнившими досками. Лучшего места для тайника нельзя было отыскать…

Жандармы явились ночью. Они, как черти из преисподней, всегда являются ночью.

Ввалились толпой — как будто в разбойничье логово, а не в квартиру, где тихо жила вдова с детьми. Отворившую им дверь в переднюю пожилую замешкавшуюся служанку оттолкнули в сторону и наполнили квартиру запахами новенького сукна, свежевыбритых лиц, нагловато-вежливыми улыбками.

Жандармы молодые, рослые, казенно-щеголеватые, каждым жестом давали понять, что обыск для них занятие крайне неприятное и относятся они к нему формально настолько, насколько это позволительно по долгу службы. Не проявлял рвения и распоряжающийся обыском капитан Секеринский, хорошо известный варшавской молодежи мнимой либеральностью, за которой скрывались жестокость и коварство. Он тоже был молод, высок, красив, с преувеличенно извинительной миной на тонком смуглом лице. К сестре и матери Феликса обращался только по-польски, всякий раз просил прощения за то, что вынужден их потревожить, и был явно обозлен тем, что обе женщины молча выполняли все его просьбы и не собирались отвечать на его жандармскую сердечность.

От Секеринского не отходил широкоплечий, с осиной талией жандарм с очень молодым лицом. Он и в самом деле мог показаться человеком сердечным и доброжелательным, если бы не постоянная, словно впаянная в холеное лицо фальшивая улыбка. Именно он чуть сузившимися глазами показал капитану на письменный стол и в то же мгновение поймал испуганный взгляд Хелены.

Феликс, стоя в простенке между двумя высокими окнами в сад, видел, как побледнело лицо сестры, когда капитан медленно, словно нехотя, прошел к столу, так же медленно выдвинул ящики и через плечо вопросительно глянул на улыбчивого жандарма.

Хелена, переведя дыхание, в недоумении поглядела на брата. Феликс понял, что она вечером не заглядывала в стол, и его перестали мучить угрызения совести за то, что он без ее разрешения изъял брошюру.

В четыре часа утра, перетряхнув все книги па полках и в шкафах, выкинув из туалетного столика склянки с духами и баночки с кремами, вывалив на ковер из комода белье и перевернув постели, жандармы прекратили обыск. Ничего «предосудительного» не было найдено, и Феликс совсем было успокоился, полагая, что через несколько минут, когда будут соблюдены все формальности в связи с необоснованным обыском, жандармы уйдут и семья, успокоившись, разойдется по своим комнатам. Но Секеринский, натягивая перчатки и почему-то пристально глядя на розовый абажур настольной лампы, сказал:

— Вас, пани Паулина, и вас, пани Хелена, я, к сожалению, должен препроводить в управление.

Хелена, гневно сверкнув стеклами пенсне, прерывающимся голосом спросила:

— По какому праву? Среди ночи врываетесь в частную квартиру… Всю ночь мучаете без сна… Ничего не находите… И что же? Вместо того чтобы извиниться, тащите в свое мерзкое учреждение, даже не потрудившись объяснить причины ареста… — Хелена махнула рукой и, торопливо одеваясь, все продолжала говорить: — Впрочем, о каком праве может идти речь? Здесь существует только одно право — на произвол властей и бесправие граждан…

Феликс видел, как Секеринский повернул свою красивую голову в сторону Хелены и как усмешка скривила его бескровные губы. Выражение лица не стало ни злым, ни оскорбленным, но на нем можно было легко прочитать все, о чем капитан сейчас думал: «Что ж, говорите, говорите, милая. Все так говорят, все возмущаются, все проклинают, но от этого ничего не изменится — ни на капельку не изменится. И вы прекрасно знаете, пани Хелена, что за участие в нелегальной деятельности вас ждет Сибирь».

Феликс подошел к матери. Она, уже одетая, взялась за его плечи, чтобы дотянуться губами до его лица, поцеловала, и без слез, как и подобает польской матери, сказала:

— Не отчаивайся, мой мальчик. Я скоро вернусь. Все выяснится — и я вернусь.

А когда к нему подошла прощаться сестра, Феликс наклонился, чтобы поцеловать, и хитро подмигнул ей. Хелена поняла, что исчезновением брошюры она обязана брату, и благодарно ему улыбнулась.

Нет, думал Феликс, они просто все сумасшедшие, все эти жандармы, губернаторы, сенаторы… со своим императором! Сумасшедшие, видящие чуть ли не в каждом гражданине подвластной им необъятной империи потенциального государственного преступника. Иначе чем объяснить бесконечные преследования и жесточайшие приговоры за самое малейшее проявление свободомыслия? Разве в цивилизованной стране народ может вечно терпеть этот противоестественный человеческому разуму и чувству порядок всеобщего подозрения и мстительного преследования?!

Варшавская цитадель, куда заключили Хелену (Паулину Кон вскоре освободили), была сооружена по указу императора Николая I после восстания поляков 1830 года, распространившегося на польские и литовские земли, входившие в царскую империю. Быстрый на расправу, император приказал срыть многие усадьбы польской буржуазии, возникшие еще в XVIII веке в северной частп Левобережья — в красивейшем предместье Желибож. Среди уцелевших вилл и садов позднего средневековья возникла зловещая тюрьма — крепость, ставшая местом заточения и казни революционеров.

Когда удавалось добиться разрешения на свидание, Феликс спешил в предместье Шелибож. Разговаривали через две решетки под присмотром надзирателя. Сначала это смущало Феликса, но потом он привык и перестал обращать внимание на торчавшего в двух шагах безучастного тюремщика.

Иногда, возвращаясь, Феликс пытался представить себя на месте сестры, по ту сторону заграждения, но усилием воли переключал размышления на что-нибудь не столь мрачное. Нет, он не испытывал страха и даже был уверен, что, если бы его вдруг арестовали, он не дал бы жандармам повода порадоваться его смятению. Просто он был молод, ему шел пятнадцатый год, и все его существо не могло смириться с мыслью о неволе. Ему казалось, что он не выдержит и месяца существования в каменной клетке — без возможности бесцельно бродить по улицам, посещать по вечерам Лазенковский парк, где играет военный оркестр, случайно забредать в незнакомые переулки и подолгу рассматривать витрины и вывески мастерских и магазинов, которых в Варшаве великое множество.

Да, он был молод и еще плохо знал самого себя, а потому удивлялся сестре, которая может жить в мрачной камере, в минуты свидания приходит к решеткам спокойная, деловитая, с искренним интересом расспрашивает мать и брата обо всем, что обычно интересует людей, долго не бывавших в своем доме. Она

даже улыбается иногда. Нет, Хелена удивительная девушка! Необыкновенно мужественная! А он прежде об этих сторонах ее характера и души даже не подозревал…

Как-то Феликс захворал. Мать отправила его на курорт Шавницу, в Галицию. Там во время одной из прогулок к нему подошел молодой человек в потертой студенческой тужурке. Впалые щеки, заросшие бородой, горячечно блестящие, глубоко посаженные глаза. Познакомились. Юноша оказался студентом. Звали его Казимежем Плавиньским. Разговорились. Он недавно из крепости, куда угодил за организацию рабочих кружков на варшавских заводах.

— Вы что-нибудь слышали о Врублевском? — спросил Казимеж.

— Еще бы! — восторженно отозвался Феликс. — Мой дядя участвовал в восстании шестьдесят третьего года. Генерал Врублевскпй — один из моих любимых героев.

— Генералом его сделала Парижская Коммуна, — добавил Плавиньский.

— Знаю.

— А знаете, что он заявил публично? Что народы Польши и России должны вместе выступить под лозунгом «За нашу и вашу свободу!».

Феликс на минуту задумался, потом, быстро глянув в доброе лицо Плавиньского, сказал:

— Значит, польские рабочие должны быть вместе с русскими пролетариями?

— Конечно. Об этом хорошо сказал мой товарищ Людвик Варыньский… «Есть народ более несчастный, чем Польша, — это народ пролетариев». И еще он вот что мне говорил: «Если ранее очагом революции была Польша, то теперь уже революцией чревата Россия, и руководят ею социалисты».

— А что он за человек? — спросил Феликс.

— Людвик? Революционер-социалист. По убеждениям. А вообще-то он, как и я, бывший студент. Технолог. В первый же год учебы в институте вступил в революционный кружок. Ну и, разумеется, из института был исключен. Выслан. Его отовсюду высылают. Из Петербурга, из Кракова, а из Варшавы ему пришлось бежать самому. А меня успели схватить.

— А вы… тоже социалист?

— Да. Социалистов сейчас в мире много. Это люди, исповедующие учение революционного марксизма. Если интересуетесь, могу дать кое-что почитать.

— Буду вам очень благодарен.

— А сколько вам лет? — как-то неожиданно спросил Плавиньский.

— Шестнадцать. — И тут же, немного помолчав, спросил: — Вы говорите, что социалистов в мире сейчас много… А в Польше есть какая-нибудь социалистическая организации?

— Не знаю. Но в Цюрихе уже несколько лет существует польское социал-демократическое общество. Мы, социалисты, выставляем лозунг самоопределения наций. И призываем к свержению существующего строя в Австрии, Германии и России. Но мы мыслим это свержение не путем национальных восстаний, а путем социальной революции.

Гимназическое образование дало возможность Феликсу быстро освоить социалистическую литературу, которой поделился с ним Плавиньский.

Феликс вернулся в Варшаву другим человеком — молчаливый, замкнутый, сосредоточенный на своих раздумьях. Он теперь внимательно приглядывался к каждому человеку, с которым близко сталкивала его жизнь, искал людей, с которыми можно было бы поделиться своими размышлениями. В гимназии у него были друзья, но пока ни на ком, кроме Людвика Савицкого, он не решался остановить свой выбор. А Людвик опередил его. Как-то в перерыве между занятиями он отвел Феликса к окну, у которого никого не было, и сказал:

— Ты, конечно, пойдешь завтра на Повонзковское кладбище. Я тоже там буду. Но приду попозже, к концу траурной церемонии. Подожди меня у могилы Юзефа Бейте. Хорошо?

— Разумеется.

На кладбище Феликс пришел одним из первых. Люди потянулись сюда в полдень. Следом за уцелевшими ветеранами восстания шестьдесят третьего к главной аллее подходят безусые притихшие гимназисты и реалисты, взлохмаченные длинноволосые студенты с бородатыми лицами и с револьверами в оттопыренных карманах — на случай нападения полиции… Люди молчат, склонив обнаженные головы. Стоя у могилы первых жертв, Феликс думал все время и о другой могиле. И когда стали покидать кладбище, Кон, незаметно отделившись от товарищей, направился к одинокому безымянному холмику за оградой. И может быть потому, что перед глазами все еще стояли погруженные в печально-траурную тишину деревья главной аллеи, стерегущие покой братской могилы там, в глубине кладбища, беспризорная могила Юзефа Бейте, рабочего-социалиста, убитого часовым, показалась ему теперь особенно жалкой и неприкаянной. С каким-то ошеломительным прозрением подумал он вдруг о том, что жизнь может свести по

одну сторону баррикад гордого шляхтича и бесправного крестьянина-косинера, галицийского магната и доведенного нуждой до полного отчаяния фабричного работника. И если случится, что оба они падут, то и тогда, и после смерти, их никто не уравняет в правах; одного положат под мраморное надгробье на главной аллее, а другого зароют, как собаку, за оградой, на пустыре, где по утрам бессмысленно маршируют солдаты из соседнего военного лагеря и учатся убивать своих братьев по классу, а к вечеру бродит отбившийся от стада домашний скот и сводят между собою счеты нищие и воры.

Ожидая встречи с Савицким, Феликс старался разгадать, почему тот назначил местом встречи именно могилу Юзефа Бейте. Ведь укромных и уединенных мест немало и в центре города. Там они без труда нашли бы уголок, где их никто не увидел бы вместе. А в том, что Савицкий на примете если не у жандармов, то у гимназического начальства, Феликс не сомневался. Он честен, смел, подлецам и подхалимам не подает руки, не заискивает перед власть имущими. И Феликс не мог ему не симпатизировать. И вот теперь этот умный и рассудительный человек назначает конспиративную встречу в таком месте, где их может увидеть и запомнить всякий, кто готов послужить делу сыска за тридцать сребреников. Как же так?

Феликс даже приостановился от удивления, настолько простым вдруг открылся ему ответ на этот вопрос. «Да как же я не мог догадаться! Ведь и Савицкий бывал не раз на этом кладбище. И так же, как и я, постояв у решетки могилы первых жертв, потом медленно шел к могиле за кладбищенской оградой и глядел на оседающий холмик черной земли над прахом Юзефа Бейте, который еще недавно, захлебываясь от волнения словами, выступал на тайных рабочих сходках в кружках Варыньского, пытался сойтись с солдатами — и за то был убит…»

Савицкий появился минута в минуту. Феликс, притащившийся к месту свидания за полчаса до назначенного времени, даже не заметил, когда и откуда тот подошел к нему. Но еще более удивился Феликс перевоплощению своего товарища: того Савицкого, которого он знал, — гордого и даже надменного, редко улыбающегося и мало с кем заговаривающего, он не узнал… Перед Коном стоял, добродушно улыбаясь, юноша, на лице которого прежними оставались одни глаза. Он подал Феликсу руку, как будто они не встречались сегодня уже дважды. И Феликс в этом усмотрел не только жест вежливости: ведь и в самом деле такого Савицкого он видел впервые.

Но Людвик в любом обличье был притягателен: лицо, жесты, сама осанка выдавали человека незаурядного, личность цельную

и, может быть, даже исключительную.

Он взял Феликса под руку, и они пошли вдоль ограды, изредка поглядывая на проезжающие по шоссе в отдалении экипажи. Над плоскими и темными крышами казарм отчужденно опускалось солнце. Его бледно-оранжевый свет путался в пыли, поднимаемой дрожками и колясками. За казармами виднелись, затягиваемые сумерками, неровно вырисовывающиеся на горизонте здания, на окнах которых то вспыхивал, то тут же гас отблеск заката. Савицкий, чуть приостановившись, сказал:

— Есть сведения, что жандармы засылают своих людей в кружки самообразования. Имена некоторых провокаторов уже известны, их сообщают из Петербурга наши друзья. Именно благодаря провокаторам так часты провалы и аресты. Так что ни с кем особенно не откровенничай. Мы должны извлечь уроки из этих арестов…

— Ты что хочешь сказать?

— А то, что мы должны создать свой кружок, но действовать более осмотрительно.

— Я готов, Людвик, но кого еще ты думаешь привлечь в наш кружок?

— Мы должны поговорить с Козерским и Трочевским…

— И с братьями Домбровскими. Я хорошо знаю обоих — и Вацлава, и Игнация.

— Правильно. Люди надежные. А что ты думаешь о Центнаровиче?

— Центнарович не годится, — пылко возразил Феликс.

— Почему? — удивленно спросил Людвик.

— Он слишком неравнодушен к своей внешности, чтобы стать революционером.

Савицкий расхохотался.

— Ну и рассмешил ты меня! Вспомнн-ка Пушкина. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». А Робеспьер, а Сен-Жюст?

— Хорошо, — смущенно сказал Феликс. — Я снимаю свое возражение. А что ты скажешь о Пацановском, о Гандельсмане, о художнике Барановском?

— Стас и Вацлав, по-моему, люди неглубокие, к тому же позеры, а Барановского я знаю очень мало. Угрюм, замкнут, но, кажется, человек серьезный. Надо поговорить по душам…

— За Пацановского я ручаюсь, Людвик, — твердо сказал Феликс, — а насчет Гандельсмана решай сам.

— Ладно, — согласился Савицкий, — подумаем. Но будет правильно, если мы пригласим в кружок рабочих…

— У тебя есть знакомые?

— Да. Есть надежные ребята. Особенно двое — Ян Пашке и Михал Оссовский. Это для начала, а там посмотрим. И еще, Феликс, я хочу, чтобы ты прочитал вот это… — Савицкий снял фуражку и вынул из нее несколько тонких листков бумаги с густо отпечатанным на них текстом.

— Что это? — холодея от восторга, спросил Феликс.

— Программа польских социалистов.

— Как она к тебе попала?

— Это вопрос несущественный, — неопределенно ответил Савицкий. — Впрочем…

— Можешь не говорить, — перебил его Феликс, — я и сам знаю, его передал тебе Казимеж Пухевич. Мне Плавиньский говорил о нем.

— Да, ты прав, — просто сказал Савицкий. — И тебя, конечно, нет нужды предупреждать, что все должно остаться между нами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Выпускной бал в Марниискоm институте был в разгаре, когда Феликс, предъявив пригласительный билет швейцару, быстро поднялся по широкой мраморной лестнице, устланной голубым ковром. На втором этаже он вошел в раскрытые двери актового зала и остановился. Глаза его скользнули по устало блестевшему паркету. В глубине залы на возвышении он увидел живописную группу институтского начальства и гостей, расположившихся вокруг ненавистного всей Варшаве обер-полицмейстера Бутурлина, и отвернулся.

Воспитанницы института чинно сидели на стульях вдоль незашторенных окон, а справа от двери, у колонн, толпились приглашенные на бал партнеры для танцев. Феликс отличался характером общительным и потому нашел здесь много знакомых и приятелей. Вон в позе Дантона со скрещенными на груди руками стоит его одноклассник Стас Пацановский. Людвик Савицкий, у которого на лбу написано, что это будущий гений, озабоченно беседует с кандидатом прав Казимежем Пухевичом. Казимеж недавно выкарабкался из Цитадели и теперь в качестве самого популярного в городе человека на всех взирал свысока, то и дело солидно поправляя пенсне в золотой оправе.

— Бог, создавая поляков, слишком поусердствовал над моделью женщины, — громко говорил на возвышении Бутурлин, адресуясь к высокой красивой молодой женщине, преподающей в институте математику, — вот почему у поляков представительницы прекрасного пола так очаровательны… — Генерал даже покраснел, почувствовав великое удовольствие от того, что благополучно добрался до конца столь трудной фразы.

— Вы нам льстите, ваше превосходительство, — ласково сказала преподавательница математики, но удивительно синие и глубокие глаза ее остались бесстрастными и далекими ото всего, что они здесь видели.

— Увы! — покачал своей квадратной сановной головой Бутурлин. — По отсутствию красноречия я и в малой степени не воздал должное вашей красоте…

Его превосходительство споткнулся, не зная, в какую сторону повернуть игривую, как ему подумалось, мысль, чтобы не показаться нескромным, но прекрасная молодая дама, воспользовавшись заминкой, извинилась и сошла с возвышения.

Феликс инстинктивно обернулся и увидел, как прямо на него быстрым ровным шагом шла высокая синеглазая красавица. Он узнал в ней классную даму и преподавательницу математики

Александру Ентыс, подругу его сестры. Она подошла к нему, мягко улыбнулась и, взяв под руку, подвела к невысокой и хрупкой на вид девушке с круглыми карими глазами, с припухлыми губами, с родинкой на левой щеке.

— Розалия, — сказала классная дама, — этот юноша — брат моей несчастной Хелены, о которой мы сегодня с тобой говорили. Феликс, поручаю вам мою воспитанницу и надеюсь, что вы не заставите ее скучать. А меня прошу простить. По долгу службы, — добавила она тише, — я должна развлекать гостей, которых куда охотнее послала бы ко всем чертям!..

Розалия и Феликс одновременно улыбнулись последним словам классной дамы, так не вязавшимся с ее чопорным и строгим видом, и эта обоюдная улыбка как-то сразу расположила их друг к другу.

Одетый в узкий черный смокинг, Феликс танцевал легко и красиво и видел, что это нравится его улыбчивой партнерше. В перерыве между мазуркой и вальсом Розалия спросила:

— Вы, очевидно, в университете?

Феликс смутился и какое-то мгновение молчал. Стоявший поблизости Савицкий обернулся к ним.

— Извините, пани, — сказал Людвик с полупоклоном — но я, рискуя навлечь на себя неудовольствие моего друга, отвечу за него: выпускные экзамены в нашей богом хранимой второй классической гимпазии нам еще предстоят.

Савицкий, отделавшись еще одним изящным полупоклоном, удалился. Розалия глядя снизу вверх на Феликса смеющимися глазами, спросила:

— Так вы гимназист?

— А вам бы хотелось, чтоб я был приват-доцентом?! — сказал он.

— Нет, — продолжая глядеть на юношу озорными глазами, ответила Розалия. — Из вас получился бы отличный драгун. Но тогда я не смогла бы… заинтересоваться вами.

— Почему? — спросил Феликс, принимая предложенную Розалией игру.

— Потому что я терпеть не могу драгун. Я люблю… гим-на-зис-тов.

Классная дама несколько раз улыбнулась им издали.

— Какая славная женщина! — сказал Феликс, увлекая девушку в круг танцующих.

— Да, очень хорошая, — благодарно глянула ему в глаза Розалия, — а между тем… многие ее считают сухой и педантичной.

— Значит, те, многие, иного отношения к себе не

заслуживают, — подытожил Феликс.

— Да? Я тоже так думаю.

Польки, вальсы, мазурки. Долгие, упоительные взгляды. Пресекающиеся от внутреннего трепета голоса. С ума сводящие прикосновения рук. Короткая летняя ночь, доцветающая в глубоких, настежь раскрытых окнах. Варшава. Юность. Ощущение беспричинного счастья и никому не понятной тревоги.

Программа польских социалистов, в конспиративных целях названная Брюссельской, была направлена для обсуждения в революционные кружки. По мысли Варыньского, она должна была объединить их в единую революционную партию.

Состоялось обсуждение и в кружке Савицкого. Феликс пришел на собрание с молодым рабочим Яном Пашке — молчаливым человеком. Много было совсем незнакомых, но никто ни с кем не знакомился, никто никого не представлял, говорили без всякого порядка, как на любой студенческой пирушке. Но на этот раз на столе были только чай и печенье.

В центре — Казимеж Пухевич. Высокий, сутуловатый, он терпеливо разъяснял пункты программы тем, кто успел с ней ознакомиться.

— Я хочу зачитать вам тезис, весьма знаменательный для развития социалистической мысли в Польше. Вот, послушайте: «Триумф принципов социализма является необходимым условием лучшего будущего польского народа, участие в борьбе с существующим общественным строем является обязанностью каждого поляка, которая ставит судьбу многомиллионного польского народа выше интересов шляхетско-капиталистической части народа».

— Как это понимать? — воскликнул Пацановский, скорее для того, чтобы обратить па себя внимание. Феликс хорошо знал Стаса, с которым вместе учился с пятого класса гимназии.

— А понимать это надо так, — медленно проговорил Казимеж, снимая пенсне и протирая его клетчатым платком, — что у нас нет и не может быть иной цели, как борьба за социалистическое общество.

— Значит, — неожиданно для себя поднялся Феликс, — будущее нашего народа может быть связано только с социализмом. И если мы живем для будущего нашего народа, то мы всеми силами должны стремиться утвердить в стране социалистический строй! А поскольку шляхетско-капиталистическая часть общества добровольно не сдаст свои позиции, неизбежно встает вопрос о грядущей революции. Это должен учитывать комитет…

— Если таковой, конечно, имеется, — вставил Станислав Пацановский. Братья Домбровские и Гандельсман рассмеялись. Но Феликс не обиделся. Он оглянулся на Людвика Савицкого, сидевшего за столом рядом с Пухевичем, и добавил: — Если комитета нет — комитет должен быть создан.

Поднялся стройный, элегантный Центнарович.

— А скажите, пан кандидат, — обратился он к Пухевичу, — чем объяснить, что в программе отсутствует тезис о необходимости захвата власти рабочим классом, нет ни слова о роли государства, о его функции после революции… Ничего не говорится о замене буржуазной административной машины народной властью… А ведь, как известно, эти идеи высказывались еще Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии».

— Это все так, — весьма уважительно проговорил Пухевич. — Но сейчас главное — пропаганда социалистических идей, экономическое освобождение трудящихся. И вообще — многие пункты Брюссельской программы я считаю ошибочными.

— Например?

— Можно и примеры привести. Во-первых, я считаю принципиальной ошибкой, что в этой программе нет ни малейших намеков на сочетание борьбы за социальное освобождение с национально-освободительной борьбой.

— Пан кандидат абсолютно прав, — сказал, ни на кого не глядя, Савицкий, — как ни крути, а национальный вопрос не обойдешь, он был и останется самым актуальным политическим вопросом.

— Да, да, и я целиком с этим согласен, — воскликнул Пацановский, — пока Польша не освободится от гнете самодержавия, мы не имеем права игнорировать национальный вопрос.

— Иначе нас не поймет народ, — тихо, но веско резюмировал Савицкий.

— И потом, учтите, — вставил Пухевич, — Брюссельская программа даже не упоминает о самостоятельности революционных движений Литвы, Украины, Белоруссии…

— Но это же само собой разумеется, — кипятился Феликс. — Когда совершится революция, все вопросы разрешатся сами собой, все беды и несправедливости будут ликвидированы, а социальная революция одновременно ликвидирует как социальный, так и национальный гнет.

И тут вмешался в спор молчавший до сих пор молодой рабочий:

— Погодите, — громко сказал он, — а почему все надежды

возлагаются на революцию? Почему нельзя еще до революции добиваться самых обыкновенных политических свобод? Свободы слова, собраний, рабочих профсоюзов?

— Да потому, что русское правительство никогда не пойдет даже на это.

— Самодержавие изживает самое себя, — сказал Пухевич, — и наша задача сейчас — вести пропаганду, Конить силы, добиваться социальных преобразований.

— Легальным путем? — иронически улыбнулся Феликс.

— Да, в том числе и легальным путем. Организовывать рабочих, поддерживать их экономические требования, бороться за сокращение рабочего дня, страхование, повышение зарплаты…

— Но как?

— Путем забастовок на фабриках и заводах, а если надо, то и путем всеобщей стачки… Ну, кто мне докажет, что я не прав?

В голосе Казимежа было столько убежденности, что никто не решился возразить.

Но после некоторого молчания поднялся Вацлав Гандельсман:

— Уповать на широкое участие народа в революции, по крайней мере, наивно.

Ян Пашке спросил:

— Но позвольте, пан Гандельсман… Вы-то себя считаете революционером?

— Разумеется.

— Тогда каким образом без народа, как я вас понял, вы надеетесь переустроить общество?

— Путем захвата власти группой хорошо подготовленных профессиональных революционеров, — спокойно ответил Гандельсман, — группой людей, которые лучше других знают, что надо делать. А поэтому революционная организация должна быть замкнутой, строго законспирированной, крепко спаянной внутренней дисциплиной. Она должна совершенствовать себя, а не растворяться в массах и не тратить силы на пропаганду.

Феликс и Савицкий, лучше других знавшие Вацлава, только улыбнулись, но в спор ввязываться не стали. Знали, что Гандельсман меняет свои идейные взгляды в зависимости от того, какая последняя книжица им прочитана.

Перед тем как разойтись, Феликса придержал за локоть Ян Пашке:

— Крепко ты мне понравился своим выступлением, — сказал Пашке искренне. — Умеешь говорить. А я пока стараюсь учиться и все понять. Ты свой экземпляр куда дел?

— Отдал Савицкому.

— А я для себя переписал, хочу получше вчитаться и кое-кому из нашего брата втолковать. — Пашке вынул из внутреннего кармана куртки исписанные крупным почерком листки. — Особенно мне нравится вот это… «Мы также глубоко верим, что польский народ, приведенный в движение во имя социально-революционных принципов, проявит непобедимую силу и непреодолимую энергию в борьбе с захватническим правительством, которое к экономической эксплуатации добавило неслыханное угнетение национальности». Ой как хорошо, как крепко сказано! Да верить надо глубоко, только так и не иначе…

— Это ты очень хорошо сказал, — одобрил Феликс, — только, Ян, не вынимай эти листки на улице. Отберут городовые — и загремишь на каторгу по сибирскому этапу.

— И то верно, — сказал Пашке, пряча листки в карман.

Расходились, как всегда, поодиночке. Или — по двое.

Феликс вышел с Розалией. В последнее время они часто уходили вместе. Шагах в десяти впереди негромко разговаривали Пухевич и Савицкий. По отдельным словам можно было понять, что они все еще говорят о программе…

— Не будем им мешать, — сказала Розалия.

— Конечно, — шепнул Феликс и взял девушку под руку.

Проходя Замковую площадь, они приостановились. Со стороны Пражского предместья, темнеющего за Вислой, неестественно огромным желтым пятном восходила луна, и ее свет, рассеянный и смутный, возвращал силуэтам Старого города их средневековую таинственность. Из пронзенного лучами сумрака, как из темной воды, всплывали неровные контуры башен предмостного укрепления Барбакан, остатки крепостной стены возникали в своей загадочной руинности, обозначились древние переходы и лестницы, длинные нависающие своды, ведущие куда-то во мглу, арки, под которыми всадникам приходилось, наверное, нагибать голову; фантастические статуи, украшающие карнизы домов времен первого владетеля Варшавы каштеляна Варцислава, чье имя сохранилось только в легендах и преданиях.

Луна, поднявшаяся над Вислой, теперь замерла, а в сузившемся темно-синем небо плыла вознесенная колонной статуя короля Зигмунта III с крестом и саблей в руках — самого древнего памятника в Варшаве, памятника королю, перенесшему столицу из Кракова сюда, в центр мазовецких равнин, — плыла над руинами замка, над готическими контурами монументального Кафедрального собора святого Яна с гробницами знаменитейших граждан…

Сотни раз виденная картина снова заставляла замедлять шаги и смотреть, смотреть в темные провалы улиц, втекающих в сумрачный полукруг площади…

Давно потерялись из виду Пухевич и Савицкий. Феликс и Розалия, не сговариваясь, вступили в темную, как ущелье, улочку Узкий Дунай, названную так по имени речки, протекавшей здесь в древности. Сквозь расщелину, образованную двумя рядами трех- и четырехэтажных домов, построенных пять-шесть веков назад, обогнули древнерыночную площадь Старого города и через полчаса вышли наконец к Висле.

Здесь, держась кромки берега, повернули к черневшему над рекой мосту. Не дойдя до него, поднялись на берег и через какое-то время очутились среди залитой лунным светом серебристо мерцающей зелени Краковского предместья.

Луна между тем успела переместиться к югу и, словно освещая путь молодым людям, выхватила причудливые очертания дворцов, костелов, монастырей с их ослепительно белыми низкими оградами, за которыми тянулись сливающиеся в сплошное темное пространство сады, скверы, парки…

Они встречались часто: на тайных сходках и счучайно — на улицах, в кондитерских, иногда в театрах; бывало, на несколько минут оставались наедине, но всегда в их беседах, как и в молчании, чувствовалось что-то недоговоренное. И она, и он ждали какой-то другой встречи; может быть, это ожидание было просто-напросто потребностью высказаться, раскрыться друг перед другом, понять друг друга и в то же время понять самих себя.

Оба чувствовали, что такая встреча у них впереди и не спешили, отодвигая ее на будущее. Они были молоды, жизнь казалась им бесконечной, и они полагали, что незачем торопить события…

Как они ошибались!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Барановский, вступив в тайный кружок Савицкого, сумел убедить себя в том, что оружие ему необходимо для самообороны, что если его попытаются арестовать, то так просто он себя не отдаст. А когда «они» в самом деле его арестовали, он похолодел, вспомнив, что при нем оружие, и всеми силами старался внушить жандармам, что носил его как любитель, а не как человек, способный применить его для каких-то акций…

Янкулио, товарищ прокурора Варшавского окружного суда по делам политическим, к которому Барановского доставили для допроса, именно так и понял, но сделал вид, что считает пана художника опаснейшим террористом.

— Воля ваша, господин Барановский, но меня никто не убедит, что человек может просто так, без всякой преступной цели носить на себе целый арсенал оружия, не расставаясь с ним даже во сне. Я вас понимаю. Я и сам поступил бы так же, то есть стал бы отрицать все как есть. А как же иначе? Ведь вас, как террориста, может ожидать только одно — петля. А в том, что вы принадлежите к этой преступной организации, сомнений не возникнет. Да, да. Тут все улики, как говорится, налицо. Страшно? Конечно, страшно. Ну да ведь вы не ребенок, знали, на что шли. Знали, что как бы ни благоволила к вам судьба, а впереди всегда будет маячить одно и то же — два столба с перекладиной…

Янкулио высок, широк в плечах, но на длинной и жилистой шее у него несуразно маленькая голова, да к тому же еще и без затылка. Вернее было бы сказать, что головы у прокурора вовсе нет, а просто шея оканчивается лицом с энергичными, впрочем, чертами: нос прямой, глаза со стальным блеском, губы резко очерчены, плотно сжаты, подбородок круто выдвинут вперед…

Барановский сам человек внушительного вида — и высок, и могуч плечами, и лицом тверд, — а на прокурора взглядывал уныло. «Такие вот с маленькими змеиными головами, самые жестокие, самые коварные и всегда беспощадные. Этот прямо поведет к виселице. Неужели так-таки и нет никакого спасения?»

А Янкулио, этот жестокий провидец, умеющий читать чужие мысли, уже протягивает ему конец веревки — не той, из которой палач вяжет петлю, а той, за которую хватаются как за единственное спасение.

— Вы что же, господа террористы (у Барановского заныло в сердце: «Убежден, скотина, что я — террорист!»)… воображаете, что только вы — патриоты Польши? Только вы тревожитесь ее

будущим и сострадаете ее настоящему? Неужели вы думаете, что у нас сердце кровью не обливается, когда мы гоним на каторгу нашу прекрасную молодежь… да, да, я не оговорился, именно прекрасную в своих потенциальных возможностях, но смертельно отравленную смрадом западных социалистических доктрин. Славянская душа слишком чистая и нежная, чтобы благополучно переварить западное варево социализма. На Западе у пролетария даже отрыжки не появляется, а у нас молодежь заболевает поголовно. Вот потому-то социалисты для своих преступных экспериментов избрали именно славянские народности, так несчастливо восприимчивые ко всякой социальной заразе…

«Что же это я молчу, — лихорадочно работала мысль Барановского, — почему не опровергну гнусные измышления опричника?»

— Однако, согласитесь, господин прокурор, — сказал Барановский и прислушался к самому себе: голос не дрожит, вполне спокойный голос! — согласитесь, что для этой несчастной восприимчивости слишком уж благоприятно стечение обстоятельств. Нищета, голод, бесправие работников, забитость крестьянства, задерганность интеллигенции…

— Да кто же спорит? — Янкулио даже всплеснул руками. — Кто ж этого не видит? Разве у нас самих душа не болит?

— Это возможно, — вздохнул Барановский, как будто и в самом деле поверив искренности товарища прокурора, — даже вполне. Вот только рецепты лечения у нас разные. У вас — виселицы…

— А у вас, — подхватил Янкулио, — у вас — бомбы и револьверы. Всё крайности, господин террорист. А ведь крайности, как известно, сходятся в конце концов. Так давайте же найдем общий язык, и сразу отпадет надобность в наших виселицах и в ваших бомбах. Помогите нам…

— Я? Каким образом?

— Как будто не знаете, — усмехнулся Янкулио. — Чтобы избежать неминуемой трагической развязки, надо выявить подполье сейчас, пока логика преступных деяний не увлекла вас за черту. За ту черту, из-за которой уже не будет возвращения в нормальную жизнь.

— Вы предлагаете мне предать товарищей? — в голосе Барановского послышалась обреченность. Не просто обреченность, а прямо тоска по своей гибели, гибели, как казалось ему, уже недалекой, но все-таки чувствуемой еще смутно. И сквозь эту смутность брезжил трепещущий лучик надежды: все-таки обойти неотвратимое и каким-нибудь чудом выжить…

Дверь без стука отворилась. Вошел жандармский майор и молча уселся на стул у окна. Барановский узнал в нем офицера, к которому привезли его сразу после ареста.

Янкулио, как только вошел майор, взял тон бесстрастно-сухой и деловитый:

— Об аресте ваши друзья не узнают. Это в наших интересах. Господин Секеринский может вам подтвердить (майор молча чуть наклонил голову). От вас нам нужна самая малость. Пустячная информация… Что? Где? Кто? Вам не нужно искать нас — мы вас сами найдем, когда понадобитесь. Может случиться, что вы вообще нам не понадобитесь. От вас же требуется одно — не отклоняться от прежнего образа действий. И помнить, мы с вами делаем одно общее дело… в интересах Польши.

Барановский уходил, низко и печально склонив голову, безвольно опустив плечи.

Товарищ прокурора и майор с минуту сидели молча. Легкая победа над Барановским вроде бы и не радовала, а, напротив, даже как будто повергла в уныние… Где же бомбы? Где адские машины? Где взрывы, убийства начальствующих особ? Ведь только на волне таких громоподобных актов и может сделать себе карьеру полицейский чин!

Майор поднялся, отодвинул стул и, стоя лицом к окну, задумчиво проговорил:

— Не понимаю, чего они хотят добиться революциями?

Янкулио, внимательно наблюдавший за ним, ответил с полуулыбкой:

— Народ не знает истории революций. Если бы узнал, он ужаснулся бы…

— И перебил бы своих революционных вождей, — мрачно усмехнулся Секеринский.

— Да уж это прежде всего, — подхватил Янкулио. — Барин требует от своего вассала любви, а революционный вождь — подчинения беспрекословного. Барин за ослушание отругает и даже может высечь, а революционный вождь — отправит на гильотину.

Опять помолчали. И опять молчание нарушил Секеринский:

— Ты, кажется, придаешь этому аресту какое-то значение? Могу тебя разочаровать. Обыкновенные гимназические посиделки и фатовской треп. Если для суда такого повода было бы достаточно, нам с тобой здесь делать было бы нечего.

Янкулио загадочно улыбнулся и даже потер руки: — Фактов у нас, ты прав, никаких. Но я более доверяюсь предчувствиям, чем фактам…

Декабрь 1881 года в Варшаве стоял теплый, небо хотя и висело над прекрасным тихим, как и обычно с начала зимы, городом низко, но было ясное, синее и глубокое. А когда к середине дня расцветало неяркое солнышко, в Лазенковском парке снова собирались толпы гуляющей публики.

Именно там, в Лазейках, и ждал встречи с Варыньским, только что появившимся в Варшаве, Хенрик Дулемба.

Чтобы не выделяться среди праздной публики, Хенрик приоделся: длинное черное пальто, шляпа, небрежно повязанный галстук, лайковые перчатки, трость… Чем не барин?!

Хенрик вглядывался в подходившего к нему Варыньского и не мог скрыть радостного удивления. От товарищей, тайно приезжавших в Варшаву из Женевы, он слышал, что Людвик чужбину переносил нелегко. Оторванный от живого революционного дела, он похудел, заметной стала сутулость. Но сейчас не это прежде всею привлекало к нему внимание. Он шел легкой, быстрой походкой. Светлые глаза сияли молодой жаждой жизни, Радостью встречи с любимым городом, с друзьями… Чувствовалось, что возвращение в Варшаву он переживал сейчас как самую счастливую перемену в своей жизни.

Хенрик знал по себе, как нелегка судьба нелегала. Без постоянного пристанища, без возможности пройти свободно по той улице, по которой хочется, пройтись, не оглядываясь, не хватаясь за рукоятку револьвера в кармане при каждом пристальном взгляде полицейского или филера. Утром никогда не знать, где тебе придется сегодня ночевать, да и придется ли…

И все это — не день, не два — месяцы и годы.

Он смотрел на приближающегося к нему Варыньского я ставил свой диагноз: не болезнь подтачивала товарища, а сама его неукротимо деятельная натура, оторванная от практического дела, не знала, как одолеть недуг бездеятельности. Жажда немедленного действия, загнанная в глубь души, кажется, превратилась в негасимый огонь, пожирающий молодое тело.

Острым взглядом Варыньский глянул на Хенрика и улыбнулся. Ответив улыбкой, Дулемба взял товарища над руку.

Свернув влево, прошли они мимо Померанцевого павильона с его оранжереей и фресками, изображающими театральных зрителей XVIII века в польских и французских костюмах, на минуту задержались у бронзового всадника в римском одеянии и тяжелом шлеме, вот уже ста лет топчущего Конытами коня поверженных во прах несчастных турок, — памятник Яну III Собесскому.

— Ну что Европа? О ком там теперь больше говорит? — спросил Дулемба, когда они, огибая пруды с плавающими

лебедями, рассеянными взглядами отыскивали свободную скамейку.

— Самые интересные люди, правда, относящиеся уже не к нынешнему времени, а к минувшему, как-то скоро и почти разом ушли из жизни. О смерти Бланки ты, конечно, читал…

— Да — сказал Хенрик, — Луи Огюст Бланки истинный революционер…

— Только с одной, но весьма существенной оговорки — добавил Людвик. — Он не верил в революцию. И был убежден, что революционных завоеваний можно добиться без революции.

— Каким образом?

— Заговорами и переворотами, совершаемыми кучкой отчаянных людей.

— Мы разве не похожи на него?

— Никогда! — быстро ответил Людвик и мельком глянул в лицо товарища. Но тот этого не заметил. — Что касается нашего брата, революционера, то я тебе, Хенрик, так скажу… Пока мы действуем, пока боремся — мы что-то значим. Как солдаты в сражении — каждый делает свое дело. А падем — на наше место встанут новые бойцы. В сознании этой непрерывности борьбы — вся наша награда.

— Как тебе ни покажется странным, Людвик, я уже думал об этом, — тихо и задумчиво сказал Дулемба.

— Почему же странным? — возразил Людвик. — Напротив. Мне это представляется логичным.

Лазенки — самый большой и самый красивый парк из всей зеленой зоны Варшавы, занимающей пространство на восток от Уяздовской и Бельведерской аллей вплоть до Вислы и живописными лестницами спускающейся к реке.

Со своими бесконечными тенистыми аллеями, с многочисленной гуляющей публикой парк издавна служил местом встреч не только для влюбленных, но и людей совсем иного, как тогда говорили, сорта — людей, предпочитающих для жилья дома с проходными дворами, для свободного времяпровождения — сады и парки со множеством деревьев и кустарников и многочисленными пересекающимися аллеями…

— Ну, рассказывай, Хенрик, как тут у вас обстоит дело с пропагандой?

— Да хвалиться особенно-то нечем. Вернее даже будет сказать — худо дело. Уцелело несколько кружков человека по три-четыре.

— Уцелело или ты их вновь создал? — улыбнулся Варыньский.

Хенрик смутился:

— Суть-то не в этом. А в том, что руководить некому. Интеллигентов пересажали, а в кружках сплошь наш брат рабочий.

При словах «наш брат рабочий» Людвик опять улыбнулся и подумал: «Молодец Дулемба! Потомственный шляхтич превратился в настоящего рабочего». А вслух сказал:

— Будем создавать кружки на заводах. У Лильпопа, Хандке, Ортвейна, в железнодорожных мастерских, на заводах Островского и Карского. Особенно крепки революционным духом рабочие-металлисты и железнодорожники. Именно отсюда пойдут кадры варшавской революционной организации.

— Как это понять?

— А так, Хенрик, что необходимо вдохнуть новую жизнь в польское революционное движение. А это не возможно сделать, оставаясь на почве разрозненных рабочих кружков. От постепенной, рассчитанной на годы пропаганды мы должны уйти и начать немедленную агитацию к революционному действию. Для массовой агитации необходима централизованная, сплоченная организация. Одним словом, настало время создать рабочую революционную партию. Для создания партии необходимо прежде всего составить ее Рабочий комитет, который бы взял на себя все вопросы, связанные с организацией.

В этот миг проходившая мимо невысокая кареглазая девушка в коротком коричневом пальто, со свернутым зонтиком в руке, замедлив шаги, тихо сказала:

— За вами следят. Вон тот, у статуи Добродетели. Уходите. Я его задержу. — И, даже не повернув головы, прошла мимо.

Дулемба потянулся было в карман пальто, где у него лежал револьвер, но Людвик удержал его руку.

Девушка в этот миг приблизилась к молодому подтянутому человеку, опершемуся на ограду. Тот зло улыбнулся ей, и она поняла, что он заметил, как она предупредила выслеживаемых им юношей. Вскинув зонтик, девушка ударила шпика по голове. Зеленая велюровая шляпа его упала к ногам, и пока шпик нагибался, чтобы ее поднять, девушка громко крикнула:

— Хам! Нахал! Руки распускать!..

Сидевшие на скамейках люди повскакивали, окружили их и, думая, что человек в велюровой шляпе оскорбил девушку, набросились на него.

— В полицию его!

— Каков негодяй!

— Вот она, сегодняшняя молодежь!

— Господа, — лепетал шпик, — уверяю вас, я здесь ни при

чем… Эта пани сама…

Высокий пожилой шляхтич с военной выправкой совал ему в лицо визитную карточку:

— Я граф Радзивилл… мой дом в Краковском предместье. С пяти до семи вечера всегда к вашим услугам. Род оружия предоставляю выбрать вам, хотя я бы предпочел шпагу, чтобы иметь удовольствие насадить вас, как стрекозу на булавку…

Шпик наконец надел шляпу, и гомон вокруг него оборвался пронзительно заверещавшим свистком. Толпа брезгливо отхлынула. От западных ворот послышался топот полицейских. Делать здесь больше было нечего.

Людвик и Хенрик, выхватив из толпы предупредившую их девушку, скрылись в боковых аллеях.

Минут через десять они вышли на улицу Агриколя и вскочили в первую попавшуюся пролетку.

— Куда прикажете, господа? — не оборачиваясь спросил извозчик.

— Гони! — крикнул ему Дулемба.

Извозчик мгновенно оживился, вожжой хлестнул по крупу лошади, и пролетка понеслась.

Пересекли Уяздовскую аллею и, выскочив на Маршалковскую улицу, повернули вправо. Назад убегали стройные ряды лип, которыми с обеих сторон обсажена была эта самая нарядная и богатая в Варшаве улица. Промелькнули упершиеся в небо две высоченные башни с горящими золотом крестами — костел Спасителя… Проскочили Иерусалимские Аллеи, разрезавшие город от Вислы до западных окраин и, только въехав в какую-то тихую под старинными липами улицу, извозчик придержал блестевшую от пота лошадь.

— Молодец! — сказал Людвик, похлопав по плечу возницы. Тот обернулся бородатым лицом с голубыми глазами и широко улыбнулся.

— Разве ж мы не понимаем, с кем имеем дело!.

— Мы хотели бы знать ваше имя, — сказал Людвик, пожимая руку спасшей их от ареста девушке.

— Мое имя вам ничего не скажет.

— Имена ничего не говорят только до тех пор, пока не знаешь, кому они принадлежат.

— Розалия Фельсенгарт.

— А я слесарь Бух.

— А я… Дулемба.

— Я знаю, — улыбнувшись карими глазами, сказала Розалия.

— Откуда? — изумился Дулемба. — Я вас слушала

однажды…

— Где?

— В кружке на заводе Карского.

— А чем вы занимаетесь?

— Я учительница.

— Сердечно рады знакомству с вами.

— А вы, очевидно, недавно из Европы? — спросила Розалия, кинув все еще теплый от улыбки взгляд на стоявшего чуть поодаль Варыньского. — И у вас нет квартиры…

Светлые брови Людвика шевельнулись от удивления.

— Да, но как же вы угадали? — спросил он, стараясь скрыть смущение.

— По вашему пальто. Таких в Варшаве еще не носят.

— Вы были в Европе?

— Никогда. Только мечтаю попасть. Я думаю, что и шпик обратил на вас внимание из-за вашего широкого пальто.

Хенрик и Людвик многозначительно переглянулись.

— Я знаю здесь неподалеку одну квартиру, — сказала Розалия, — которая по всем приметам… вне подозрения. Вы можете там укрыться на время. Хозяин будет рад оказать вам услугу.

Осенью 1881 года в Петербурге возникла Польско-литовская социально-революционная партия. В ней состояло около трех десятков человек, но это были опытные бойцы, имевшие серьезные навыки пропагандистской работы в рабочих и интеллигентских кружках, хорошо знакомые с правилами конспирации.

Во главе партии стоял руководящий орган — Секретный совет, избиравшийся тайным голосованием я состоящий из шести человек. Один из них — студент Института инженеров путей сообщения Станислав Куницкий был связан с членами Исполнительного комитета «Народной воли» Верой Фигнер, Теллаловым и Грачевским. Именно через него Польско-литовская социально-революционная партия держала связь с «Народной волей».

В конце 1881 года Секретный совет направил Станислава Куницкого в Варшаву для установления связи с варшавскими революционными кругами. Он встретился с Казимежем Пухевичем.

— Я знаком с программным заявлением вашей партии, — сказал Пухевич, — и считаю его, мягко говоря, далеким от реальных задач сегодняшнего дня. Явно видно влияние «Народной воли».

— Но мы этого и не скрываем, — сдержанно сказал Куницкий, горячо разделявший идеи «Народной воли» и находившпйся под обаянием героической судьбы этой партии. — Мы открыто заявляем не только о солидарности с «Народной волей», но и о союзе с ней, разумеется, на федеративной основе. Впрочем как и со всеми революционными группами всех национальностей. И наша цель — политическое, национальное и социальное освобождение трудящихся.

— Да, но пути к его достижению разные. Я лично считаю, что прежде чем стремиться к политическому освобождению трудящихся, их необходимо закалить в терпеливой многотрудной экономической борьбе с капиталом. А в немедленном политическом столкновении с самодержавием мы неминуемо потерпим поражение и тем самым только отдалим достижение главной цели.

Трудно было найти двух более противоположных по характеру людей: пылкому, увлекающемуся и постоянно воспламеняющемуся Куницкому противостоял человек осторожный, раздумчивый, рассудительный. Они и внешне-то резко отличались друг от друга. Стась Куницкий — стройный, порывистый, с очень подвижными большими черными глазами, унаследованными от матери-грузинки.

Пухевич — сутуловат, суховат, серые глаза за стеклами пенсне глядели на собеседника пристально, как бы остановившись…

— Вы сказали… «я лично считаю»… стало быть, есть и другие точки зрения у ваших товарищей? — поинтересовался Куницкий.

— Нет, в основном мы солидарны, но подход к одним тем же проблемам у различных людей может быть разный. Это естественно.

— И все-таки я, — настаивал Куницкий, — хотел бы побеседовать и еще кое с кем из товарищей.

— Хорошо. Завтра я вас сведу с Варыньским. Он недавно нелегально вернулся в Варшаву.

Но Варыньский, которому этот черноглазый пылкий юноша сразу же понравился своей страстностью и горячей преданностью делу, не стал с ним спорить по программным вопросам.

— А знаете что, Станислав… — предложил он, — у меня сегодня назначена сходка рабочих в предместье Воля, — пойдемте туда со мной. А?

— Я готов, — не раздумывая, ответил Куницкий, всегда готовый куда-нибудь идти и что-нибудь делать. — Но мой польский! Он не будет шокировать твоих карбонариев, Людвик? — не то в шутку, не то всерьез спросил Станислав,

незаметно перейдя на «ты».

— У пролетариев всего мира, Станислав, как и у нас, социалистов, один язык — революционный. Правду революции рабочий понимает больше сердцем, чем на слух, — ответил Людвик и дружески тронул Куницкого за плечо.

Они посмотрели друг другу в глаза и одновременно поняли: с этой минуты они товарищи. Что бы ни случилось, как бы ни сложились их личные судьбы, в революции они пойдут вместе до конца!

Вечером, когда Куницкий снова встретился с Пухевичем, Казимеж спросил:

— Ну, как вам Варыньский?

— Вы не можете себе представить, как я вам благодарен за это знакомство! — пылко воскликнул Куницкий.

— Нет, почему же?! Очень даже представляю. Я сам глубоко уважаю этого человека, хотя…

— Нет, нет, это не те слова! — прервал Куницкий Казимежа. — У меня к нему иное чувство, нежели уважение. Людвик приковал меня к себе навсегда. Ведь он первый социалист, который изложил мне свои идеи так, что я с ним почти целиком согласился.

Пухевич добродушно улыбнулся.

— Однако, — сказал он, — вы же не оговорились, сказав, «почти целиком»?

— Нет, не оговорился. Знаете, в чем я поначалу но согласился с ним? С утверждением о близости революции. Но и в этом он потом убедил меня.

— Каким же образом?

— Он пригласил меня побывать с ним на двух рабочих собраниях.

Пухевич, почти не появлявшийся среди рабочих и все свои контакты ограничивавший связями со студенческими и интеллигентскими кружками, с нескрываемой завистью смотрел на возбужденное смуглое лицо Куиицкого, на котором светились огромные черные глаза. Он хотел было что-то сказать, но передумал и только пошевелил губами.

— Таких рабочих, — возбужденно говорил Куницкий, — я увидел первый раз в жизни!

— Чем же они так поразили вас? — тихо спросил Пухевич.

— Понимаете, они совершенно трезво смотрят на свою жизнь, понимают причины своего угнетенного, униженного существования и полны абсолютной веры, что скоро настанет конец такому положению. Я был ошеломлен. Ни одна студенческая сходка, ни одна книжка политического характера,

ни одна прокламация не производили на меня такого впечатления. Теперь я верю, что партия, о создании которой хлопочет Варыньский, будет создана в Польше.

Янкулио и без майора Секеринского видел, что дело о кружке Савицкого не стоит выеденного яйца. Во всяком случае, оно мало принесет радости и жандармскому управлению и прокуратуре: ни повышения в чинах, ни даже прибавки к окладу… Барановского заагентурили на всякий случай — так, как рачительный мужичок несет в свое хозяйство всякую железку и палку: авось, да и пригодится на что-нибудь.

Но через некоторое время ситуация изменилась. Майор Секеринский положил на стол Янкулио агентурные сводения, полученные от Заграничного бюро русской охранки. Сведения были настолько ценны, что товарищ прокурора даже присвистнул.

Эти два так непохожих друг на друга человека, вынужденные тесно общаться по службе, в душе ненавидели друг друга. Но жизнь поставила их в такое положение, что служебное благополучие и карьера одного зависели от успеха деятельности другого. Майор умел расставлять сети, но не обладал достаточным умом, чтобы правильно анализировать факты. Этим качеством был наделен Янкулио. Более того, имея добытые Секеринским сведения, он очень скоро замыкал цепь, безошибочно угадывая недостающие в ней звенья.

— Что я говорил! — воскликнул товарищ прокурора, потирая худые и белые, как у покойника, руки. — В нашем деле предчувствие превыше всего. До сих пор оно никогда меня не обманывало — не обмануло и на сей раз. Пока только разрозненные факты, но из них уже можно делать кое-какие обнадеживающие умозаключения.

— Какие же? — не сумел скрыть Секеринский возникшего любопытства.

— А вот какие. Из Женевы исчез ускользнувший от нас в Варшаве Варыньский. Ни в Париже, ни в Лондоне он не появлялся. Значит…

— Ты полагаешь, — перехватил мысль майор, — что он непременно должен объявиться в Варшаве?

— Именно так! И думаю, что я прав, если, конечно, за последнюю ночь я не превратился в идиота, — позволил себе пошутить товарищ прокурора.

— Но почему именно в Варшаве? — добивался Секеринский, хотя уже уловил направление мысли Янкулио. — Почему, скажем, не в Кракове? Там у него надежная база для деятельности…

— Нет, в Кракове ему делать нечего. Явки провалены.

Опытный зверь по старым следам, где он попадался в капкан, не ходит. В Варшаве ему удалось обвести нас вокруг пальца один раз — почему бы не попытать счастья снова. Стань на его точку зрения! Да учти, что он свою веру обретал в стенах Технологического института, этого революционного очага в Петербурге. Кто мы для них? Два недалеких провинциальных чиновника. Но вот на этом-то мы их и возьмем. И тогда — прощай, варшавское захолустье! Здравствуй, столица империи! Здравствуй, славное и высокое поприще!

У товарища прокурора дух захватило — настолько отчетливо он увидел открывающуюся перед ним перспективу… Он на мгновение умолк — этой-то паузой и воспользовался майор Секеринский:

— Но позволь… каким образом… ведь нет никаких даже мало-мальски серьезных обстоятельств?

— Но нам достоверно известна и другая информация. В Варшаве действует прибывший из Петербурга известный подпольщик по кличке Черный.

— Его нетрудно обезвредить.

Янкулио прихлопнул по столу ладонью, стараясь этим жестом особо подчеркнуть смысл своих слов:

— Вот этого ни в коем случае нельзя делать. Это будет роковой ошибкой, которая зачеркнет все наше будущее. Напротив, надо дать полнейшую свободу действий этому Черному, дать ему возможность не только встретиться с Варыньским, но и сойтись как можно ближе. У Варыньского старые связи, кружки, люди… У Черного — нетерпение: действовать быстро, эффективно и как можно громче. А уж остальное будет зависеть от нас — сделать этот гром таким громким, чтобы он не только достиг петербургских ушей, но и оглушил их!..

Секеринский недоверчиво покачал головой.

— Откуда ты знаешь, — спросил он, — что они обязательно должны сойтись?

— А интуиция для чего? — в свою очередь спросил товарищ прокурора. — Они сойдутся. Обязательно должны сойтись. И тогда все пойдет разыгрываться по нашим нотам. Я это чувствую. Думаю, что в этой игре найдется роль и для пана Барановского.

В сентябре 1882 года в революционных кружках Польши появилось Воззвание Рабочего комитета социально-революционной партии «Пролетариат», в котором было объявлено о создании партии польских рабочих. Ее программу горячо одобрили в рабочих кружках, потому что она объявляла

главной целью борьбу пролетариата с капиталистической эксплуатацией и подчеркивала самостоятельность рабочего класса в политической и экономической борьбе за свои права. В программе упоминалось и о терроре, но не как о методах борьбы, а как о средстве самообороны партии от возможных провокаций в собственных рядах.

За четыре месяца после опубликования воззвания партия создала несколько своих организаций на заводах и фабриках Варшавы, Лодзи, Ченстохова и Белостока, других промышленных городах.

В январе 1883 года в Вильно состоялся съезд польских социалистов, на котором было принято решение об объединении партии «Пролетариат» и Польско-литовской социально-революционной партии. Новая организация приняла название партии «Пролетариат». В избранный на съезде комитет, который потом стал Центральным Комитетом партии, вошли бывший студент петербургского Технологического института Людвик Варыньский, студенты Станислав Куницкий и Александр Дембский, слесарь из Варшавы Хенрик Дулемба, классная дама Варшавского Мариинского института Александра Ентыс, кандидат прав Эдмунд Плоский и другие.

Казимир Пухевич, не сочувствующий террористической деятельности, вышел из партии и создал другую рабочую партию «Солидарность», в которой оказался кружок Людвика Савицкого.

Но уже через несколько месяцев в партии «Солидарность» произошел раскол. Феликс Кон, его однокурсник по университету Станислав Пацановский и еще несколько их единомышленников перешли в партию «Пролетариат».

В середине сентября 1883 года охранка в Варшаве переполошилась: вышел первый номер подпольной газеты «Пролетариат». Во вступительной статье писалось о целях газеты: «Как истолкователь мыслей и взглядов организации она будет защитником эксплуатируемых и угнетенных, обвинителем угнетателей». Другие выпуски публиковали официальные заявления ЦК, воззвания и листовки партии, отчеты о партийных финансах, хронику обысков и арестов, предупреждения об изменниках и провокаторах. Особенная тщательность чувствовалась в подготовке редакционных и программных статей, поясняющих политические акции партии.

28 сентября Варыньского арестовали.

Станислав Куницкий, узнав об аресте Варыньского, тотчас приехал в Варшаву и принял руководство партией.

Среди молодых членов партии Куницкий почти сразу же выделил Феликса Кона. В один из дней он назначил ему встречу в

кафе «Шотландское».

С улицы Святого Марка вдоль зданий университета спустился Феликс к Академической площади, со всех сторон застроенной доходными домами. Летом знойная и душная, несмотря на обилие зелени, осенью Академическая выглядела тоскливо: голые деревья на фоне сплошных стен; пронизывающий сквозь студенческую шинель сырой ветер с Вислы…

У входа в кафе Феликс приостановился, чтобы перевести дух.

Он мгновенно и ясно понял, что эта встреча решит его судьбу, и не боялся этого. Рано или поздно, думал он, это должно было случиться. Пусть это случится теперь.

Феликс прошел в заднюю комнату кафе. Там у столика, приткнувшегося к широкому подоконнику, сидел молодой человек и, наклонившись низко к столешнице, что-то писал. Сумеречный свет, струившийся из небольшого глубокого окна, не позволял рассмотреть его лица, и виден был только его профиль: чуть скошенный назад лоб, крупный нос и выдающийся вперед подбородок.

На скрип двери молодой человек обернулся, всмотрелся в вошедшего, шевельнув сросшимися у переносицы бровями, и встал. Коротко и крепко пожал протянутую руку, сказал:

— Для всех я Черный, а друзья зовут меня Стась, Стах, Станислав. Зовите и вы меня Стасем.

— Благодарю, — сказал Кон.

— Присаживайтесь. А я, если не возражаете, буду ходить. Когда я говорю, мне обязательно надо шагать.

Черный свернул вчетверо недописанный листок бумаги и сунул его во внутренний карман сюртука.

— Может быть, сразу перейдем на «ты»? Я думаю, мы сойдемся быстро, так чего же нам обращать внимание на условности?

— Конечно, — сказал Феликс и вдруг почувствовал себя рядом с этим человеком так, как будто они были ближайшими друзьями по крайней мере несколько лет. Черньш сразу заметил перемену в настроении собеседника и впервые за все это время улыбнулся — свободно, широко и настолько располагающе, что Феликс и сам невольно улыбнулся. Черный положил свою широкую руку на руку Феликса, лежавшую на столе, и выразительно сжал, как бы подчеркивая возникшее между ними чувство взаимной симпатии.

И тут же его лицо опять стало озабоченным:

— Я наслышан о тебе. И потому обращаюсь с просьбой… Необходимо создать Боевую дружину. Ты лучше меня знаешь здешнюю молодежь. Подбирай наиболее стойких, преданных

нашему делу. Особенно тех, кто может оказать помощь в изготовлении бомб. Они нам скоро понадобятся. Приглядись к ребятам с физико-математического факультета. Я для них имею хороший подарок.

— Какой? — невольно вырвалось у Феликса.

— Рецепт Николая Кибальчича по изготовлению взрывчатых веществ. Согласен?

Феликс раздумчиво покачал головой, прежде чем ответить:

— Не знаю. Свою жизнь во имя революции я готов отдать в любую минуту, а вот распорядиться чужой жизнью не считаю себя вправе.

— Вот-вот, — подхватил Черный, — только те, кто готов, не задумываясь, отдать свою жизнь, имеют право распорядиться чужой жизнью…

С Куницким, которого Феликс теперь привычно называл Стасем, у них встречи все чаще, разговоры все сердечнее и доверительнее. Феликс чувствовал какую-то необъяснимую симпатию к этому человеку, который был старше его года на три, а казалось, что прожил на свете вдвое больше его. Но Феликс видел и другое — видел, что и Стася что-то притягивает к нему, хотя и по опыту, и по положению в партии Куницкому должны бы быть ближе Александр Дембский и молодой рабочий Бронислав Славиньский.

И вот теперь Стась доверяет ему самое тайное — участвовать в создании Боевой дружины. И Феликс был к этому готов. Он всем сердцем принял слова воззвания Рабочего комитета, написанные Дембским: «На аресты мы ответим со своей стороны двойной энергией и осторожностью — *для предателей и угнетателей мы приготовим кинжал!*»

Как-то Куницкий назначил ему встречу на улице Агриколя, рядом с Лазенковским парком, чтобы передать один из своих рабочих кружков. Второпях Феликс забыл дома часы. Подойдя к северным воротам и не увидев Стася, забеспокоился: вдруг опоздал. Подошел к высокому мастеровому, густо заросшему по всему лицу рыжими волосами, спросил:

— Вы не скажете, который теперь час?

— Скажу, — ответил мастеровой. — Ты пришел как раз вовремя. — И рассмеялся. У Феликса глаза на лоб полезли от удивления, когда он узнал наконец Стася. Вот это искусство перевоплощения! Даже стало грустно от того, как он опростоволосился.

Стась поспешил его утешить:

— Ничего. Это дело наживное. Не наживается только способность к состраданию — с нею человек рождается, получает

ее в наследство от предков как самое бесценное достояние. А все остальное приобретается с жизненным опытом… Видишь трактир? Зайди со двора в заднюю комнату. Скажешь — от Черного. Я подойду попозднее.

— Боюсь, не справлюсь…

— Пустое, — улыбнулся Стась. — Сегодня введем тебя в кружок, посидишь, послушаешь, присмотришься, а там сама обстановка покажет, как быть дальше. Я тоже поначалу робел.

Феликс пошел было к трактиру, но Стась негромко окликнул его. Еще несколько минут шли вдвоем.

— Послушай, — сказал Стась, — тебе нужно взять подпольное имя.

— Но какое? — Феликс даже приостановился.

— А вот какое… «Кон» после присоединения латинского окончания преобразится в «конус», «конус» в переводе на польский значит «стожек». А так как ты еще новичок в партии, мы и будем звать тебя… Стожек. Не возражаешь? Ну, значит, так тому и быть…

Задняя комнатка трактира, видимо, предназначалась для двоякой надобности — как подсобное помещение для продуктов и как кабинет для гостей, ищущих уединения. Наряду с полками вдоль стен и вместительными ларями здесь стояли столики, стулья, в простенке — старый буфет.

Как и ожидал Феликс, преобладали рабочие пожилые и среднего возраста. Молодых было меньше.

Молодые рабочие, пришедшие сюда прямо с фабрик, заказывали на ужин картофельные галушки, яичницу с колбасой, яичницу с салом, жареную колбасу с луком, ветчину, селедку. Почти на всех столиках стояли миски с салатом, с помидорами, тарелки с салом, нарезанным ломтиками…

Пожилые только пили чай с печеньем, степенно разговаривали и каждого вновь вошедшего встречали шумными шутливыми репликами. Послушаешь этих добродушных, веселых людей со стороны и покажется, что живут они без горя, без забот и ничто не тревожит их в будущем. Сидели, посмеивались, подшучивали друг над другом, не стесняясь присутствия Феликса, которому сразу же подвинули чайник и чашку.

По непринужденному общему разговору Кон понял, что собирались здесь люди не с одного завода или фабрики — едва ли не из всех рабочих предместий. Были тут и машиностроители, и металлисты, и швейники, и даже кондитеры… Но по тому, как все они свободно обращались друг с другом, знали друг друга по именам, можно было предположить, что собираются они вместе давно и не так уж редко.

Появился Стась. Все внимание сразу переключилось на него. Стась прошел к столу, на ходу пожимая руки сидевшим близко к проходу рабочим, сел и тут же спросил, подвигая к себе чашку:

— Ну, что слышно у вас, друзья?

— А что мы слышим, Черный? — откликнулся сидевший напротив Стася пожилой коренастый рабочий с крупной головой и заметно выцветшими синими глазами. Горбатый нос делал его лицо суровым и даже грозным, но мягкий и слабый голос выдавал натуру робкую и уступчивую. — Что мы слышим, Черный? — повторил он и огляделся, словно заранее ища подтверждения у товарищей. — Мастер Магель совсем обнаглел. Иначе как польскими свиньями нас не называет.

— Это тот, немец? — спросил Стась, сдвигая брови.

— Он… У нас все мастера и инженеры — немцы.

— А что, у нас их меньше?! — ни на кого в отдельности не глядя, высказался средних лет рабочий с короткой трубкой в руке, которую он то и дело совал в рот, хотя она давно погасла. — На нашем механическом. У вас мастер ругается, да небось не дерется. А ругань на вороту не виснет. От ругани не убудет. А наш немец, мало того, что по всякому поводу в зубы дает — оно бы это еще ничего, — а то что еще взял в обычай… заманит в подсобку работницу да изнасилует — ни молодых, ни старых не пропускает.

— Так вам, чертям, и надо, — вскинулся у стены молодой взлохмаченный рабочий с темным худым лицом, — если вы этих чужеземцев терпите! Ночь-то для чего? Или духу не хватает, чтобы прусские кишки выпустить?! А если так, то и поделом вам.

Парень махнул крупной, в шрамах и порезах, рукой («металлист», — подумал Феликс) и сел, скрывшись за спинами товарищей.

Феликс ожидал горячего выступления Стася, как это было в кружке Савицкого. Но Куницкнй даже не встал и не только не повысил голоса, но скорее приглушил его, когда отвечал молодому рабочему, хотя тот и не обращался к нему лично…

— Гнев ваш, товарищ, справедлив, — сказал Куницкий негромко, и все собравшиеся невольно подались вперед. — И время для возмездия придет. Оно уже стучится в наши сердца. И я вам говорю: Коните этот святой гнев, растите в себе ярость — она поможет нам выстоять, когда настанет наш час. На легкую победу мы не рассчитывали и не рассчитываем. А поэтому готовьтесь спокойно, вовлекайте в наше святое дело всех, на кого можете положиться, сплачивайте свои силы вокруг партии.

Куницкий умолк, а напряженно молчавшие рабочие как-то сразу, одновременно вздохнули, вздохнули, как показалось

Феликсу, облегченно, заулыбались, расслабились и закивали друг другу.

— Теперь вот к вам вместо меня будет постоянно приходить Стожек, — сказал Стась, перед тем как начали расходиться. Феликс ожидал, что рабочие, по крайней мере, поинтересуются, почему уходит такой опытный пропагандист, как Черный, а вместо него им подсовывают студентика-первокурсника. Но — удивительное дело! — никто словом не обмолвился и даже взглядом косым не выразил недоумения. Все теперь улыбались Стожеку так же, как только что улыбались Черному, и пожимали руку Стожеку так же сердечно, как Черному.

И тут Феликса озарило: да ведь рабочие смотрят на него не как на желторотого юнца, совсем им неизвестного, а как на представителя неотвратимо-грозной, все знающей, все учитывающей, все видящей и всех по заслугам оценивающей партии с ее Центральным комитетом. С этой минуты и до конца своей жизни и он, Феликс Кон, будет смотреть на себя как на одного из рядовых бойцов всемирной армии революционеров.

Выйдя из трактира, Куницкий и Кон пошли в Лазенковский парк.

— Ну вот, — сказал Куницкий, широко улыбаясь, — я вижу, ты всем им пришелся по душе, Стожек.

— Да, кажется, — сказал Феликс, отвечая улыбкой на улыбку. Но тут же вспомнил, что за весь вечер так и не успел сказать ни слова, смутился и добавил: — Они мне тоже.

Барановский без труда отыскал нужный адрес. После лекций в университете он не пообедал. Попросту сказать, забыл о еде — не до того. Теперь, подойдя к лавке гастрономических товаров, что на углу Галицкой, и увидев на вывеске пивные кружки, разрезанные окорока, халы, он вдруг почувствовал приступ голода…

Задний двор, куда выходила низенькая дверь, был неопрятен, заляпан мокрым снегом, перемешанным с грязью, в углу громоздились беспорядочно сваленные пустые ящики. Кинул взгляд на маленькие окна, завешенные желтыми занавесками, и приостановился. Душу, как клещами, схватила тоска. Вспомнилась почему-то прошлогодняя поездка к другу в деревню. Высокий дом на холме с террасой. Вечером из сада тянет теплом. Миндалем пахнет вянущий вьюнок. Ночью окна дома раскрыты настежь, ярко освещены, до садовой беседки доносятся звуки рояля. Боже мой! Вот она настоящая-то жизнь! Без революций, без предательств, без провокаций… Просто — жизнь. Просто — Польша…

По утрам, совсем рано, он пересекал сад, выходил на дамбу,

шагал вдоль покосившихся плетней к деревне… Сейчас, зимой, там, за плетнями, за деревней, лежат бесконечные белые снега, блестят замерзшие пруды по обе стороны плотины, изо льда торчат желтые камыши… А ранней весной в сторону темнеющего на горизонте леса будет дуть сильный резкий ветер…

Все, все это теперь — не больше чем видение прошлого, невозвратного, недостижимого! Впереди — тьма…

Барановский без стука отворил дверь и оказался в маленькой низенькой комнатке. На стене — овчинный тулуп. У порога на полу — саквояж. Посреди комнатки — столик, застланный грязной скатертью. Янкулио, одетый крестьянином, сидел у столика, откинувшись на спинку стула, и курил. Улыбнулся, кивнул Барановскому, указав рукой на гвоздь, вбитый в стену у самого потолка, что означало приказание снять пальто и фуражку.

Появился хозяин, пожилой, худой, суетливый, забормотал испуганно, почти бессмысленно:

— Если панам угодно, могу предложить вишневку Бачевского, лимонад, кофе, пломбир…

Янкулио так глянул на хозяина лавки, что тот прикусил язык.

— Ты что, смеешься? Такому здоровяку кофе, пломбир?! Не видишь, юноша проголодался до крайней степени? Тяни бигос, гусятину, халы… ну и твою вишневку Бачевского понробуем.

Хозяин склонился в поклоне и мгновенно исчез. На Барановского он так и не глянул, и тот из этого заключил, что хозяин догадывается о роли пана студента и в душе презирает его.

Барановский молчал, борясь с покушением перегнуться через узенький столик, схватить Янкулио за длинную сухую шею и давить до тех пор, пока глаза его не вылезут из орбит. И был уверен, что товарищ прокурора даже никнуть не успел бы, не успел бы ни выстрелить, ни позвать на помощь переодетых жандармов, сидевших в общем зале… А в том, что Япкулио пришел «в сопровождении», Барановский не сомневался. Покончить бы разом — а там пусть убивают, пусть вешают: все равно ведь жизнь пропала — если жандармы пожалеют, так свои же прикончат, когда все вылезет наружу. А прикончи он сейчас Янкулио, глядишь, доброе имя сохранилось бы, а то и памятник после революции поставили бы!

Да будет ли революция? А если и свершится, так будет ли успешной? И когда будет — через десять, через двадцать лет?.. А жить хочется сейчас, сегодня, завтра послезавтра, пока еще молод и ничего хорошего в жизни не видел, даже не влюблялся как

следует… Какой смысл утешать себя посмертной памятью, когда и сейчас еще не все кончено, когда, может быть, удастся как-нибудь выпутаться…

Уже несколько раз приходил хозяин лавки, принес еду, выпивку и, так и не взглянув на студента, которого, видимо, помнил по прежним посещениям, удалился надолго.

— Ну-с, молодой человек, — пристально глядя Барановскому в глаза, снова заговорил Янкулио, — чем порадуешь? Что новенького?

— Увы, — покачал головой Барановский, — к тому, что сообщил вам в прошлый раз, добавить нечего. Где собирается руководство, какие там разговоры — нас в эти дела не посвящают. Разве что такой факт может вас заинтересовать…

— Какой факт? — подался всем корпусом вперед Янкулио.

— Газету снова собираются издавать…

— Отлично! — оживился Янкулио. — Ты, насколько нам известно, обладаешь даром живописца. Предложи свои услуги по изготовлению клише. Издание газеты будет в руках руководства — в качестве человека, причастного к этому делу, проберешься в их святая святых.

— Все это так, — уныло сказал Барановский, — да ведь как предложить услуги? Кому? Я об издании газеты узнал случайно…

— От кого? — быстро спросил Янкулио.

— Гандельсман проговорился.

— Через него и предложи. Если будет уходить, пе останавливайся перед шантажом. Ну, да я уверен, что все обойдется гораздо проще. Только действуй осторожно. И запомни, какие сведения ты должен добыть к следующей встрече… — Барановский полез было за записной книжкой, но Янкулио его остановил. — Записывать ничего не нужно. Все надо запомнить. Прежде всего… кто входит в состав Центрального комитета? Где его конспиративная квартира? Местонахождение типографии? Какова подлинная фамилия человека, скрывающегося под кличкой Черный? На первое время этого достаточно.

— Как мне передать вам эти сведения, если их удастся добыть? — спросил Барановский с какой-то затаенной мыслью.

Янкулио заметил перемену в настроении агента — несколько минут молча смотрел ему в лицо, думая о чем-то своем. Потом ответил:

— Об этом можешь не беспокоиться. Когда понадобишься — мы тебя найдем.

«Они будут следить за каждым моим шагом, — тоскливо подумал Барановский, — Я в ловушке. Выход только один — в смерти. Но прежде я должен убить погубившего меня злодея».

— Дьявольская невезуха, — посетовал Куницкий при очередной встрече. — Провалилась квартира, где сходился Комитет. А нам необходимо во что бы то ни стало сегодня собраться перед моим отъездом за границу.

— Наша квартира всегда в распоряжении Комитета, — сказал Феликс. — Мы живем с мамой вдвоем, без прислуги.

— Спасибо, братец, — Стась положил Феликсу на плечо свою руку. Он относился к Феликсу покровительственно, но, странное дело, это совсем не раздражало Кона. Даже слово «братец», которого он не стерпел бы ни от кого другого, произнесенное Стасем, льстило. — Но как отнесется к этому твоя мать? Ей, наверно, придется сказать, кто мы такие.

— Она воспримет все как должно. Ведь она уже побывала в тюрьме.

По лицу Куницкого прошла тень. Феликс подумал, что, может быть, в этот момент Стась вспомнил о своей матери, которую нежно любил и глубоко страдал от того, что она не сочувствует его тайной деятельности. Феликс знал, что Стась, кристально честный и прямодушный Стась, дал матери слово, как она просила, не заниматься пропагандой в Польше и уехать за границу. И теперь, уйдя в подполье, Куницкий больше всего на свете боялся какой-нибудь случайной встречи с матерью, жившей в Варшаве.

— Это хорошо, — Стась тут же спохватился: — Не то хорошо, что она была в тюрьме, а то, что одобряет твои взгляды.

— Да, — согласился Феликс, — это для меня великое счастье. Нет нужды ни скрывать, ни таиться.

Феликс только однажды видел мать Станислава Куницкого, но запомнил эту встречу навсегда. Они тогда возвращались вечером с собрания рабочих ковровой фабрики, болтали о том о сем, и вдруг на углу, недалеко от Маршалковской, слабо вскрикнув, прямо перед ними упала в обморок изящно одетая женщина. Феликс кинулся ее поднимать и, ожидая помощи, обернулся к Станиславу. Но того рядом не оказалось: как сквозь землю провалился.

Когда женщина очнулась, Феликс осторожно поднял ее и спросил участливо:

— Что с вами, пани?

Женщина повела вокруг огромными глазами (уже собиралась толпа) и сказала, через силу улыбнувшись:

— Ничего, просто закружилась голова. Спасибо вам, юноша…

И она медленно побрела дальше. Толпа растеклась. И только теперь из-за угла вышел бледный и растерянный Станислав.

— Куда ты пропал? — набросился па него Феликс. — Вместо того чтобы помочь, стрельнул куда-то в темноту…

— Прости, друг… И — спасибо тебе, — заговорил Станислав, с трудом выговаривая слова.

— Да за что спасибо-то? — ничего пе понимал Феликс.

— За то, что ты оказал помощь… маме…

Феликс чуть не вскрикнул от удивления:

— Это была твоя мама?

— Да. Она ведь не знает, что я в Варшаве… Она давно… ничего обо мне не знает… Я не хочу, чтобы она обо мне что-нибудь знала. Я ее очень люблю. И боюсь, если ей станет известно, что я нелегал, это убьет ее в тот же час.

Вечером на заседании Центрального комитета Феликсу были переданы связи уезжающего за границу Куницкого с рабочими кружками.

Сегодня спешить было некуда, и после заседания остались Куницкий и Дембский. С Дембским Феликсу часто встречаться не доводилось. Зато уж Станислава Куницкого знал он отлично. Знал и гордился дружбой с ним, которую, как ему казалось, почему-то никто не замечал. Лишь потом, позднее, он понял, что с Куницким точно такими же узами дружбы и партийного братства были связаны очень многие, и каждому из них казалось, что именно к нему Станислав относится особенно сердечно и с особым доверием. Уж таков он был, этот Станислав Куницкий.

Кипучий, порывистый, ярко талантливый, он постоянно пребывал в движении, в действии… Дембский же, наоборот, всегда спокоен, даже медлителен, в суждениях уравновешен, в словах нетороплив, но при всем том имел устойчивую репутацию подпольщика, умевшего легко ускользать из любой жандармской ловушки.

Феликс хорошо знал эти достоинства Александра и был польщен, когда Дембский спокойно и уверенно, по своему обыкновению, поддержал Куницкого, предложившего утвердить Стожека в качестве инструктора. Для Феликса это было признанием его заслуг: инструкторы пополняли Центральный комитет, когда из него кто-нибудь выбывал.

Говорили еще долго.

— Как трудно все это соотнести, — продолжал свою мысль Александр Дембский. — Труд у нас организован из рук вон плохо, если сравнить с Западной Европой. А вот темпы промышленного развития в России самые высокие в мире. Как согласуется это с естественными законами?

— Очень просто, — тут же ответил Куницкий, их талантливый Куницкий, еще в бытность своего студенчества в

петербургском Институте инженеров путей сообщения поражавший профессоров постановкой таких вопросов, разрешением которых только начинала заниматься наука. — Да, очень просто. Невероятные, сказочные богатства недр нашей страны и крайне низкая заработная плата рабочих по сравнению со странами Западной Европы — вот в чем причины высоких темпов развития молодой российской промышленности.

— А меня вот что мучает, — сказал Феликс, — кто пойдет с рабочим классом в революцию? Интеллигенция — да. Но она слаба и малочисленна. Буржуазия — ненадежна…

— Буржуазия не только ненадежна, — сказал Куницкий. — Она враждебна рабочему классу. Ты сам это понял, Стожек. И она пойдет не только на сговор с самодержавием, но и будет бороться с революционными рабочими не менее жестоко, чем самодержавие. Союзник у рабочих масс один — крестьянство.

— Но мужик забит, отуплен, — возразил Дембский.

— Революция откроет ему глаза, — не задумываясь, ответил Куницкий. — Будет время, когда крестьян наделят землей за счет полного отчуждения помещичьих земель. Уничтожат выкупные платежи. Освободят крестьян от опеки земских начальников, потому что это не что иное, как крепостное право в новом варианте. Улучшат правовое положение крестьян…

— Что ты имеешь в виду? — спросил Феликс.

— Единый суд. Отмена телесных наказаний. Уничтожение сословной обособленности. И сразу же в мужике возродится дух хозяйственной предприимчивости и самостоятельности. И за это за все крестьянин будет драться с оружием в руках, драться до последней капли крови. Нам нужен теоретический журнал. На эти вопросы революционер должен иметь ясные ответы. Думаю, что мне удастся договориться с женевскими теоретиками.

— Варыньский пытался, но у него ничего не получилось, — заметил Дембский.

— Но теперь женевская эмиграция изменилась в лучшую для нас сторону. Сейчас там много сторонников нашей линии. Они издают журнал. Мы введем в редакцию своих людей.

— Но не забывай, Стась, — напомнил Дембский. — Главное — это твоя миссия на съезде народовольцев в Париже.

— До съезда еще надо дожить.

— До съезда мы обязаны дожить. Он решит вопрос о союзе нашей партии с «Народной волей».

— А не слишком ли мы много значения придаем этому союзу? — спросил Феликс. — Варыньский не нашел с заграничными народовольцами общего языка.

Куницкий встал из-за стола. Встали и все остальные.

— На прощание, други мои, вот что хочу вам сказать… Помните, кто бы из нас ни выбывал из строя, борьба не должна замирать ни на один день.

— В этом можешь не сомневаться, — сказал Дембский, — для нас иной жизни нет. Мы посвятили себя борьбе и будем, пока живы, бороться всеми доступными нам средствами.

— Всеми? — переспросил Феликс.

— Да, — сказал Куницкий, — с ними, как с бешеными волками, все средства хороши.

Феликс покачал головой.

— А мы не уподобимся этим бешеным волкам? Мне почему-то хочется сказать всем нам: не засоряйте мысли и чувства злостью!

Дембский нетерпеливо перебил:

— Это мещанская здравомыслица, Стожек, обывательщина. Она пусть останется для тех, у кого долгий век. Мы обречены, и потому действия наши должны быть мгновенными и точными, как удар кинжала…

— Может быть, мы и обречены, — возразил Феликс, — но в обреченности наша жизненная пламенность. Я только так чувствую и воспринимаю свою жизнь в ее будущем.

Куницкий быстро, порывисто прошелся по комнате, в которой скапливались сумерки, остановился возле Кона и Дембского.

— Оба вы по-своему правы. Только у одного больше зацепки за жизнь, у другого меньше. А теперь послушайте, что вам скажу я. Да, очень даже возможно, что мы скоро сойдем со сцены… Но мы так хлопнем дверью, что вся Европа содрогается!

А в здании на улице Медовой в кабинете товарища прокурора Окружного суда по политическим делам в это самое время беседовали хозяин кабинета и жандармский майор.

— Ну вот, господин майор, удача сама летит к нам в руки. Надо только суметь поймать ее. — Янкулио не смог усидеть в кресле. — Я имею в виду операцию с Барановским. Плохими же мы были бы стражами порядка, если бы только и умели, что натаскивать филеров. Наружное наблюдение — это важно, но не в этом наша сила. Чтобы знать все о революционерах, надо иметь в их организации своих людей.

— Мы имеем, — отозвался Секеринский.

— И… знаем все или почти все, — подхватпл Янкулио.

— И тем не менее никакого громкого дела из всей этой затеи не получится.

— Абсолютно согласен, — сказал Янкулио. — Но вот тут-то мы подходим к тому, что я считаю основой основ сыска. Мы

становимся во главе революционной организации, направляем ее деятельность в нужном нам направлении. Само собой разумеется, руководим так, что революционеры об этом и не догадываются. Им кажется, что все делается по их воле, по их замыслам. И тут нам понадобится не просто исполнительный и добросовестный чиновник, а человек, от природы наделенный этим талантом.

— Талантом провокаций? — не удержался, чтобы не съязвить, майор. Но Янкулио не обиделся.

— Нет, господин майор, — сказал он убежденно, — это не провокация. — Это — операция. Чтобы уничтожить подполье, надо дать созреть его преступным планам. Созреть и проявиться. Тогда мы получим юридическое право применить к подпольщикам высшую меру наказания. Меру, позволяющую не только пресечь преступную деятельность, но и вырвать самые корни.

— Теперь я тебя понимаю, — прочувствованно сказал майор. — Будем действовать рука об руку.

— А дальше… — Янкулио будто не услышал последних слов Секеринского, — а дальше надо будет подтолкнуть их к какому-нибудь отчаянному шагу…

— Например? — спросил в упор Секеринский.

— Например… к покушению.

— На генерал-губернатора?

— Это опасно. В случае их удачи, а это никогда не исключено, мы полетим к чертям собачьим. В интересах дела террористов надо направить, — Янкулио снизил голос почти до шепота, — на меня или, скажем, на тебя. А? — и впился взглядом в глаза майора.

— Лучше, если бы на тебя, — почти серьезно предложил Секеринский. Но Янкулио не принял шутки.

— А уж сделать выбор предоставим революционерам. Ведь и им надобно тоже в чем-то самостоятельность проявить…

Александр Дембский назначил Феликсу встречу в кондитерской Рината:

— Повеселимся немного, потанцуем. Не все же время ходить да озираться, надо иногда и отдых нервам дать.

Так и не понял тогда Феликс, что скрывалось за этими объяснениями Дембского. Но на другой день, вечером, надел черный сюртук, белую манишку, завязал красивым узлом галстук и отправился к месту встречи, к Гипату. Дембский появился почти одновременно с ним, тоже в сюртуке и белой рубашке.

— А теперь пойдем потанцуем, — сказал Дембский, и они пересекли улицу наискосок. Вошли в подъезд какого-то дома. Из

квартиры во втором этаже и в самом деле доносилась веселая танцевальная музыка. В небольшой зале спокойный уравновешенный Дембский вдруг преобразился. Подхватил какую-то, видимо, знакомую девушку-гимназистку и кинулся отплясывать вместе со всеми. Изумленный Феликс видел, как он носился от стены к стене, выкрикивал какие-то непонятные слова и так вскидывал длинные ноги, что аж фалды разлетались. Полноватое лицо его улыбалось какой-то нервической улыбкой.

Матка бозка! Да уж не вселился ли в этого невозмутимого подпольщика дьявол?! Проносясь со своей раскрасневшейся девушкой мимо Феликса, Дембский выкинул правую руку и обхватил его за талию. Так втроем они и летели по кругу, выделывая ногами всевозможные коленца к удовольствию безоглядно веселящейся молодежи…

Танцы продолжались, как обычно на польских вечеринках, чуть не до упаду. Но в какой-то момент Дембский успел шепнуть Феликсу:

— Незаметно уходи вон в ту заднюю комнагу… я следом за тобой.

Полутемная комнатка была пуста. Дембский отодвинул от стены тяжелый диван, постучал костяшками пальцев в стену каким-то условным знаком, и тут же в ней зачернел небольшой проем. Феликс прошел в него следом за Александром, и они очутились в смежной квартире, где посреди комнаты стоял типографский станок. Возле него — голый до пояса парень с тяжелым взглядом. На лице, довольно грязном, на широкой груди, на мускулистых, заросших белесым волосом руках, в которых он держал типографский валик, — бисеринки пота. Из-за его плеча выглядывало добродушное худощавое лицо другого молодого парня.

Человек с типографским валиком представился Феликсу:

— Агатон Загурский. Я же — Круль.

Другой выступил из-за плеча товарища и, улыбнувшись, назвал себя:

— Эдмунд Выгановский. Зовите меня Янек. Я из Литвы.

— А это Стожек, — сказал Дембский. — А теперь за работу! Снимай, Стожек, к чертовой матери сюртук и рубашку! Янек — накладывать листы, Стожек — снимать. А мы с Крулем повозимся с валиком.

Вскоре все четверо, раздетые по пояс, принялись за работу. Пот разъедал глаза, ломило от непривычки поясницу, но — ни минуты отдыха. Всюду по комнате разбросаны оттиски, от запаха типографской краски, медленно сохнущей, кружится голова. Лист — на лист… десяток… сотня… другая… Тяжело ухал станок,

мелькали блестящие от пота тела…

И вдруг — за стеной стихла музыка. Дембский выпрямился.

— Стой! Чуть-чуть не успели, ну да главное сделано. Теперь падайте, где кому нравится, и — спать. Перед рассветом все это надо успеть отправить в предместья и на вокзалы. Листовки должны появиться одновременно не меньше чем в десяти городах.

Круль захрапел сразу же, едва улегся на обрывках газетных листов, а Выгановский долго кашлял — чувствовалось, что к этому добродушному юноше подбирается чахотка.

С первыми утренними поездами в разные концы Привислинского края уезжали несколько молодых людей с одинаковыми чемоданами. В Белосток уехал Госткевич, полурабочий, полуинтеллигент. В последнее время за ним усиленно охотилась полиция, и теперь его направляли в Белосток… В Лодзь увозил чемодан молодой ткач Шмаус, в предместья Воля, Млынув и Мокотов отправились рабочие Пашке и Оссовский…

И Феликс тоже предложил свои услуги. По Дембский их отверг.

— Нет, Стожек, — сказал он, — обойдутся без тебя. Поскольку ты теперь специалист по печатной части, тебе придется заняться делом большой важности.

— Каким же? — спросил Феликс, хотя и догадался, что имел в виду Дембский.

— Будем печатать газету.

Вот оно — признание! У Феликса на мгновение перехватило дыхание: ему открывали доступ в святая святых партии — к изданию газеты!

— Завтра в то же время встретимся опять у Рината, Кстати, имей в виду, Гинат — наш человек…

— А квартиру для танцев тоже снимает наш человек? — спросил Феликс.

— Да. Квартиру мы сняли на имя Головни. И специально устраиваем танцы, чтобы музыка и шум заглушали грохот станка. А здесь живет Янек Выгановский. Мы соединили две квартиры потайной дверью — получился запасной выход на случай налета полиции. И еще, Стожек… ресторан Беджицкой — тоже наша явка. Это — на крайний случай, когда нужно что-нибудь экстренно сообщить в Комитет. Там всегда находятся наши люди, они и укроют, и передадут немедленно все, что нужно и кому нужно.

— Благодарю, — растроганно сказал Феликс.

А Дембский продолжал:

— В кондитерскую придешь с последним номером

«Варшавского курьера». Если все благополучно, там будет сидеть юноша и читать предыдущий номер. Подойдешь и скажешь: «Когда прочтете, не дадите ли мне?» Это будет хозяин типографии. Запомнил пароль?

— Да, — машинально ответил Феликс, еще не проникшийся сознанием того, что в конспиративной партийной работе нет мелочей, что за каждой мелочью стоят человеческие жизни.

Вечером Кон вошел в кондитерскую, держа в руке «Варшавский курьер», свернутый так, чтобы в глаза сразу же бросался заголовок. Слева у окна за столиком одиноко сидел низкорослый худой юноша с невыразительными чертами лица. Он сосредоточенно читал первую страницу того же «Варшавского курьера». Кон подошел к нему, спросил тихонько:

— Вы не дадите мне почитать?

Юноша оторвался от газеты и, полоснув Феликса ненавидящим взглядом, выскочил из кондитерской. Ничего не понимая, Феликс заторопился за ним. С противоположной стороны улицы к кондитерской сворачивал в этот миг Александр Дембский. Юноша кинулся к нему и, размахивая газетой, стал что-то быстро говорить ему, а сам все озирался на подходившего к ним Кона. Дембский нахмурился.

— Что случилось, Стожек? — спросил он. — Ты забыл пароль?

Феликс смутился:

— Нет, но я, кажется, не совсем точно его произнес…

— Впредь этого не допускай. Хорошо, что я подошел вовремя. Бронислав принял тебя за провокатора.

— Да, — подтвердил Бронислав, — я вас принял за неопытного провокатора и мог бы с чистой совестью прикончить!

— И поделом. Это было бы заслуженным наказанием. А за урок спасибо. Будем знакомы… Кон. — Феликс подал руку.

— Славиньский. — Маленькая ладонь юноши сомкнула широкую руку Феликса железным пожатием. Феликс не удивился: Славиньского он таким и представлял — человеком большой нервной силы.

Они скоро сблизились и подружились. Этим знакомством Кон очень дорожил.

Бронислав привлекал его своей удивительной скромностью и преданностью товарищам. Как хозяин типографии, Славиньский каждую минуту рисковал быть схваченным. Но это не сделало его ни раздражительным, ни самоуверенным, ни гордецом. Жил он в том же без окон и без вентиляции чердачном помещении, где стояли печатный станок и наборные кассы, дышал воздухом, отравленным свинцовой пылью, — и потому в лице его не

осталось ни кровинки. Он сам по ночам сгружал с подвод бумагу, сам крутил колесо печатной машины, сам разбирал шрифты и раскладывал по наборным ящикам. И лишь изредка позволял себе выйти с Куницким или Дембским и посидеть где-нибудь за чашкой кофе.

А в том, что работа в подпольной типографии — адская работа, Феликс убедился в эти три дня, когда они, не выходя из подвала ни на минуту, печатали тираж газеты, выходившей на шестнадцати страницах. И только время от времени сменяли друг друга: крутивший колесо становился к станку и наносил валиком краску на шрифты, а потом накладывал лист чистой бумаги, а час спустя это уже делал другой.

К концу первых суток Феликс едва держался на ногах — кружилась голова от запаха типографской краски.

— Пройдет, — утешал Дембский, — я в первый раз даже чуть не потерял сознание. А потом притерпелся.

На вторые сутки «притерпелся» и Феликс. И все время удивлялся Славиньскому, который не только тут работал, но и жил. Другие придут на помощь, помучаются дня три-четыре и уходят, а Бронислав здесь всегда.

В короткие перерывы на обед Феликс усаживался на кипу бумаги и, наскоро съев кусок колбасы с ломтем халы, вслух читал со свежей газетной страницы. Ковальский (в недавнем прошлом участник рабочего движения в Галиции) и Славиньский слушали молча, стараясь вникнуть в каждое слово. На полном лице Дембского то и дело появлялась снисходительная улыбка. Феликс зная, что он редактировал эти статьи, и знал, кто был их автор.

Феликс читал:

— «Постоянной борьбой мы приведем правительство к одной из двух крайностей: либо оно признает за всеми гражданами, не исключая социалистов, право и возможность свободно провозглашать свои политическо-экономические принципы, либо разбудит против себя в общество столько недовольства, возмущения, само нагромоздит столько горючего материала, что пожар, наконец, вспыхнет». Ну, что скажете?

Славиньский, человек вообще малоразговорчивый, но успел ответить. Его опередил Дембский:

— Что тут можно сказать, Стожек?! Нельзя, по-моему, отдавать предпочтение одному методу. Четырехлетняя борьба народовольцев тоже не прошла бесследно. И «Пролетариат» может и должен использовать героические приемы «Народной воли». Особенно сейчас. Ноябрьские аресты прошлого года лишили нас широкой опоры на заводах Лодзи, Згежа и, как вы знаете, в Варшаве. Уцелели четыре кружка. Что же нам остается

делать? Ждать, когда загребут, как загребли Пухевича? Нет! Извините!

Вчетвером печатали несколько суток, отрываясь только для того, чтобы свалиться тут же у станка на полу и часа четыре поспать.

Когда весь тираж был отпечатан, упакован и передан группе распространения, Дембский скупо улыбнулся.

— Ну, други мои, — сказал он, — подражая Куницкому, — думаю, мы заслужили несколько минут отдыха. Предлагаю поесть как следует у Беджицкой, а заодно запастись свежей информацией. Мы тут совсем одичали и оторвались от жизни. Возражения имеются?

— Нет, — воскликнул Кон, довольный тем, что в эти дни не свалился от усталости раньше своих товарищей, ни разу не сплоховал, постигая профессию подпольного печатника, что его теперь без всяких оговорок считают настоящим революционером эти трое опытных, храбрых и хладнокровных подпольщиков.

Бронислав в знак согласия тоже кивнул.

В ресторане свой человек сразу же провел их в отдельный полутемный кабинет, где навстречу из-за столика поднялся высокий плотный юноша с темно-русыми вьющимися волосами, с очень синими глазами. Феликс узнал в нем ткача Яна Петрусиньского из Згежа, подавно перешедшего на нелегальное положение. Кон и Петрусиньский раза два или три встречались, и Феликс, сразу же проникшийся симпатией к молодому рабочему-революционеру, уже знал, что Ян его ровесник.

Петрусиньский, забыв поздороваться, подсел к столу рядом с Дембским.

— Я жду тебя с самого утра…

— Что случилось? — спокойно спросил Александр.

— Пока ничего, но может случиться, если проморгаем момент… В нашей организации, кажется, провокатор.

— Кто? — на той же ноте спросил Дембский.

— Франц Гельшер.

— Доказательства?

— Пока подозрения. Но серьезные. Видели, как он выходил из жандармского управления. Что бы ему там понадобилось? Если вызывали повесткой, то почему в Комитет не сообщил?

— Резонно. Давно заметили?

— Да уж дня четыре.

— Многовато. Надо немедленно установить за ним слежку. И поручите это… знаете кому? — Дембский на мгновенье задумался. — Его родному брату…

— Яну? — разом воскликнули Петрусиньский и Кон.

— Да, Яну Гельшеру, — твердо произнес Дембский. — Это гарантия того, что ошибки не будет. Есть у кого-нибудь сомнения в надежности Яна Гельшера?

— Нет, за него я ручаюсь головой, — воскликнул Петрусиньский.

— Я тоже, — сказал Дембский. — Если подозрения подтвердятся, тебе, Петрусиньский, поручается привести в исполнение приговор о казни провокатора.

От неожиданности Ян приподнялся со стула и, глядя все расширяющимися, нестерпимо синими глазами в непроницаемо-спокойное лицо Дембского, спросил срывающимся голосом:

— Приговор… еще… будет подтвержден?

— Разумеется, если подозрения подтвердятся. А это должен решить Комитет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Странное то было время для Европы, время, принятое называть безвременьем. Уставшая от наполеоновских войн, натерпевшаяся страха в дни революций 1848 и 1871 годов, она стерпела и наглую демонстрацию военных и политических мускулов Пруссии, сделав вид, что ничего особенного но произошло. Героический континент как-то быстро превратился в тихую обывательскую провинцию. И только Англия, отгородившаяся Ла-Маншем, позволила себе негодование по поводу того, что Бисмарк, составляя Берлинский меморандум после разгрома Франции Пруссией, не дал себе труда предварительно проконсультироваться с правительством владычицы морей… Королева была взволнована тем, что Бисмарк обращается с ее страной как с третьестепенной державой.

Но, несмотря на треволнения британской королевы, Европа торопилась воспользоваться передышкой и ухватить свою долю удовольствий. В Париже улицу Ришелье по вечерам запруживали экипажи, подвозившие великосветскую публику к театру. В Вене сутками напролет танцевали. Приглашения на балы рассылались вперед на целый сезон. Иностранцы, побывавшие там в те годы, потом до конца своих дней с умилением вспоминали балы у князя Шварценберга, которые начинались в одиннадцать часов утра и заканчивались в шесть часов вечера следующего дня…

Венский двор свое «государственное время» посвящал преимущественно охоте в Гедолле, близ Будапешта. Император Австро-Венгрии в сопровождении кронпринца, окруженный молодцеватыми венгерскими магнатами на разгоряченных лошадях, с утра до вечера скакал по лесистым склонам, любуясь красавицей императрицей, которая в своей любви к лошадям доходила до того, что сама участвовала в скачках и ни с кем, даже с иностранными послами, не говорила ни о чем, кроме лошадей…

Рим на своих исторических холмах по облику и образу жизни все еще оставался Римом папских времен, хотя официально власть их над городом была ликвидирована в 1870 году. Велись раскопки Форума, обнажая, казалось, канувшие навсегда пласты эпохи Юлия Цезаря и Нерона. Средневековые палаццо аристократов стали местом постоянных развлечений. Целых десять дней перед великим постом центральные улицы города, утопающие в цветах, увешанные яркими тканями, затоплялись карнавалом: по ним проплывали разукрашенные колесницы, гарцевали всадники во всевозможных маскарадных одеждах…

Путешественники, проехав городские ворота, углублялись в Кампанью, тогда еще первозданно свободную от позднейших

застроек и казавшуюся бесконечной в своей невообразимой древней красоте с ее акведуками, развалинами, холмами, раскаленными горячим итальянским солоцем, остановившемся в глубоком синем небе… Тогда Кампанья все еще была землей Каталины и Спартака, землей Гарибальди, а сама Италия — землей обетованной для многих поколений польских изгнанников. Здесь в 1794 году побывал Тадеуш Костюшко, посетил Рим, Неаполь, Флоренцию, а через несколько недель повстанцы объявили его «начальником государства». В итальянском городе Варесе хранится урна с сердцем Тадеуша Костюшко.

Сердце Костюшко будет возвращено Польше. В этом Феликс не сомневался. Он не мог только сказать точно, когда это будет, не знал, в его ли силах приблизить это время…

Но как ни очарователен левобережный Рим, а сердцу поляка все-таки милее левобережиая Варшава. Как ни поразительна площадь перед Капитолием с ее архитектурным ансамблем — творением Микеланджело, а душою поляк всегда там, на севере, на Замковой площади, где устремилась в небо колонна Зигмунта III, где у подножия Кафедрального собора святого Яна сгрудились дома и переулки Старого города.

О, как любил Феликс толкаться на рыночной площади в праздничные дни! Среди громоздящихся друг на друга крестьянских возов и разноголосо гомонящей живности, среди бесчисленных торговцев «вразнос», которым нет никакого дела ни до причудливого смешения стилей Возрождения и готики в отделке дворцов и костелов, ни до скопления средневековых домов с тремя окнами по фасаду и в три этажа, изукрашенных фресками, барельефами, рисунками по штукатурке… Каждый дом принес из глубины средневековья неповторимые названия — «под Крокодилом», «под Негритенком», «под Фортуной»…

А улицы Старого города, узкие и глубокие, как каньоны, сохранили названия когда-то протекавших по этой песчаной равнине речек. Ручеек улицы выводит к месту, откуда открывается вид на голубую привольную Вислу с островками, на правобережное предместье — Прагу, со множеством зелени парка, а дальше — желтые мазовецкие пески, синеющая вдали полоска восточных лесов под бесконечным голубым небом…

Феликс в Западной Европе впервые. Заграничный паспорт ему вручил Александр Дембский. А чтобы сбить с толку охранку, если ей вздумается последовать за Коном, он должен был изображать путешественника, наслаждающегося достопримечательностями древних городов Европы. Так впервые удалось побывать в Париже, а оттуда он переехал в Женеву.

Этот город, находящийся у самой границы с Францией, с населением, в основном говорящим по-французски, имел много преимуществ перед другими городами Европы, куда стекались политические эмигранты из разных стран света. Феликс буквально вырвал у Дембского разрешение посетить Женеву. Здесь, казалось, сам воздух был пропитан ученостью, располагал к неспешным размышлениям. Женевская академия, несколько лет назад переименованная в университет, была основана еще в XVI веке.

Многое в этом городе уходит своими корнями в глубокую старину. Все это так. Но даже публичная и университетская библиотеки с почти полумиллионным собранием книг не удержали бы здесь навсегда Феликса Кона, как не удержал бы и Париж с его Монмартрским холмом, с его ученым Латинским кварталом, с его Сорбонной и Национальной библиотекой, где хранится пять миллионов книг и рукописей, с его «Гранд-Опера» и «Комедд Франсез»…

Куницкий, вызвавший Феликса за границу, должен был ждать его в австрийском городе Бреслау. Кон приехал туда сразу же после полудня. Вышел из вагона, огляделся. Но в негустой толпе встречающих Стася не было. Что случилось? Ведь именно Черный должен был вручить ему квитанции на получение багажа с нелегальной литературой, отправленной им сюда из различных городов Европы, и дать адрес вожака контрабандистов, с которыми Феликс должен будет переправить ее через границу…

Вдруг светло-рыжий коммивояжер в пенсне и в богатом пальто, с саквояжем в левой руке и с тростью с причудливым набалдашником в правой обратился к нему по-немецки:

— Кажется, господин Кон?

— Нет, вы обознались, должно быть, — торопливо ответил Феликс и отвернулся, отыскивая глазами Куницкого.

— Да нет же, нет. Вы безусловно господин Кон! — коммивояжер тряс его за руку. Феликс гневно повернулся к нему, но, увидев знакомую улыбку на лице импозантного дельца, изумленно прошептал:

— Черный!

— Теперь Рыжий. А лучше… Григорий. И пойдем-ка ко мне в гостиницу. Там и поговорим обо всем.

В новой гостинице рядом с вокзалом Кувицкий снимал просторный тихий номер, окна которого выходили во двор.

— Я должен уехать сегодня же, а номер останется за тобой, — сказал Стась, когда они расположились в мягких креслах у стола, на котором стояло все необходимое для завтрака — кофе, пломбир и печенье.

— Богато путешествуешь…

— …Григорий, Григорий, — напомнил Стась. — Не забывайся, Стожек. А что касается комфорта, то иначе нельзя. Ведь я богатый коммерсант, путешествующий по торговой надобности. А ты мой агент по особо важным… торговым делам. Так что… марку держи. А теперь выкладывай, что там у нас, в Варшаве?

— Об этом говорить долго, — сказал Феликс, оттягивая неприятный разговор. — Ты сначала скажи, как съездил?

— Да что ж, съездил хорошо, — живо откликнулся Стась, — с изданием журнала дело налажено. Договорился с будущими сотрудниками, заключил контракт с типографией. Да это не все, дорогой мой Стожек! — Стась сорвал пенсне, кинул на стол, и черные глаза, так не гармонирующие со светло-рыжими волосами и такой же бородой, коротко подстриженной, засверкали каким-то вдохновенным огнем. — Можешь поздравить с величайшей удачей…

— Тебя? — спросил Феликс.

— Не только. И себя, и всю партию. Свершилось, я не боюсь произнести это слово, историческое событии. Достигнута договоренность о союзе с «Народной волей». Осталось уточнить разграничение сферы действий. Думаю, что эту миссию Комитет поручит именно тебе, как наиболее горячему стороннику союза с русскими революционерами.

Сначала было предложение Стася обрадовало Феликса, но потом он задумался:

— Послушай, Стась… Что-то не увязываются концы с концами. Мы пропагандируем учение о борьбе классов, а «Народная воля» организация террористическая… Какое же может быть соглашение?

Куницкий нахмурился.

— Ты не совсем прав, Стожек, — сказал он негромко. — Народническое движение сначала было чисто пропагандистским. За кинжал и бомбу их заставили взяться обстоятельства. К террору их толкнули жесточайшие репрессии самодержавия. У них не оставалось никакого иного средства защиты. Рано или поздно перед этим встанет и наша партия. И вот тогда-то нам ох как пригодятся опыт и связи «Народной воли», ее авторитет на мировой арене!.. Куницкий произнес последние слова с воодушевлением, но Кон не мог так быстро освободиться от сомнений:

— А не превратится ли наша пролетарская революционная партия в польский вариант «Народной воли»?

— Нет! Обогащенный политическим опытом «Народной

воли», «Пролетариат» станет более авторитетной и более сильной партией.

— А мне все это почему-то кажется роковой ошибкой, — проговорил Кон.

Куницкий опять нахмурился и спросил в упор, уставив огромные черные глаза свои в голубые глаза Феликса:

— Решил отойти?

— Да нет же, — почти страдальчески произнес Феликс. — Ты пойми — я высказываю свое мнение. Но каким бы оно ни было, с тобой я останусь до конца.

— Спасибо, друг. А теперь бери квитанцию на получение багажа. Я его отправил до конечной станции. Там пойдешь по этому адресу, спросишь Генриха Шпрунга. Он проведет тебя к Иогану Вагнеру…

— Он не родственник ли композитора? — с улыбкой спросил Фелнкс.

— Среди немцев Вагнеров больше, чем среди русских Ивановых. Так вот, передашь ему от Рыжего Григория, от меня значит, поклон, и он тебе устроит все, о чем ты его попросишь. А это деньги на оплату услуг…

Пряча деньги в карман, Феликс достал свой заграничный паспорт, который берег пуще глаза.

— Не потерять бы…

— Не бойся, — успокоил его Куницкий, — он тебе больше не понадобится.

— А через границу переходить?

— Тамошние пограничники признают только один вид на жительство — туго набитый бумажник.

— Значит, — забеспокоился Кон, — мне тоже придется платить.

— Об этом позаботятся твои проводники. А теперь, Стожек, будем прощаться…

Отыскать Шпрунга оказалось совсем непросто. Он жил в глубине какого-то застроенного двора, на пятом этаже узенького средневекового дома с маленькими оконцами и высокой островерхой крышей. Но еще запутанней был путь к Вагнеру. Целый час пробирались по кривым улицам и нашли вожака контрабандистов в полуразвалившейся каменной пристройке.

Вагнер оказался стариком, с деревяшкой вместо правой ноги, с морщинистым, изборожденным старыми шрамами небритым лицом. Рядом с ним Шпрунг, тоже пожилой, но крепкий и тщательно выбритый, в замшевой куртке и синих суконных штанах, заправленных в темные гетры, выглядел особенно

внушительно.

— Вам от Рыжего Григория поклон, — сказал Феликс. Они со Шпрунгом стояли у двери. А в комнате был только один стул, на котором и сидел Вагнер, выставив вперед деревяшку.

— Ему тоже кланяйся от меня, если живой останешься. Деньги! — хрипло сказал Вагнер.

— Какие деньги? — изумился Феликс, полагавший, что о расчете речь впереди.

— За работу.

— Деньги по ту сторону границы…

Вагнер кивнул бесстрастно стоявшему Шпрунгу:

— Видал умника! По ту сторону! А если тебя пристрелят ваши пограничники по эту сторону, с кого я получу? С императора Александра Третьего?

Делать было нечего. Старик кинул деньги в ящик стола, даже не взглянув на них. Спросил:

— Квитанция на багаж с собой?

— Да.

— Дай сюда. Генрих, зайдешь к Карлу, скажешь, чтобы получил багаж, а сам наведайся в таможню, узнай, кто ночью будет патрулировать. Если Отто, то сегодня же ночью и переправитесь. Желаю удачи…

Для перехода выбрали участок границы, проходящий вдоль неширокой речки, густо заросшей кустарником. Генрих и Карл, вертлявый немец лет сорока, несли огромные тюки, а Феликсу достался небольшой фанерный ящик, однако очень тяжелый. «Книги», — подумал он. Брели в воде выше пояса. Лица царапали ветви кустарников с мелкими колючками.

Вдруг Генрих, шедший впереди, замер. За их спинами послышались голоса. Феликс, одна нога которого попала па скользкий камень и теперь сорвалась с него, покачнулся. Плеснулась вода. И тут же раздалось несколько выстрелов. Пули врезались в воду совсем рядом. А минут через десять голоса стали стихать. Патруль удалился.

Кинув тюки на берег, контрабандисты, которые должны были доставить груз до самого леса, засобирались назад.

— Извини, — сказал Карл. — Дальше нам нельзя. Выстрелы привлекут ваших пограничников.

Действительно, тут же в полусумраке возник силуэт человека, спешащего к реке. Феликс узнал, когда он приблизился, Пацановского.

— Не зацепили? — торопливо спросил Станислав, подхватывая самый большой тюк.

— Нет, пули врезались в воду на расстоянии руки…

— Тогда побежали. Затемно надо добраться до леса. Там нас ждет подвода.

Куницкий, вернувшись из-за границы, направил Феликса в Белосток.

— Там действует организация «Народной воли» Северо-Западного края, — напутствовал он Кона. — Тебя встретят.

На вокзале, однако, его никто не встречал. Но у Феликса был адрес Госткевича. Поехал к нему. Рассказал о поручении Куницкого.

— Я знаю, — сказал Госткевич. — Тебя ждут. Я сведу тебя сегодня с поручиком Тихомировым — он имеет полномочия от Исполкома подписать соглашение.

Вечером собралось семь человек. Кон и Госткевич представляли «Пролетариат», остальные — «Народную волю». Из них Феликс знал только Марцелия Янчевского, высокого, с хмурым взглядом, сосредоточенного в себе человека. В мае прошлого, 1883 года Марцелий три ночи провел в квартире Феликса. Янчевский считался специалистом по устройству тайных типографий. В Варшаву он приезжал по заданию Веры Фигнер установить типографию и отпечатать «Листок „Народной воли“». Тогда же Людвик Варыньский попросил Марцелия помочь наладить типографию для партии «Пролетариат». Янчевский согласился, и вскоре типография стала печатать воззвания.

Поговорить с Марцелием в те дни Феликсу не довелось. Янчевский рано утром уходил и, возвращаясь затемно, сразу же заваливался спать. Чувствовалось, что человек он малоразговорчивый, всецело поглощенный своим делом.

Янчевский и сейчас сидел отчужденно, уставясь отрешенным взглядом в занавешенное окно, всем своим видом показывая, что сидит здесь только потому, что его пригласили, и что вопросы высокой политики его, революционера-практака, мало касаются.

Зато поручик Тихомиров оказался человеком несколько забавным: даже у себя в квартире он не расставался с револьвером и саблей. А когда Феликс прочитал воззвание, озаглавленное «От мертвых к живым», поручик вынул платок, промокнул повлажневшие глаза и сказал, обращаясь к Феликсу:

— Какое глубокое чувство! Когда вы читали, я чувствовал себя, как будто меня сквозь строй проводили!..

Янчевский проговорил:

— Нельзя ли поближе к делу? Мы, я полагаю, собрались не для обмена комплиментами.

— Да, да, — поспешно согласился поручик. — Время дорого.

Скажите, пожалуйста, как партия «Пролетариат» понимает союз с «Народной волей»?

— Я отвечу так… автономия партии в своих программных установках и координация действий.

Народовольцы заговорили почти наперебой;

— Но координация действий еще не означает совместных действий и тем более не означает союза движений, как об этом было заявлено на парижской встрече.

— А если так, то что нам даст соглашение о совместных действиях?!

— Это только усложнит условия работы и увеличит риск провалов…

— Спокойнее, спокойнее, — повысил голос Тихомиров. — Дайте возможность высказаться Кону!

— Я вам отвечу, — сказал Феликс, когда голоса смолкли, — только наберитесь терпения выслушать. Что дает нам союз с вашей партией? Прежде всего, он обогащает нас опытом вашей борьбы. Но наша партия имеет довольно широкую опору в пролетарских массах, чего лишена «Народная воля». Более половины членов нашей партии — рабочие. Хочет это признать «Народная воля» или нет, по будущее в революции за рабочим классом. В такой перспективе, я думаю, и наш опыт не будет лишним для «Народной воли».

Феликс умолк. Прошло несколько минут, но никто ему не возразил.

— Я предлагаю, — продолжал Кон, — разграничить сферу действий каждой партии. «Народная воля» осуществляет руководство работой в армии на всей территории Российской империи, а работу по связи с пролетарскими массами берет на себя партия «Пролетариат».

— Ставлю предложение на голосование, — сказал Тихомиров. — Принимается единогласно…

В Варшаве прямо с вокзала поехал к Бардовскому, на квартире которого должен был встретиться со Станиславом. Надо было отчитаться о встрече с представителями «Народной воли».

Дверь открыл сам Петр Васильевич. Мягкое лицо, бакенбарды с проседью, серо-зеленые добродушные глаза. Типичный либеральный земец.

Петра Васильевича, популярного в Варшаве мирового судью, Куницкий и Дембский держали в стороне от практических партийных дел. В его квартире хранился весь партийный архив, протоколы заседаний ЦК, черновики воззваний, листовок. Доступ в квартиру имели только члены Центрального комитета.

Он имел связи с военными и через капитана Люри помог распространить среди офицеров гарнизона воззвание партии «Пролетариат» к военным.

Бардовский с полминуты стоял и, улыбаясь, разглядывал Феликса:

— Ну и юный же вы! Совсем юный! Вернулись благополучно? И как там, скоро вспыхнет революция в Белостоке? — и рассмеялся сочным и необидным смехом. — Проходите, проходите. Мне о вас только что Куницкий и Дембский наговорили всякой всячины…

— Вот как? — удивился Феликс. Он уже снимал пальто в прихожей.

— Исключительно все хорошее. Да я теперь и сам вижу, что они не только не переоценили вас, но, может быть, даже и недооценили, — и опять рассмеялся. — Есть в вас что-то, юноша! Есть!

Феликс почувствовал, как вспыхнуло его лицо от похвалы такого солидного и мало кому доступного человека.

Потом был недолгий разговор в кабинете хозяина. Сидели, пили чай. В больших вазах лежали медовые пряники, засахаренные орехи, печеные каштаны, рахат-лукум. Время катилось быстро…

Феликса Петр Васильевич уговорил остаться на ужин. Ели любимый бигус, говорили о самых разнообразных проблемах и между прочим вспомнили приказ варшавского обер-полицмейстера генерала Бутурлина о принудительном медицинском осмотре женщин-работниц, напечатанном в аксаковской газете «Русь».

— Все-таки пресса иногда отваживается писать правду, — сказал Феликс.

— Да. Но правду пьяненькую, бесшабашную, правду русского ямщика, от которой правительству ни жарко, ни холодно. Настоящая-то правда шла со страниц «Колокола».

Потом заговорили о культуре:

— Мы, русские, — говорил Петр Васильевич, — культуру воспринимаем иначе, чем европейцы. Да это и понятно. Они на протяжении своей истории слышали Данте, Шекспира, Баха… А мы слушали ветер, метавшийся по скифским степям…

В этот момент вошел Куницкий…

В тот день Феликс у себя не ночевал. После приезда из пятилетней сибирской ссылки сестры Хелены, вернувшейся в Польшу с мужем, Феликс решил подыскать себе квартиру и жить самостоятельно. Розалия Фельсенгарт, дружба с которой захватывала его все сильнее, обещая большую и долгую любовь,

помогла найти ему комнатушку с отдельным входом в большом и шумном доме, где, как казалось тогда Феликсу, можно было затеряться, словно иголка в стогу сена.

Он пришел вечером. У входа на лестницу его встретил недавно поступивший в дворники немолодой русобородый крестьянин.

— Паныч, вы никуда сегодня не пойдете? — спросил он. Это насторожило Феликса.

— Почему вы меня спрашиваете об этом?

— Околоточный велел дать знать ему в участок, как вы вернетесь. Вот я и не знаю, сейчас ли бежать в участок или обождать можно, — почесывая в затылке, говорил дворник, а у самого глаза блестели хитрым блеском. «Знает ведь, шельма, зачем я понадобился околоточному», — подумал Феликс. А вслух сказал:

— Нет, я сейчас уйду, а вернусь через час-полтора.

— Ну и ладно, паныч.

Феликс поднялся в квартиру. На столе номера газет «Пролетариат» и «Народная воля». На подоконнике шрифты. Под кроватью и в углу под стульями пустые железные банки… Номера газет сжег, шрифтами набил карманы, а банки сложил в два чемодана, навьючился и спустился во двор. Дворник его дожидался.

— Ну, с богом, паныч! С богом! — сказал он и стал махать метлою…

Пошел к Розалии. Рассказал о предупреждении дворника. Она помогла ему быстро разгрузиться.

— Надо немедленно скрыться и в квартиру ни под каким предлогом не возвращаться, — сказала Розалия.

— Я бы хотел предварительно переговорить с Григорием…

— Сегодня как раз Григорий вернулся. Если ты его непременно хочешь видеть, то иди к Беджицкой.

В тесном кабинете, спрятанном в одном из закоулков ресторана, Феликс нашел целую компанию: за круглым столом, сдвинувшись друг к другу лбами, сидели Станислав Куницкий, Людвик Янович, Станислав Пацановский и Бронислав Славиньский. Каждый из друзей на приход Кона отреагировал по-своему. Куницкий наклонился, достал свободный стул, втиснул его между собой и молчаливо-отрешенным Яновичем, сказал:

— Садись, друг. Ты очень кстати. Решаем сложнейшую задачу… В таком деле пятый голос совершенно необходим, иначе рискуем ни до чего не договориться: никак не получается большинства.

Стае Пацановский, величаво-снисходительно улыбнувшись,

протянул руку из-за спины Куницкого, крепко, дружески сжал локоть Феликса. Сидевший напротив Славиньский приветствовал его едва уловимым кивком. Тщедушный и худосочный, ни днем ни ночью не расстающийся с кинжалом и револьвером, уложивший в перестрелке немало полицейских и жандармов и ни разу не попавшийся в руки, он деловито поедал одну за другой порции своего любимого пломбира. Людвик Янович медленно потягивал кофе.

Посредине стола стояли стаканы с остывшим чаем, на тарелке горкой лежало печенье, шоколад. Феликс почувствовал вдруг острый голод, не удержался, протянул руку за шоколадом, разжевал его, запивая холодным чаем. Пацановский, хотя и был ровесником Кона, но поглядывал на него с выражением благодушной снисходительности: мол, что с него взять — мальчишка, вчерашний гимназер, боится револьвера, как опасной игрушки. Он знал, что, в отличие от остальных ближайших сподвижников Куницкого, Феликс Кон никогда не носил с собой ни кинжала, ни револьвера.

— Понимаешь, — заговорил Куницкий, подождав, пока Феликс немного насытится, — никак не можем прийти к единому мнению: становиться этим рыцарям нелегалами или продолжать жить как прежде, пока не подойдет крайность… У нелегала трудная доля, други мои. Ну, а что ты нам скажешь? Как твое мнение, Стожек?

— О том же самом, — сказал Феликс, — я как раз хотел посоветоваться с тобой, Григорий.

— Что-нибудь произошло?

— Да. Меня только что предупредил наш дворник, что моей особой интересовался околоточный. Велел сообщить ему в участок, как только я вернусь домой.

Куницкий на минуту задумался, потом спросил:

— Ты догадался почиститься?

— Разумеется. Все собрал и перенес в другое место.

— Ну, тогда, я думаю, это не основание для перехода на нелегальное положение. Подумай сам, если бы за тобою возникло мало-мальски серьезное дело, жандармы не предложили бы околоточному делать глупости, а нагрянули бы ночью, как это у них обычно делается.

— А не разыгрывает ли охранка дурочку, — подал голос Янович, не отрываясь, впрочем, от соломинки, через которую все еще потягивал свой кофе. — Не надумала ли она поиграть в кошки-мышки?

— Едва ли. Да и что может Феликсу угрожать? Сам посуди… Арестованы люди абсолютно надежные. Нет никаких оснований

думать, что опасность идет оттуда.

Все согласно молчали.

— Наверное, все дело в каком-нибудь письме, перехваченном полицией, — снова заговорил Куницкий. Он словно хотел успокоить не столько Кона, сколько себя. — Если и арестуют, продержат недельки две-три, не больше. Может быть, в Цитадели удастся снестись с Варыньским.

В конце концов решили, что Феликс не уходит пока в подполье. Он поднялся.

— Уже уходишь? — спросил Куницкий. Кон услыхал в голосе его какую-то особенную печаль.

— Пора, — сказал Феликс.

Куницкий поднялся, обнял за плечи, и они расцеловались…

Потом он долго бродил по улицам Варшавы, медленно отходившей ко сну. На тротуарах под липами и ясенями гуляли изысканно одетые варшавяне. На скамейках целовались на глазах у прохожих молодые люди. По булыжным мостовым, шелестя шинами, проносились пролетки с весело смеющимися женщинами, у ног которых картинно возлежали господа с лихо закрученными усами, в широкополых шляпах фирмы «Тоник». Обычная жизнь ночной Варшавы в середине лета. И конечно, никому из этих изящных господ даже на мгновение не приходила в голову мысль о том, что глубоко в подполье кипит другая, мало кому известная жизнь — тайная, бессонная, постоянно висящая на волоске…

Феликс долго колебался, перед тем, как свернуть на свою улицу. И лишь далеко за полночь, когда исчезли последние гуляющие на аллеях варшавяне, он спокойным шагом направился к своему дому.

Его схватили сразу же за углом. С приставом было несколько полицейских. Сопротивляться не стоило.

У ворот стоял все тот же дворник с ненужной в этот ночной час метлой. При свете фонаря было видно, как он укоризненно посмотрел на «паныча». Ведь предупредил же!

Едва открылась дверь, Феликс сразу узнал жандармского майора Секеринского, высокого, атлетически сложенного, с тупой жестокостью в выпуклых водянистых глазах. За ним — невысокого, по-спортивному поджарого, с сухим тонким лицом товарища прокурора Петербургского окружного суда Арсеньева. «Ого! — удивился Феликс, — видно, моей персоне придают большое значение, раз среди ночи такие важные фигуры!»

Он, разумеется, не знал, что недавно арестованный народоволец Марцелий Янчевский, который несколько раз ночевал у Кона, начал давать показания.

Куницкий был прав, против Феликса у жандармов особых улик не было. Но до того момента, когда начал «говорить» Янчевский. Те тайные донесения Барановского прокуратура не могла предъявить, не раскрывая своего агента.

Но Янчевский знал очень мало. Вернее, ничего не знал, кроме нескольких имен людей, имевших дело с Феликсом. Мало что знали арестованные по его доносу Выгановский и Загурский.

Феликс надеялся на то, что поводом к аресту послужил какой-нибудь нелепый случай.

— Ну, а как поживает ваша сестренка, молодой человок? — были первые слова, с которыми Секеринский обратился к Феликсу.

— Вы же знаете, что она вернулась из Сибири.

— Конечно, знаю. Я это к тому, что бы вы знали, что не все оттуда так счастливо прибывают.

Обыск очень скоро закончился, и Секеринский сказал:

— Вы арестовываетесь по предписанию прокурора Петербургской судебной палаты…

А потом в арестантской карете его везли через весь город к северо-восточной его окраине, где на берегу Вислы возвышались стены Цитадели. Когда подъехали к этой печальной крепости, за утопающими в зелени усадьбами Желибожа небо уже посветлело. Наливалась розовато-белым светом ранняя июньская заря.

Прощай, Висла! Прощай, Варшава! Узнику суждено снова увидеть вас только через два десятка лет!..

Прогремели стальные засовы железных ворот под многотонной каменной аркой. Короткая процедура сдачи и приемки арестованного в канцелярии — и вот он, Десятый павильон, который в сиянии прекрасного летнего утра предстал перед глазами Кона длинным серым зданием с узкими зарешеченными окнами,

ГЛАВА ПЯТАЯ

Длинные коридоры, крутые переходы с каменными ступенями. Двери, двери, двери — бесконечный ряд дверей с белыми номерами камер и стальными засовами. У надзирателя связка массивных ключей.

Поднялись на второй этаж. Долго шли коридором. Наконец остановились. Загремел засов. Скрежетнул проворачиваемый в замке ключ, дверь отворилась, и Феликс остался в камере один на один со своими раздумьями.

Опустившись на койку, застланную серым солдатским одеялом, попытался сосредоточиться, но не смог. Однако знал — отчаяния не было.

Он, как и все его товарищи по партии, давно был готов к аресту. Более того, даже гордился тем, что вот пройдет еще год-два, а может, всего лишь месяц, а то и неделя — и наступит его час испытать себя в Цитадели. Молодой революционер, не побывавший в крепости, — может ли быть такое?!

Он огляделся. Серые, в подтеках стены, стол, табурет… Окно высоко: подставил табурет, выглянул во двор, увидел часовых по углам, дерево в середине…

Спрыгнул с табурета, осмотрел себя, переодетого в тюремные штаны и куртку. На голове шапка. Все как должно быть! Тюрьма, заточение…

Допросы следовали один за другим. На одном из них в комнате оказались прокурор Варшавской судебной палаты Бутовский и Янкулио, обложившийся бумагами и какими-то сводами законов.

Поодаль, в кожаном кресле, разместился генерал Брок, начальник жандармского управления Варшавского округа, известный тем, что по любому делу он неизменно добивался самых жестоких приговоров. Его присутствие на этом допросе насторожило Феликса. Он начал догадываться, что получился величайший провал. Следовательно, вести себя на допросах надо соответственно: не поддаваться ни на какие душеизлияния этих волков в человеческом обличье.

Генерал Брок все время допроса молчал, но по его сопению можно было легко догадаться, какой вулкан ненависти клокочет в его холеном остзейском теле! Молчали и сидевшие чуть позади него подполковник Белановский, еще несколько жандармских и штатских чинов.

Феликс, конечно, не знал, что именно в этот день счастливо

решилась судьба Секеринского: разгром партии «Пролетариат» поставлен ему в заслугу, за которую его переводят в Петербург. В Варшаве на должность Секеринского заступал подполковник Белановский.

— Нам важно установить, — адресуясь к Кону, заученно произносил прокурор Бутовский, — что побуждает университетскую молодежь, что побуждало вас в частности, примкнуть к революционному движению. — Помолчал, сколько, по его мнению, надо было помолчать после такого вступления, и заговорил снова: — Вот вы, человек из зажиточной семьи, по отзывам профессоров университета очень способный… Перед вами вся жизнь была впереди. Что же вас побудило всем этим пожертвовать?

Феликс подался вперед и переспросил:

— Что побудило? Окружающая мерзость.

Янкулио, приняв «мерзость» на свой счет, с шумом отодвинул стул.

Кресло под генералом Вроком застонало, и из угла, где он сидел, прогремело: — В карцер!

После карцера его не вызывали несколько дней. Но вот со скрежетом вывалился засов, дверь отворилась, и в камеру вошли Белановский, Янкулио и какой-то новый чин — как потом оказалось, только что назначенный начальник Десятого павильона поручик Фурса — в сопровождении трех жандармов. Белановский сел у столика на табурет, Янкулио — на кровать, но подальше от Феликса, а Фурса и жандармы остались стоять у дверей.

Янкулио развернул на коленях папку, вынул какие-то бумаги, заглянул в них и задал первый вопрос:

— Вы знакомы с Александром Дембским?

— Нет, но слышал, что есть такой человек.

— А что еще вы о нем слышали? — подался вперед Белановский.

Феликс знал, что Дембский на воле и поэтому прикинулся раздраженным:

— Пока человек на воле, вам такие подробности ни к чему.

— На воле? Да нет, он довольно удобно поселен у нас, — изволил пошутить Янкулио. — Вот его фотография. — Он вынул из папки любительскую фотокарточку, на которой действительно был изображен Александр, но изображен на какой-то лужайке, в своей любимой позе отдыхающего бездельника. Таким его Феликс видел иногда, когда Александр отдыхал, ускользнув после очередной отчаянной схватки с полицейскими. В самых

критических схватках, окруженный со всех сторон, он всегда отстреливался до последнего патрона и всегда уходил без единой царапины. Таким хладнокровием, как у Дембского, обладал еще разве только Бронислав Славиньский.

Попадись Дембский жандармам, ему, конечно, не миновать бы виселицы. Но Александр, провернув какое-нибудь отчаянное дело, спкойно разгуливал по Краковскому предместью или по Крулевской, заходил в ресторан, выпивал стакан вишневки Бачевского, закусывал яичницей с жареной колбасой, запивал все это лимонадом и шел себе дальше своей развалистой походкой, с удовольствием чувствуя холодок оружия разных систем, которое он носил в нагрудном кармане пиджака, в заднем кармано брюк и на ременной петле под мышкой.

На фотографии Дембский был снят года два назад, скорей всего где-то за границей, — и вот эту-то его фотографию подсовывали теперь Феликсу. И он не смог отказать себе в удовольствии щелкнуть их по носу.

— Знаете что, господа, так уж и быть, признаюсь. Совершенно невероятно, но именно эту карточку я видел года два назад!

— Нет, — выкрикнул Янкулио. — Вы путаете. Он сфотографирован в тюрьме.

— Если бы его арестовали, о нем знала бы вся Цитадель.

— Ну, знаете ли, это раньше было возможно, при Александрове. А с тех пор как павильоном заведует поручик Фурса, такое исключено.

— Блажен, кто верует.

Янкулио крикнул старшему жандарму:

— Принесите перо и бумагу. Будем составлять протокол допроса.

Жандарм круто повернулся и вышел, бережно прикрыв дверь.

На мгновение в камере стало тихо. И тут сверху, из камеры раздался голос:

— Эти обезьяны уже ушли?

Феликс громко расхохотался. Белановский и Янкулио одновременно вскочили.

— Где туннель?

— Ищите.

К Белановскому подскочил Фурса:

— Я хорошо расслышал — голос раздался сверху…

— Кто сидит сверху?

— Дегурский и Блёх…

— Быстро!

Все удалились почти бегом. Феликс посмеялся им вслед. Он знал, что ни Блёх, ни Дегурский понятия не имели о туннеле,

который был прорыт не прямо, а вкось, из-под стены, разделявшей камеры. А эти двое пожилых рабочих, арестованных в Згеже по делу об убийстве провокатора Франца Гельшера, были буквально сражены арестом и, конечно, ни о каком налаживании связей с соседними камерами и не помышляли.

…В камеру Феликса они вошли, уже сбросив маски добросердечия. Янкулио закричал прямо с порога:

— Укажите, где туннель?

— Я не обязан вам помогать.

— Вы ответите за это!

— Это не меняет дела.

— Но ведь вы же слышали… — начал было Белановский, но Феликс перебил:

— А вы не слышали?!

После карцера Феликса ждала неожиданная радость: по тюремному «телеграфу» с ним связался Ян Пашке.

— Выдает сумасшедший Загурский, — огорошил он Феликса. — Я об этом узнал до ареста.

— Ты это в прямом или в переносном смысле? С чего вдруг Загурский стал сумасшедшим?

— Не вдруг, а после бесконечных допросов. Янкулио и Секеринский старались как могли. А теперь выуживают у Агатона все, что он знает и не знает. Подсовывают ему липовые показания, из которых явствует, будто он убил Судейкина… Об этом рассказал Пиньский.

— Кто такой Пиньский?

— Надзиратель. Отсюда, из Цитадели. Он наш. С ним держат связь Фельсенгарт и Богушевич. Загурский требует, чтобы справились о нем у Бардовского. Он, мол, скажет, что я не виновен. Оказывается, один раз был у него…

— Да, да, — торопливо отстучал Феликс. — Это было при мне. Агатон приходил за черновиком воззвания к военным.

От предчувствия самого страшного, что могло случиться, у Феликса перехватило дыхание.

В июле арестовали Бардовского и Куницкого.

Арест Куницкого — для партии катастрофа, какой она не знала со времени заключения в Цитадель Варыньского. Но тогда на варшавском горизонте появился Станислав Куницкий, прикативший сюда из Петербурга буквально через несколько дней. А кто теперь заменит Куницкого? И сколько бы Феликс ни перебирал в памяти оставшихся на свободе партийных функционеров, он не видел ни в ком и малой доли тех достоинств, которыми обладал Куницкий, этот застенчивый

юноша, свято веривший в то, что партия «Пролетариат» сможет успешно соединить в своей деятельности марксистскую классовую теорию революции с террористической практикой «Народной воли».

Но и об этом Феликс не мог думать в первые дни. Из головы не выходила больно жалящая мысль о том, что Куницкого обязательно повесят.

Как бы ни сложилась судьба других арестованных, но Куницкого не выпустят живым — ни на каторгу, ни в одиночное заключение навечно. И то, что он молод, красив, талантлив, только усугубит трагизм его положения.

Но этого никак нельзя допустить! Станислава надо спасти во что бы то ни стало! Надо взбудоражить всех заключенных пролетариатцев, пусть ломают головы все, кто уже арестован, и все, кто пока еще на воле! Если все будут жить этой мыслью — что-нибудь обязательно да получится. Феликс в этом не сомневался.

От Куницкого получил записку: «Кто-то выдает!» «Кто-то выдает»… Но кто? По «тюремному телеграфу» вскоре передали, что арестовано уже более сотни человек. Агатов Загурский знал немногих и немного. Массовые провалы могли быть результатом откровенных показаний доверенных в партии людей. Но кого бы ни вспоминал Кон, ни на одном он не мог остановиться. Были позеры, хвастуны, краснобаи, но чтобы пойти на предательство товарищей, таких Феликс не видел в своей партии.

На другой день его вызвали к товарищу прокурора Янкулио. У него сидел Станислав Пацановский. Увидев Феликса, Стас весь сжался. У Феликса екнуло в груди.

— Я все говорю… — сказал Пацановский. Янкулио как бы между прочим произнес:

— Вот видите. Пора и вам подумать о себе.

— Я не подлец!

Услышав эти слова, Пацановский еще ниже опустил свою когда-то гордую красивую голову.

Вошел жандармский подполковник Шмаков и приказал увести Пацановского. Потом подсел к Феликсу.

— Вы думаете, мы вас не понимаем или не сочувствуем вам? — начал он почти естественным голосом, изображая участие. — Все понимаем. Но мы понимаем и другое… То государственное устройство, к которому вы стремитесь, оно для России преждевременно. Народ ведь еще темный. Давно ли отменено крепостное право?

— Побеседуйте об этом с Пацановским, — резко оборвал подполковника Феликс, — а меня оставьте в покое.

На этаже была «туалетная комната», служившая для заключенных «почтовым отделением». Возвратившись с допроса, Феликс написал там на стене: «Пацановский выдает». Придя в «почтовое отделение» в другой раз, увидел рядом со своей надписью другую: «Кто смеет клеветать на Пацановского?» Ниже написал: «Кон».

— Итак, господин Гандельсман, — проговорил Янкулио и мельком, из-подо лба глянул на сидевшего перед ним высокого, с широко развернутыми плечами юношу и про себя удовлетворенно усмехнулся: бледные щеки арестованного порозовели, на тонком орлином носу выступили капли пота, а голубые глаза под черными бровями повлажнели. «Эк, как самолюбие-то разбирает! Ну-ну, посмотрим, что дальше будет». — Итак, господни Гандельсман… вы обвиняетесь в активном участии в подготовке террористических актов, имевших целью убийство должностных лиц… генерал-губернатора Привислинского края Гурко, начальника жандармского управления генерала Брока, генерала Фридерикса, генерала Унковского…

— Хватит!

Янкулио снял очки, положил перед собой лист бумаги, предварительно перевернув его, потому что лист был чист, строго глянул на взволнованного молодого человека.

— Чего хватит?

— Хватит дурака валять, господин Янкулио! Неужели судьи настолько глупы, что поверят вашим обвинениям?! Одному человеку это не под силу сделать за всю жизнь — убить стольких генералов, охраняемых вами с помощью сотен жандармов и солдат…

— Ваша вина усугубляется тем, — терпеливо разъяснял товарищ прокурора, — что вы не просто рядовой исполнитель чужих преступных замыслов. Вы их вдохновитель, поскольку, судя по известным нам материалам, нанимали весьма видное положение в руководстве партии…

Гандельсман невольно приосанился, в глазах заиграли огоньки тщеславия.

— Поверьте, господин Гандельсман… власти весьма обеспокоены тем, что так легко лезут в петлю… лучший, талантливейшие представители нашей молодежи. Ведь вы могли бы принести немало пользы отечеству…

— Увы! — покачал горделиво поднятой головой Гандельсман. — Теперь уже ничего не поделаешь. Хотя, если уж быть откровенным…

— Откровенность за откровенность, господин Гандельсман.

— Если уж быть откровенным до конца, то мои поступки не были продиктованы убеждениями. Просто… мода, молодость, темперамент — вот три момента, толкнувшие меня на этот путь.

— В таком случае… один-единственный вопрос, — сказал Янкулио и на секунду умолк, как бы собираясь с духом. — Один, но крайне важный. Скажите, если бы вам была сохранена жизнь, вы бы не употребили ее вновь во зло государственному порядку?

— Если бы! Да я бы всю ее без остатка посвятил одному делу: отвращать молодые души от этого злодейства!

Все внутри у товарища прокурора заклокотало от радости, но внешне он оставался деловито-озабоченным, внимательным и даже чуть участливым — насколько это допустимо для служителя Фемиды.

— В таком случае… что вам мешает заняться этим уже сейчас?

— Сейчас? Сейчас мне мешает всего-навсего одно маленькое осложнение, — проговорил Гандельсман. — Предстоящая виселица.

— Виселица может превратиться в мираж не только для вас, но и для многих ваших товарищей, если они будут послушны голосу разума. Вас, как одного из самых значительных людей в руководстве партии, они послушают. Разве мы не знаем, как плакали от восторга гимназисты и студенты, слушая ваше выступление в кружке на Театральной?!

Несколько секунд молчания.

— Что я для этого должен сделать? — Гандельсман налег грудью на край стола.

— Раскрыть структуру руководства провинциальными комитетами и рядовыми организациями.

— Давайте бумагу и карандаш.

Янкулио подал ему то и другое, а сам, закурив папироску, стал терпеливо дожидаться, пока Гандельсман чертил схему партийных связей, о которых знал лишь но смутным предположениям.

— Прекрасно! Превосходно! — проговорил он, забирая исчерченный большой лист бумаги. — А теперь — сущие пустяки. Распишите мне, кто и чем руководит, кто и за что отвечает, кто перед кем отчитывается, какио между всеми этими звеньями осуществляются связи…

Вацлав снова взял своими тонкими музыкальными пальцами карандаш, придвинул к себе услужливо вынутый из стола свежий лист бумаги и… перед тем как начать писать, впервые задумался над своим поступком.

Охранная машина стремительно раскручивала свои дьявольские маховики. Ежедневно хватали десятки студентов и молодых рабочих. Число арестованных и посаженных в Цитадель и в следственную тюрьму при городской Ратуше достигало нескольких сотен. Дела 190 арестованных были отправлены в Петербург для решения их судьбы в высших инстанциях.

Александру Дембскому и Брониславу Славиньскому удалось скрыться за границу. Но Славиньский вскоре был арестован прусскими властями и выдан России. Его судили, приговорили к смертной казни, но потом ее заменили вечной каторгой.

В том, что Куницкого повесят, не сомневался никто — ни его товарищи по заключению, ни жандармы. Одни горели желанием спасти его любой ценой, другие — неусыпно следили, чтобы не было предпринято никаких подобных акций.

Поручик Фурса почти ежедневно посещал камеры наиболее видных деятелей партии. Вел прощупывающие беседы.

— Скажите, господин Кон, что бы вы сделали, если бы вдруг получили свободу?

— Снова принялся бы за революционную работу.

— Ну а если бы партия к этому времени уже не существовала?

— Я бы создал новую.

Потом, на суде, прокурор, требуя для Феликса смертной казни, в числе других «уличающих» материалов воспроизведет и запись этой беседы, как свидетельство нераскаяния и крайней опасности этого человека для общества.

А Феликс настойчиво торопил товарищей с переводом к нему в камеру Куницкого. Все надежды возлагались на генерал-лейтенанта Унковского, коменданта Цитадели, по слухам, сочувственно относившегося к заключенным. Хлопоты удались. Вместо Пашке к Феликсу подселили Куницкого.

К этому времени Феликсу через мать и сестру удалось связаться с Розалией и Марией Богушевич, которая возглавила ЦК, стала возобновлять связи с заводскими и фабричными организациями.

Наконец поступила записка с воли: сообщили, что для побега Куницкого все подготовлено, найден человек, который выведет его из крепости. Фамилия — Пипьский. За стенами Цитадели Станислава будут ждать террористы Ковалевский и Хюбшер. Задержав погоню, они помогут Куницкому скрыться.

Оставалось самое трудное: выйти ночью из камеры.

Ни Феликса, ни Куницкого на прогулки не выпускали. Чтоб увидеть хотя бы кусочек неба, приходилось взбираться на стул и

смотреть в зарешеченное окно.

С воли передали английскую пилку. Перепилив решетку, можно было бы спрыгнуть со второго этажа, но внизу как раз находился внутренний крепостной вал с часовыми через каждые пять шагов.

— Знаешь, — сказал Феликс примолкнувшему другу, — внизу есть камера номер один. Так вот, окна этой камеры выходят не на вал, а в офицерский сад. Туда и надо нам проситься.

— Так нас туда и пустили! Даже пустякового повода нет, чтобы проситься вниз. Молоды, здоровы как черти, и здоровью ничто не грозит, кроме виселицы.

— Ничего, если постараться, все можно придумать, — весело откликнулся Феликс, оголяя ногу. — В детство я страдал болезнью вен. Ее залечили. Но, но… Оторвика от простыни лоскуток потоньше да подлиннее и сделай из него жгут…

Куницкий сплел жгут в одну минуту.

— А теперь перетяни-ка ногу вот тут. Да потуже, не бойся, не на шее затягиваешь! Благодарю. А теперь остается сидеть и ждать.

Через сутки нога Феликса стала фиолетово-синей. Вызвали врача.

— Это моя застарелая болезнь сосудов, доктор…

— Да, да, я вижу. Это очень затяжная болезнь. Нужны прогулки, постоянный свежий воздух…

— Доктор, на первом этаже есть камера номер один. Окно выходит в сад. Там светлее, больше воздуха. Похлопочите о переводе.

— Я поговорю с Фурсой, молодой человек. Я обязан облегчить вам страдания.

Фурса — бывший улан. Он постоянно делал вид, что тяготится жандармским мундиром и даже сочувствует заключенным. И ногу Феликса он осматривал, переживательно качая головой. А потом произнес заветные слова:

— Хорошо, я переведу вас в первую камеру.

— А Куницкого? Я хотел бы, чтобы он помог мне на первых порах.

— Об этом не может быть и речи.

— Что?! — закричал Станислав. — Когда мой товарищ был здоров, я был рядом с ним. А когда он обезножел, вы разлучаете нас! Да за кого вы меня принимаете?!

— Я без Куницкого не пойду, — сказал Феликс без колебаний. — Что бы со мной ни случилось. Уж лучше, поручик, скажите прямо, что вы поставили на мне крест. Это будет честнее.

Фурса смутился:

— Что вы! Что вы! Я и не думал, что господин Куницкий желает уйти из коридора, где вся ваша компания…

— Господин Куницкий желает, — саркастически проговорил Станислав, — если этого требует болезнь господина Кона.

Фурса побагровел:

— Ах, господа революционеры! Вы в своих претензиях не знаете меры. — И ушел.

Куницкий потом долго хохотал, повторяя: «Господа революционеры не знают меры».

— А ведь он прав, подлец! Мы такие! Нам подавай сразу все — и жизнь, и революцию, и социализм. А если нет возможности поднять революцию и утвердить социализм, то и жизнь не нужна! — Куницкий с какой-то горькой отчаянностью стукнул тяжелым кулаком по столику и, запахнув широкие полы тюремной куртки, боком бросился на койку и долго-долго лежал молча.

Иа другой день Фурса распорядился перевести Кона и Куницкого на первый этаж, в камеру номер один.

За дело принялись не сразу. Однажды вечером, когда на тюремном дворе все стихло и только изредка перекликались на валу часовые, Станислав и Феликс вынули зашитую в рукав английскую пилочку и начали поочередно пилить решетку…

Ночь пролетела незаметно. И лишь когда заголубело небо над предместьем Желибож, узники прекратили работу. На одном из поперечных переплетов появился еле видимый надрез. Его замазали тюремным воском.

Утром сообщили на волю о том, что приступили к делу. От женщин тут же пришла записка: да, Пиньский, бывший солдат, служащий в Цитадели, по-прежнему согласен провести беглецов по крепости к тому месту стены, где ее можно преодолеть и где их будут ждать Ковалевский и Хюбшер.

Неожиданно Феликсу и Станиславу разрешили прогулки. Встретились с Петром Васильевичем Бардовским. Он заметно поседел, но держался бодро, хотя не мог скрыть, что страдает о своей жене Наталии, тоже запертой в тюрьме.

Стали встречаться и с Людвиком Варыньским, которого не видели со дня ареста в сентябре позапрошлого года. Людвик оброс огромной русой бородой и был похож на ясноглазого древнего славянина. Торопливо выкуривал папироску за папироской и говорил:

— Все, кто имеет возможность, нанимайте защитников.

— А ты? — спросил Куницкий.

— Я буду защищаться сам. Я готовлю речь. Поймите, товарищи, суд пойдет при закрытых дверях, и только наши адвокаты станут его свидетелями. О том, что произойдет в зале суда, мир узнает только от них. Поэтому к процессу надо привлечь как можно больше адвокатов.

В голосе Варыньского уже чувствовалось то высокое трагическое напряжение, на волне которого он и скажет потом свою трехчасовую речь, которая произведет такое огромное впечатление во всем революционном мире!

— Да, друг Стась, — обратился он к Куницкому. — Не повезло! Мало сделали!

— Что смогли, то сделали. Не отчаивайся, Людвик. И за то, что успели сделать, народ нас не забудет.

— Так-то оно так. Вот теперь бы сызнова все начать! Да нет, теперь уморят в крепости, подлецы!

— С твоими-то легкими да в крепость, — не удержался Станислав — посочувствовал другу…

Варыньский усмехнулся:

— Ерунда! Лишь бы курить давали…

Такой он был, Людвик Варыньский: любой тяжкий разговор непременно завершал какой-нибудь шутейной фразой, мгновенно разряжавшей атмосферу.

Решетку пилили по ночам, попеременно. Куницкий, чтобы время шло быстрее, говорил, а вернее — думал вслух. Только теперь до конца понял Кон этого удивительного человека, окруженного всегда друзьями.

Друзей у него было, как ни у кого из его товарищей по партии. В России он знал многих видных революционеров своего времени, был членом Исполкома «Народной воли», но его тянуло к рабочим — на этом он и сошелся с Варыньским. Его подпольные клички хорошо знали в рабочих предместьях. От жандармов он часто уходил, потому что ему помогали люди, А вот болезнь Загурского, выдавшего квартиру Петра Васильевича Бардовского, сыграла с ним злую шутку.

— Знаешь, кто для меня самый притягательный из русских революционеров? — остановился на середине камеры Станислав. И, не дожидаясь ответа, почти крикнул: — Клеточников![2] Это идеал революционера! Какая выдержка! Какое умение подчинить свои чувства делу! Какое хладнокровие! Осторожность…

Феликс усмехнулся:

— Знаешь, почему тебе так нравится Николай Васильевич Клеточников?

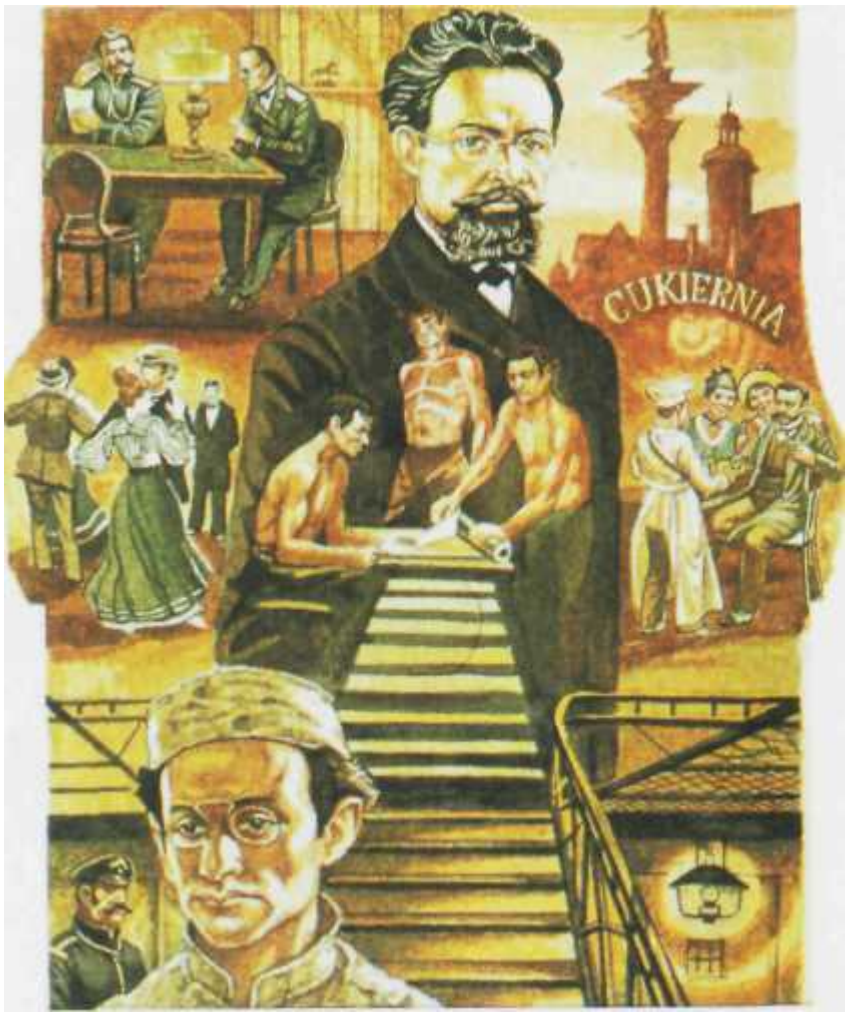
— Почему?

— Да потому, что этих качеств пе хватает тебо самому.

Куницкий улыбнулся:

— Верно. Я горяч и завидую тем, у кого холодная голова.

Наконец из Петербурга пришло «высочайшее повеление» императора: двадцать восемь подследственных и Пацановский отобраны для суда. Остальные наказаны в административном порядке.



В Десятом павильоне Цитадели появился председатель Варшавского окружного военного суда генерал Фридерикс в сопровождении прокурора полковника Моравского. Генерал, тучный, пожилой человек, обошел камеры, вручил каждому Конию обвинительного акта и всюду говорил одно и то же:

— Это дается вам только для ознакомления. До открытия заседаний суда это нужно будет возвратить.

Купицкий возмутился:

— С какой стати! Нас обвиняют черт знает в чем — и мы же еще должны вернуть обвинительный акт. Каким же образом мы будем защищаться от несправедливых обвинений?! Нет, генерал, акт вы от нас не получите.

Лицо генерала покрылось темными пятнами. Как бы ища поддержки, он оглянулся на Моравского, а потом решительно произнес:

— Всякое неисполнение требований отразится на вашей судьбе… Не исключена возможность отправить кое-кого…

— …На виселицу, — досказал Куницкий и обескураживающе улыбнулся.

Генерал опешил. Судьба Куницкого, он знал, уже предрешена. Замешкался, а уходя, проговорил:

— Ну, об этом еще будет время поговорить.

Долгая варшавская осень иссякала. Теплые солнечные дни, а их становилось все меньше, сменялись неделями, в течение которых не прекращались глухие затяжные дожди. В офицерском саду за окном камеры номер один с деревьев упали последние бледно-оранжевые листья.

Дело продвигалось медленно. С воли торопили с побегом.

Куницкий похудел. На бледном, заросшем черной жесткой щетиной лице теперь были видны только огромные черные глаза с желтоватыми белками. Он по-прежнему мало спал.

Уходя на прогулку, пилку брали с собой. Как-то вернулись — в камере все вверх дном перевернуто: поняли, был обыск. На другой день, когда рассказали об этом товарищам, Бардовский заметил:

— Надо отложить затею на некоторое время. Пока шум уляжется.

— Пустое, — возразил Куницкий. — Напротив, теперь-то именно и надо работать. Жандармы убедились в необоснованности своих подозрений.

И они пилили. Пилили ночи напролет, через каждые полчаса сменяя друг друга. Жандармы как будто успокоились. До начала судебных заседаний оставались считанные дни. И вдруг… Арест Марии и Розалии сломал все планы: женщины сообщили, что Пиньский оказался провокатором, выдал замысел побега жандармам. Ковалевский и Хюбгаер готовят на Пиньского покушение.

А на другой день рано утром узники услышали доносящийся из-за окна стук топоров. Феликс взобрался на табурет, глянул вниз и замер: плотники напротив камеры номер один громоздили

сторожевую вышку для часового. Все надежды на спасение рухнули…

Несколько месяцев спустя, когда Куницкого уже не было в живых, покушение состоялось. Пиньский отделался ранением, а покушавшихся схватили. Суд был скорый: Ковалевского приговорили к казни, и он сразу был повешен, а Хюбгаер отправился на Сахалин — в каторгу, на целых четырнадцать лет.

Год спустя на этапе к месту ссылки одна за другой умерли обо девушки: в Красноярске — Мария Богушевич, в Нижнеудинске — учительница Розалия Фельсенгарт…

— По указу Его Императорского Величества… Временный военный суд, учрежденный в Варшавской Александровской цитадели, приступает к слушанию дела…

…Феликс оглядывает лица товарищей, бледные, напряженные, но без тени страха и раскаяния… Варыньский, Куницкий, Плоский, Рехневский, Дулемба, Бардовский, Ян Петрусиньский, Михал Оссовский, Шмаус, капитан Люри… Дальше все остальные. Лишь Пацановский в стороне ото всех, сидит, уставясь мутными, почти безумными глазами в одну точку поверх судей, просторно разместившихся эа длинным столом, покрытым зеленым сукном. Золото погон, аксельбанты, седые, рыжие, черные бакенбарды…

В полутемной глубине зала плотной кучкой сидят родственники подсудимых: горе сроднило дворян и буржуа, чиновников и рабочих, офицеров и крестьян.

Обитое красным штофом золоченое кресло. Кресло не занято — оно приготовлено для генерал-губернатора Привислинского края Гурко, который приедет к концу судебных заседаний, когда подсудимым будет предоставлено последнее слово.

Адвокаты, взявшиеся защищать подсудимых, — за отдельными столиками. В центре защиты знаменитый Владимир Спасович — его губы кривятся, когда он позволяет себе вслушаться в казенные обороты обвинительного заключения…

Главный обвинитель — полковник Моравский. Под статью 249, предусматривающую смертную казнь, он всеми силами старался поднести не только Куницкого и его сподвижников, готовивших взрывы и уничтожавших провокаторов, но и первый состав ЦК, возглавляемый Варыньским:

— Они хотя и были арестованы до заключения партией договора с «Народной волей», тем не менее ответственны за все, как ее основатели.

Это дало повод защитнику Спасовичу ответить репликой, вызвавшей поощрительные улыбки даже у золотопогонной

«публики»:

— В таком случае Христа следует привлечь к ответственности за скопчество.

Зловещий призрак виселицы стал вырисовываться в полутемном зале, когда обвинители начали использовать показания Станислава Пацановского, выдавшего членов организации Згежа. Юный ткач Ян Петрусиньский, выполнивший постановление о ликвидации провокатора Франца Гельшера, сидел рядом с Феликсом и время от времени шептал ему:

— Смерти не боюсь. И жизни не жалко. Одного жаль… Как бы я хотел полюбить! Никогда еще никакой женщины не любил и совсем не представляю этого чувства…

В это время вскакивает Ян Поплавский и громко говорит, обращаясь к суду:

— Петрусиньский не виноват. Это я убил Гельшера.

Сидевший рядом с генералом Фридериксом полковник Стрельников, родной брат военного прокурора, убитого в Одессе Халтуриным и Желваковым, уточнил:

— А с какой стороны вы стреляли? С правой?

Поплавский на секунду замешкался и неуверенно ответил:

— С правой.

Это было нелепо, и судьи переглянулись и обменялись усмешками.

…Однажды Куницкий пришел на квартиру Бардовского и сел писать воззвание к военным. Текст ему не давался. Он зачитывал каждый абзац вслух, а Петр Васильевич все брюзжал:

— Разве так пишутся воззвания?!

Куницкий в досаде кинул на стол листок:

— А вы сядьте и напишите.

Бардовский сел, тут же написал, и, когда зачитал его, все были в восторге.

Теперь черновик этого воззвания был представлен суду. Генерал Фридерикс пытался его прочесть, но неразборчивый почерк Петра Васильевича он так и не смог одолеть. Фридерикс снял очки и, найдя взглядом Бардовского, сказал:

— А может быть, вы сами его зачитаете?!

Петр Васильевич встал. Элегантный, с седоватыми висками, с приятным мягким лицом, он подошел к столу судей, взял листок и, выйдя на середину зала, густым, красивым голосом начал читать, незаметно для себя воодушевляясь:

— «А буде понадобится царю поставить виселицы по всему лицу земли русской, назначаются три майора, которые беспрекословно выполняют волю пославшего их…»

В зале замерли — и судьи, и публика, и подсудимые, и адвокаты. Только Стрельников ехидно улыбался. На холеном лице его Феликс прочел: «Ага, попался, голубчик!» Феликс огляделся и увидел на печальных лицах своих товарищей, так искренне любивших Бардовского, одно и то же: Петр Васильевич сам себе зачитал смертный приговор.

В защите самое благоприятное впечатление на публику произвел Владимир Спасович. Блистая остроумием и менее всего заботясь о том, чтобы понять мотивы поступков своих подзащитных, он, конечно, не мог рассчитывать на их благодарность:

— Статья 249, господа судьи, под которую прокурор подводит всех обвиняемых, предполагает тягчайшее государственное преступление, — говорил Спасович мягким красивым голосом. — Но позволительно спросить господина обвинителя, в чем он видит такие преступления со стороны моих подзащитных? Эта статья применима разве что к Стеньке Разину, к Емельяну Пугачеву, но при чем тут «Пролетариат»? Большому кораблю большое плавание. Но разве так называемая партия «Пролетариат» была хотя бы маленьким кораблем? Все это судебное дело — мыльный пузырь, не более. Это же совершенно очевидно, господа! — Выдержав паузу в пределах, необходимых для адвокатского красноречия, Спасович продолжал: — «Пролетариату» вменяют в тягчайшую вину ее мифическое соглашение с Исполнительным комитетом «Народной воли». Но делать из мухи слона позволительно какому-нибудь провинциальному клерку, но не такому деятелю, каковым является господин военный прокурор. Исполнительный комитет «Народной воли» подобен Великой Римской империи, которая не была ни Римской, ни Великой и уж тем более ни империей. Названный Комитет не был исполнительным и уж, конечно, не выражал воли народа.

Браво, браво, господин Спасович! Золотопогопная «публика» одобрительно улыбается, шевелится, вот-вот начнет аплодировать! Зато какие гневные взгляды мечут в сторону защиты подсудимые!

— А теперь посмотрите, господа судьи, на этих несчастных! Кто они такие здесь, у нас в Польше? Варыньский, Куницкий, Бардовский, Рехневский, Плоский, Люри… Ведь это же все воспитанники русских учебных заведений! При чем же здесь польское общество?! Кто же остается в числе так называемого руководства партии? Кто из них вышел из наших учебных заведений? Предатель Пацановский и первокурсник Кон…

Русское правительство не пострадает, если проявит снисходительность. Но если она не будет проявлена, пострадает польское общество, которое потеряет эту молодежь. А при чем оно? В чем его вина?

— Накажите наших детей, но возвратите их нам! — не сумел сдержаться защитник Краевский, седой, со следами пережитых невзгод на лице, сам бывший повстанец 1863 года, перенесший каторгу.

Станислав Куницкий, человек вспыльчивый, импульсивный, чувствуя поддержку и пристальное к себе внимание товарищей, на суде вел себя хладнокровно, мужественно, не позволял себе взорваться, хотя судьи всячески провоцировали его. Однако и он не сдержался, когда выступал нанятый его отцом защитник. Адвокат Городецкий заключал речь риторическим вопросом:

— Кто же виноват в том, что на скамье подсудимых оказались лучшие, талантливейшие, благороднейшие представители нашей молодежи? Вот над чем надо задуматься, господа судьи. Виноват гнилой Запад, заражающий нашу молодую мощную Россию ядом социализма!.. Вот его и надо судить, а не этих несчастных…

Тут-то и вскочил со своего места Кушщкий и звонким, чистым голосом крикнул на весь зал:

— Прекратите!

А потом выступал Наводворский, самый молодой защитник на суде:

— На море буря — люди запасаются лодками. Можно их обвинять? — спрашивал он судей. — Так поступает и партия «Пролетариат». Она предвидит гибель капиталистического строя и готовится использовать момент крушения капитализма — только и всего.

На заседание, когда подсудимым было предоставлено последнее слово, явился генерал-губернатор Гурко. В этот день кресла были переставлены: теперь защитники и публика сидели одной группой и смотрели на происходящее в зале суда как на последний акт трагедии…

Речь Варыньского длилась более трех часов и произвела на всех находившихся в зале суда очень сильное впочатление. И судьи, и защитники, и «высокая публика» слушали его затаив дыхание…

— Спрошенный, признаю ли я себя виновным, — говорил Варыньский, — я уже заявил, что ни о моей «вине», ни о «вине» всех нас не может быть и речи. Мы боролись за свои убеждения, мы оправданы собственной совестью и пародом, которому мы служили. Для меня безразличны подробности возводимых на

меня обвинений, и я не буду терять времени на их опровержение. Моя задача состоит в том, чтобы воспроизвести картину действительных наших стремлений и деятельности, ложно представленных обвинением. Мы — не сектанты и не оторванные от реальной жизни мечтатели, какими нас рисуют и обвинение, и даже защита. Социалистическая теория получила право гражданства в науке и в пользу ее на каждом шагу говорят реальные факты современной жизни. Серьезнейшие мыслители выступили с уничтожающей критикой существующей социальной системы. Они уже указывают на зародыши лучшего строя, развивающегося на почве современных отношений. Парламенты и даже самодержавные правительства проводят законодательным путем реформы, находящиеся в полном противоречии с господствующими понятиями о собственности. Концентрация государственных земель, происходящая во многих странах Европы, переход железнодорожного хозяйства в руки государства, повсеместное введение фабричного законодательства — все это является характерным знамением времени и приближает момент торжества нового социального строя. Мы не игнорируем этих фактов, мы отдаем себе ясный отчет в их значении и в пользе для нашего дела. Но вместе с тем мы убеждены, что освобождение рабочего класса от тяготеющего над ним гнета должно быть делом самих рабочих. Даже и те паллиативные средства, которыми современные правительства пытаются предотвратить социальные бедствия, вызваны давлением рабочего движения…

И генерал-губернатор Гурко, и председатель суда Фридерикс, и даже кровожадный полковник Стрельников не спускали глаз с Людвика, стараясь не пропустить ни одного слова. А он между тем продолжал говорить, все более и более воодушевляясь:

— Нет правительства, которое находилось бы в полной независимости от входящих в состав данного государства общественных классов. Их влияние на государственный строй прямо пропорционально степени их политического развития и организации. До сих пор в этом отношении перевес был на стороне привилегированных классов — буржуазии и дворянства. Вступая на политическую арену, рабочий класс должен противопоставить организацию организации и во имя определенных идеалов вести борьбу с существующим социальным строем. Такова задача рабочей партии, борющейся под знаменем социализма. Она создает противовес другим общественным классам и ставит преграды реакционным стремлениям, стремясь к радикальному изменению социального строя; рабочая партия в настоящее время ведет подготовительную к этому работу. Ее задача состоит в том, чтобы побудить рабочих сознательно

относиться к своим интересам и призывать их к выдержанной защите своих прав. Рабочая партия приучает к дисциплине и организует рабочий класс и ведет его на борьбу с правительством и с привилегированными классами. Мы стремились вызвать рабочее движение и организовать рабочую партию в Польше. Насколько наши усилия увенчались успехом, вы можете судить на основании данных, выясненных следствием. Перед вами продефилировал целый ряд свидетелей-рабочих. Вы помните, как допрашивал их обвинитель и как он добивался желательных для него показаний. Вы помните также ответ этих свидетелей на вопрос, что им известно о стремлениях «Пролетариата». Все их ответы подходят под одну формулу: партия старалась улучшить положение рабочих и указывала на средства достижения этого. Симпатии рабочих на нашей стороне. Мы гордимся сознанием, что брошенное нами семя глубоко запало в эемлю и дало ростки…

Людвик закончил свою речь словами глубочайшего благородства и самоотверженности:

— Мне остается добавить лишь одно. Какой бы приговор вы ни вынесли, я прошу не отделять моей судьбы от судьбы других товарищей. Я арестован раньше других. Но то, что ими сделано, и я бы сделал, будучи на их месте. Я честно служил делу и готов за него голову сложить!

Владимир Спасович стремительно встал со своего места, почти подбежал к Варыньскому и крепко пожал ему руку. Вслед за Спасовичем к Людвику подошли почти все защитники и даже кое-кто из золотопогонной «публики» и растроганно выражали свои чувства.

Феликс Кон, для которого Моравский, как и для большинства подсудимых, потребовал смертной казни, в своем выступлении сказал:

— Правительство до такой степени сжимает круг жизни человека, что всякие нарушения являются неизбежными. Что может быть естественнее желания расширить круг своих познаний? У нас это запрещено. У нас находится под запретом цензуры Милль и Бюхнер… Чтение и изучение этих авторов уже является нарушением законов.

Но ведь, будучи учеником гимназии или студентом, не перестаешь быть человеком, на которого но могут не влиять явления повседневной жизни. Меня не мог не поразить вид проголодавшейся, истощенной массы рабочих, выгоняемых на мостовые Варшавы периодически повторявшимися кризисами. Все эти явления вызвали во мне недовольство существующим порядком. И теми же путями, которыми я раньше добывал

сочинения общего характера, я впоследствии добывал труды по социализму. И, ознакомившись с основными принципами социализма, я проникся ими и, как человек, не умеющий равнодушно и безучастно относиться к окружающим его условиям, не умеющий играть только пассивную роль в разыгрывающихся событиях, я всеми силами старался найти людей, принимающих активное участие в борьбе с устарелым порядком. Мне удалось их найти, и я умолил принять меня в свою среду, дать мне возможность пойти рука об руку с ними и этим выполнить свой долг по отношению к народу. Не было и не могло быть речи о том, чтобы кто-либо меня вовлекал, так как одно разрешение бороться под одним знаменем с ними я считал для себя величайшей честью.

Несколько месяцев спустя я был арестован, а ныне прокурор требует для меня смертной казни. Защищаться я не желаю и ожидаю своей судьбы с сознанием исполненного долга.

Заседание длилось с небольшими перерывами весь день и вечер.

Свою речь Станислав Куницкий адресовал находящимся на свободе, хотя и начиналась она традиционным обращением к судьям:

— Позвольте мне, господа судьи, в последнем слово очиститься от той грязи, которой забросали меня прокуроры, а отчасти и некоторые из защитников. Я представлен ими на суде как человек, алчущий человеческой крови. По высказанному моими обвинителями мнению, всюду, где бы я ни появлялся, проливалась или должна была пролиться человеческая кровь. Мои убеждения признаны вредными для общества, мои поступки признаны преступлениями. Для того, чтобы еще более повлиять на вас, господа судьи, прокурор подчеркивал, что я во всем солидарен с «Народной волей», совершившей акт первого марта. Да! Я солидарен с «Народной волей», я был членом этой партии, я подписываюсь под всем, совершенным ею. Это — не преступление, а исполнение священной обязанности.

Генерал Фридерикс, быстро глянув в лицо нахохлившегося Гурко, громко произнес:

— Подсудимый! Говорите свое последнее слово, а не занимайтесь пропагандой! Иначе я вас лишу этой возможности.

Купицкий ответил спокойно:

— Не забывайте, генерал, что это в полном смысле мое последнее слово.

Фридерикс умолк. А Куницкий продолжал речь:

— Вся моя вина — это моя любовь к народу, за освобождение которого я готов отдать свою кровь до последней капли. На путь

террора нас заставила вступить необходимость. Уберите от нас таких людей, как Янкулио и Белановский, людей, которые торгуют человеческой жизнью, прекратите бесчеловечные преследования — и тогда борьба примет менее острый характер.

Вы слышите плач и рыдание присутствующей на суде публики? Это наши родственники: отцы, матери и жены. Их спросите, преступники ли мы. Они нас знают. А вы — можете нас судить, можете и осудить. Мы умрем, сознавая, что исполнили свой долг.

Подсудимые договорились, выходя из зала суда во двор, выкрикивать громко свое имя и приговор, чтобы о результатах судилища узнали тюрьма и измучившиеся от ожидания люди.

Старинные часы пробили полночь. Наступило 20 декабря 1885 года. Наконец в первом часу ночи появились долго совещавшиеся судьи. Объявили приговор.

И вот в многотысячиую человеческую массу, то замиравшую, то мгновенно вскипавшую штормовым гулом, падают слова:

— Куницкий — смерть!

— Бардовский — смерть!

— Люри — смерть!

Гул на какую-то минуту стихает, минуту, кажущуюся очень долгой, — потому что это минута надежд, в которые не верилось, и отчаяния, которое было беспредельно…

Заминка была вызвана тем, что уводили одну группу и вводили другую. И снова возгласы из тюремного двора:

— Петрусиньский — смерть!

— Шмаус — смерть![3]

— Оссовский — смерть!

Варыньский был осужден на шестнадцать лет каторги. Феликс Кон получил десять лет и восемь месяцев каторги, замененные затем восьмью годами.

А хмурая зимняя ночь, клубя по небу черные снеговые тучи, текла пад взбудораженной Варшавой, над уходящими в казематы людьми, для которых земное время прекратило свой отсчет — потому что они уходили в Вечность.

Через три дня за стены Цитадели в подпольную Варшаву улетело прощальное письмо Станислава Купицкого:

«Братья-рабочие!

Пользуюсь подвернувшимся случаем, чтобы перед смертью написать к вам несколько слов.

Вскоре меч палача обрушится на наши головы, но чувство страха нам чуждо. Мы знаем, ради чего мы гибнем и за что мы

отдаем жизнь свою.

Теперь от вас, братья, зависит, чтобы наша жертва не была бесцельна.

Мужество и выдержка. Не забывайте, что мы только собственными усилиями сможем завоевать права, которых нас лишали в течение стольких веков, что только в себе самих мы должны искать силу и бодрость в борьбе, которую мы ведем.

Пусть не пугают вас те жестокие приговоры, которые обрушились на нас.

Если бы не предательство, не было бы стольких жертв. И в этом отношении, следовательно, зависит от нас, чтобы жертв было как можно менее. Будьте осторожны в своей деятельности. Не доверяйте первому встречному. Но не ослабляйте при этом своей энергии, не отступайте от нашего знамени, держите его высоко — и победа будет за вами.

Это, братья, мои последние слова, мое завещание, которое пересылаю вам.

А теперь, мои более близкие друзья, если кто из вас сохранил хоть частичку той привязанности, которою вы меня удостаивали, тот поймет, что этими немногими словами я желал бы влить в вас всю мою любовь к делу, за которое я гибну, и выразить вам, людям, с которыми я вместе работал, те чувства дружбы, какие я к вам питаю.

Посылаю привет и сердечные рукопожатия вам, знающим и помнящим меня, братское рукопожатие товарищам по оружию.

Сердечно обнимаю вас всех в последний раз. Будьте счастливы и не забывайте „рыжего Григория“.

Станислав Куницкий».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Каторгу Феликс Кон отбывал в Забайкалье, на Каре, до конца 1890 года. Затем его доставили в Иркутск, где объявили повеление генерал-губернатора о немедленном выезде к месту ссылки в Якутск. Якутские власти определили Кона в далекий Багурусский улус.

Явился конвойный казак и повез. Дорогой утешал:

— Ничего, обживетесь, юрту поставите, на якутке женитесь, детишки пойдут. И заживете. Двенадцати рублев, конечно, маловато, ну да земля вам положена. Пятнадцать десятин. Якуты не любят, когда у них землю берут поселенцы, откупаются. Этим тоже жить можно. А вон господин Войнаральский торговыми делами занимается, господин Ковалик печи кладет. Якуты народ смирный. Только с ихними тойонами не связывайтесь. Убьют, как вон надысь Петрована Алексеева убили.

— За что же Петра Алексеевича убили?

— А просто за так. Самостоятельный человек был, не ндравился тойонам. Так ихних князей зовут. Вот они и распустили слух, будто денег у него много. Кто-то позарился и зарезал.

Эти просто сказанные казаком страшные слова больно ударили по сердцу. Феликса поразил этот рабочий своей речью на «процессе 50-ти». За эту речь Петр Алексеев получил десять лет каторги, которую тоже отбывал на Каре. Там, на Каре, Феликс часто возвращался мысленно к тому, что сказал Алексеев о революционной интеллигенции… «Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..»

Алексеев выстроил избу с русской печью, во дворе поставил лошадь и корову, возделал грядку капусты, гороха… И вдруг — убили… Ни за что, просто так…

Через несколько дней продирания сквозь топкую непролазную тайгу добрались до Чурапчи, где жили несколько поселенцев. Казак сказал:

— Ты уж меня извиняй, господин политический, дальше я с

тобой не поеду.

— Почему?

— Да там совсем дорога гиблая. И хозяйство у меня, понимаешь, в разладе. Жена на сносях. Жалованье плевое. Дальше мне в отлучке быть никак нельзя. Пожалей!

— А как же я свой улус найду?

— Да вон к Ивану Ивановичу заверни, он тебе и объяснит.

— К какому Ивану Ивановичу?

— К Майнову.

Ссыльный Майнов жил в юрте, но с каменной печуркой. Одет был наполовину по-якутски, наполовину по-русски: в унтах, в овчинных штанах, но в рубашке-косоворотке, подпоясанной широким поясом. Феликса встретил с явным удовольствием:

— Что вам приготовить на обед? Суп или жаркое?

Феликс, за дни пути проголодавшийся, попросил:

— Если можно, и то и другое.

Майнов развел руками.

— Я бы со всей душой, да невозможно. Я ведь как готовлю? Лью в казанок воды, кладу кусок мяса… Если вся вода выкипит — получается жаркое, если останется — суп.

Кусок мяса был съеден мгновенно.

— А теперь, — сказал Майяов, — пойдем купаться.

Холодная, почти ледяная вода Амги, текущей по вечной мерзлоте, сначала обожгла, но вскоре тело притерпелось.

Вечером в юрту набились поселенцы из соседних юрт. Первым пришел старый кариец Ефремов, высокий, обросший, как разбойник, в распахнутой рубахе и в котах на босу ногу. Пил якутскую самогонку и мрачно расспрашивал о воле, о «якутке», о политическом движении на Западе, пытая насчет террора и марксизма. Чувствовалось, что он пока еще, как и сам Феликс, где-то посередке…

Майнов, когда укладывались спать, сказал:

— Зачем вам ехать черт знает куда? Оставайтесь в Чурапче.

— Рад бы в рай…

— Пустое. Возвращайтесь в Якутск, заявите исправнику, что больны, и проситесь в Чурапчу.

Исправник, увидев вернувшегося Кона, сразу спросил:

— Что, уже успели заболеть? Придется лечь в больницу. — И испытующе посмотрел Феликсу в глаза.

Но врач Несмелов, сочувствующий ссыльным, сразу сообразил, в чем дело, и сказал, даже не осмотрев Кона:

— У вас к статейному списку приложено медицинское свидетельство. Вам, конечно, можно жить только в городе.

Кон улыбнулся благодарно:

— Хотя бы в Чурапче.

— В Чурапче так в Чурапче. Я так и напишу. И вас выпишу. Но пока поживите у нас. Здесь веселее, чем в Чурапче.

В начале ноября, пользуясь покровительством Несмелова, ссыльные из окрестных улусов съехались в Якутск. Ходили друг к другу, беседовали, посещали спектакли, в которых играли местные интеллигенты, сорганизованные советником областного управления господином Меликовым.

В Якутске Феликс подружился с Натальей Осиповпой Коган-Бернштейн, незадолго перед тем освобожденной из Вилюйской лорьмы. Она пережила тяжелую драму.

Ее муж, политссыльный, был участником прогремевшего «мартовского протеста» 1889 года, когда собравшиеся из разных мест ссыльные, протестуя против нечеловеческих условий жизни, забаррикадировались в квартире одного из них и оказали вооруженное сопротивление полиции. Квартиру брали штурмом. Шесть ссыльных было убито, девять — тяжело ранено. Мужа Натальи Осиповны казнили.

Наталья Осиповна ежедневно навещала в тюрьме политзаключенных. Выходя на волю, они на первое время всегда останавливались в ее квартире. Митя, маленький сынишка Натальи Осиповны, когда Феликс разговорился с ним, сказал:

— Все мамины знакомые приходят из тюрьмы. Вы — тоже из тюрьмы?

— Да, Митя, я тоже из тюрьмы, — ответил Феликс.

Однажды Феликсу попалась на глаза афиша, извещавшая о том, что будет поставлена пьеса Карпова. Феликс знал его: Карпов был ссыльный, жил в Якутске у сестры Веры Павловны Свитыч. Какой-то остряк написал внизу: «В антрактах сестра автора будет заливаться слезами…»

В антракте Феликс встретил Наталью Осиповну под руку с тоненькой девушкой среднего роста с очень запоминающимся лицом: смуглым, с большими светло-карими глазами. Вьющиеся темно-русые волосы ниспадали до плеч, ярко очерченные губы были постоянно готовы к улыбке.

— Феликс Яковлевич! Вы забыли свое обещание посетить меня, — упрекнула Кона Наталья Осиповна.

— Виноват. Но я только из больницы.

— Тем более. Я хочу вам представить мою подругу Христину Григорьевну.

— Меня все зовут Верой Григорьевной, — поправила девушка. — Христина — имя необычное. — Она смотрела на

Феликса пристально и в то же время улыбалась. Улыбка эта заставила его сердце сладко замереть. Он сказал первое, что пришло в голову:

— Вы — здешняя?

— Да, с некоторых пор.

— С каких именно?

— С тех, как меня выслали сюда из Верхоленска.

— О! Мы люди одной судьбы.

— Мне с вами не равняться. Вы уже испытали каторгу. А у меня и всего-то геройства, что отказалась ежедневно расписываться у полицейского надзирателя.

Позднее он узнал, что Христина родом из Николаева. Выросла в состоятельной семье. За участие в революционном движении в административном порядке была выслана в Верхоленск. Но там она отказалась ежедневно расписываться в журнале полицейского надзирателя, и ее по этапу отправили в Якутск. Приютила Христину вдова Когана-Бернштейна.

— Вы, молодые люди, меня извините, — сказала Наталья Осиповна, — я вас на время оставлю. Мне надо к Вере Павловне подойти, поздравить с успехом пьесы ее братца… — И тут же скрылась в толпе зрителей.

Феликс и Христина отошли к нише окна.

— Вы, я слышала, знаете иностранные языки? — спросила Христина.

— Очень мало.

— Какие же?

— Французский, немецкий, английский и не очень твердо итальянский и испанский…

— Это считается мало? Наталье Осиповне надо подготовить к поступлению в гимназию Митю, но она стесняется вас попросить…

— Я с удовольствием займусь этим, — сказал Феликс.

— Вот и прекрасно. Значит, тогда до завтра? — Христина подала руку, мягкую, но сильную.

— Но где же завтра?

— У Натальи Осиповны. Я живу у нее на квартире.

Антракт кончился, и они разошлись.

А на выходе со спектакля Феликса арестовали. На глазах всех зрителей, не удостоив даже объяснением причины. На другой день в Якутске только об этом и говорили. В Иркутск, в канцелярию генерал-губернатора полетели протесты.

Эти-то протесты и приостановили дело. Чиновники были вынуждены пересмотреть его, и выяснилось, что произошла ошибка. А суть ее заключалась в том, что в жандармских архивах

отыскался документ, привлекший внимание властей.

Еще в 1884 году, когда «Пролетариат» и «Народная воля» заключали соглашение, Коном, как представителем главного студенческого кружка, был написан проект воззвания студенческой молодежи, призывающий поддерживать союз польских и русских революционеров. Документ прислали по месту ссылки Кона в канцелярию генерал-губернатора Восточной Сибири, и Горемыкин, даже не взглянув на дату, решил, что Кон написал его в ссылке. Было дано распоряжение арестовать его и выслать в Верхоянск. В эту пору такое путешествие было равносильно осуждению на смерть.

Выручили все те же якутские врачи. Комиссия, явившаяся в тюрьму для освидетельствования арестованного, установила у него опасное болезненное состояние. А тем временем чиновники разобрались, доложили Горемыкину, и через одиннадцать дней Кон был выпущен из тюрьмы.

В тот же день он навестил Наталью Осиповну.

В ту зиму 1891 года в Якутске скопилось много ссыльных. Все молодые, неженатые. Да и на ком было жениться? Купцы и чиновники своих дочерей ссыльным в жены не отдавали. Ссыльные женщины Наталья Осиповна, Христина Григорьевна, Вера Павловна имели много поклонников. Особенно Христина. Но вскоре Феликс почувствовал, что предпочтение отдано ему. Кон сделал Христине Григорьевне предложение, которое было принято.

Христина должна была для продолжения ссылки отправиться на место проживания мужа — в Чурапчу. Но перед отъездом Феликс предложил супруге навестить Порфирия Ивановича Войнаральского, отбывавшего ссылку в семи верстах от Якутска. Он завел ферму, приторговывал.

Имя Войнаральского было дорого Кону по воспоминаниям юности. Еще будучи учеником Второй классической варшавской гимназии, Феликс с восторгом пересказывал товарищам доходившие до него через Хелену вести о мужестве и бесстрашии молодого революционера. Войнаральский был одним из руководителей народнического движения, руководил революционными кружками и Поволжье. А в 1874 году его арестовали и осудили на десятилетнюю каторгу.

Первые же часы беседы со знаменитым народником разочаровали Кона.

Покуривая шаманскую трубку и поглядывая на сновавшую по избе жену — молодую красивую якутку, Порфирий Иванович снисходительно слушал Феликса, рассказывавшего о протесте Карийской каторги. Там, протестуя против применения телесных

наказаний, более десяти заключенных из женского и мужского отделений тюрьмы, в том числе и Феликс Кон, ночью приняли яд. Шесть человек погибло в страшных мучениях. Феликса и еще нескольких человек тюремным врачам удалось спасти, принудительно вливая противоядие.

— Какая бессмыслица — отдать столько молодых жизней. И во имя чего? Чтобы опротестовать солдафонские поступки тупого чиновника?!

— Если следовать ходу ваших рассуждений, — возразил Феликс, — то можно считать бессмысленными и жертвы первомартовцев. В самом деле, за смерть одного старика, хотя бы и императора, отдать шесть жизней — да и каких жизней?! Желябов, Перовская, Кибальчич, Гриневицкий…

Войнаральский, вынув изо рта узорчатый мундштук и выпустив клуб сиреневого дыма, отвечал, улыбаясь:

— Глупость! Непроходимая глупость! Да вся эта русско-немецкая династия не стоит одной такой жизни, как жизнь Андрея Желябова! И весь народовольческий террор есть не что иное, как обескровливание русского революционного движения. Поймите! Только восстание, всенародное беспощадное восстание даст народу права, отнятые паразитами власти!

— Вот тут мы с вами найдем точки соприкосновения, — обрадовался Феликс. — Партия «Пролетариат» в конечном итоге видела победу именно пролетарской революции…

Порфирий Иванович откинул на край стола окончательно потухшую трубку, схватил и залпом выпил кружку остывшего чая.

— А эта, извините, ваша идея пролетарской революции… еще большая глупость, чем террор «Народной воли». Где он, ваш пролетарий? Когда он превратится в революционную силу? Века пройдут! Нет, только мужик с топором и рогатиной — вот кому суждено быть могильщиком самодержавия!

Феликс понял, что дальше вести разговоры с Войнаральским бесполезно — все ресурсы души этого когда-то выдающегося человека уже исчерпаны. Но тревожило другое — образ его жизни, несообразный с его все еще непоколебимо высоким авторитетом в глазах новых поколений революционеров.

Вернувшись в Якутск и посоветовавшись с Натальей Осиповной и Христиной Григорьевной, Феликс написал Войнаральскому письмо, упрекая его в том, что революционеру неприлично заниматься торговлей. Ответ пришел незамедлительно: «Господа революционеры! Поберегите камни, чтобы бросить их на мою могилу».

А вскоре Феликс и Христина уехали в Чурапчу, входившую в Намский улус.

В этом улусе было несколько ссыльных женщин, и это дало повод острякам переименовать ого в Дамский улус. Пока строили свою избу, семью Кона принял на квартиру богатый якутский тойон по фамилии Магначевский. Тойон считал себя человеком культурным и, прежде чем подать Христине ложку, облизывал ее со всех сторон. Подавал ложку с поклоном и при этом говорил: «Нучча (то есть русский) любит, чтоб было чисто». А подавая Христине тарелку, он прежде тщательно обтирал ее подолом грязной рубашки…

В Намском улусе они прожили два года.

Там Феликс впервые увидел северное сияние. Мороз стоял под шестьдесят градусов. В течение десяти минут в фиолетово-сипем небе горели гигантские разноцветно полосы, захватившие половину неба, — красные, белые, зеленые, желтые…

— Это к перемене в нашей судьбе, — сказала Христина, и с этой минуты в избе ссыльнопоселенцев Конов поселилась надежда на избавление от северной ссылки.

Когда морозы сдали до сорока градусов, Феликс поехал к улусному писарю. Шапошников, опасливо оглянувшись по сторонам, сказал с плохо скрываемой радостью:

— Господин Кон! Вас можно поздравить. Умер император. По манифесту об амнистии вы имеете право приписаться в крестьяне. Это даст вам возможность получить паспорт и передвигаться в пределах генерал-губернаторства.

— Да, но какое крестьянское общество согласится нас принять…

— Любое. Поставьте ведро водки — и вы с паспортом.

Желание получить хотя бы относительную свободу было так велико, что, получив паспорт, Коны двинулась в Иркутск. Три тысячи верст. Христина с грудным ребенком на руках. Тридцать три дня, от одного почтового стана к другому, летела повозка меж крутых, высоких берегов Лены, по гребню которых тянулась бесконечная черная хвойная щетина тайги.

Иркутск — столица Сибири! Много политических ссыльных, но здесь они жили иначе, чем в Якутске, где можно было ходить в чем попало и когда угодно зайти друг к другу. Здесь все — в сюртуках и пиджаках. У каждого — часы приема. В Якутске ссыльные вращались в своей среде, здесь — в интеллигентской и чиновничьей, работали в редакциях, в отделении Географического общества, учителями, служили в конторах.

Город поражал возвращающегося с севера поселенца богатством, обилием величественных зданий, музеев, школ, больниц. Особенно выделялось здание Восточно-Сибирского

отделения Императорского Русского Географического общества.

Все говорило о довольстве и богатстве, которое приносили Иркутску золотые россыпи на Лене…

Иркутские купцы и промышленники и по одежде и в поведении резко отличались от своих замоскворецких собратьев по классу. Сибирский характер. Сибирская интуиция. Сибирские возможности. Будущее Сибири. Этими словечками пересыпались разговоры в гостиных, в редакционных кабинетах, в приисковых конторах… Интеллигенция вынашивала идею сибирской автономии, зрели семена сибирского областничества, которому суждено было сыграть роковую роль в грозных событиях гражданской войны.

Феликс отправился в редакцию газеты «Восточное обозрение». Приятная встреча: редактор Иван Иванович Попов, вокруг которого группировалась иркутская интеллигенция, оказался близким знакомым Станислава Куницкого. Он тут же предложил:

— Соглашайтесь, Феликс Яковлевич… Мы введем вас в состав редакции в качестве обозревателя русской жизни.

— Боюсь, не справлюсь. Отстал, одичал.

— Хорошо, повременим. Осмотритесь, придите в себя. Есть что-нибудь написанное?

— Да, конечно.

— Ну и хорошо. А сегодня вечером приходите на заседание редколлегии…

Но и из Иркутска выдворили. Месяцев девять томились в унылейшем уездном Балаганске. Когда у Христины кончился срок ссылки, Феликсу разрешили сопровождать ее до Кургана. Христина с двумя детьми уезжала к своим родным в Николаев.

В Нижнеудинске остановились. Феликс оставил жену в заезжей избе, а сам пошел отыскивать городское кладбище.

Весенним вечером на старом кладбище впервые увидел он холмик, заросший травой, и в глубине деревянной оградки сквозь решетки прочитал ее имя… «Розалия Фельсенгарт»… Вот только тут, увидев надпись на потемневшем от времени дощатом обелиске, он вдруг понял, что невозможное свершилось…

Она умерла на этапе, как и Мария Богушевич. Марию похоронили раньше, в Красноярске. Этапный путь от Бутырской пересыльной тюрьмы до Нерчинской каторги длился целый год. Шли вместе с партией уголовников. Чтобы получить место на нарах в очередном этапном дворе, надо было прорываться сквозь толпу арестантов, кидающихся на его штурм скопом. То же самое надо было преодолеть, чтобы успеть купить еды у торговок. На

ночь староста арестантской партии уводил жещин в комнату этапного офицера и к конвойным солдатам, которые всегда вечерами пили водку и развлекались в соответствии со своими вкусами. Для большинства заключенных женщин каждый день этапа был только очередным днем, приближающим к трагической развязке…

Проводив жену с детьми в Николаев, Феликс начал хлопотать о переводе в Минусинск. Вскоре это ему удалось.

Осень 1897 года.

До того времени, когда окрестные холмы и недальние сосновые боры занавесят октябрьские дожди вперемежку со снегом, еще далеко. Но и августовская жара иссякла еще две недели назад. А сейчас, хотя на ясном, безоблачном небе висит по-прежнему яркое солнце, оно уже не греет.

Сухо, ясно, ветрено.

На юге Сибири установилась пора довольства и умиротворения для местных жителей и самой глубинной, безисходной до отчаяния тоски — для тех, кто очутился и живет здесь не по своей охоте…

Уходят последние пароходы на Красноярск с его великой сибирской магистралью, которая могла бы увезти невольника в любой край света, улетают на юг журавли — клин за клином, оглашая желтые земные пространств прощальными голосами.

В эти дни минусинские ссыльнопоселенцы, если удается достать у окружного исправника разрешение, забираются на глухие подтаежные заимки — подальше от пронзительных пароходных гудков, от печальных журавлиных окликов…

У Феликса Яковлевича не было потребности бежать от своей тоски. Он шел ей навстречу — он знал, что только таким образом может пережить ее и пересилить. Он ежедневно — ближе к вечеру — выходит на берег протоки, стоит часами на яру, закинув за спину длинные руки. Ветер треплет полы всегда распахнутого старого пальто, кудлатит разросшуюся черную с густой проседью бороду, рвет из-под широкополой шляпы длинные взлохмаченные волосы…

На одной из таких прогулок ему показалось, что кто-то его окликнул. Он сделал машинально несколько шагов и остановился. В Минусинске у него уже есть знакомые, имен некоторых из них он даже не знает или не может запомнить. На улицах его иногда окликают, приветствуют, пытаются заговорить. Но он чаще всего отделывается кивком или жестом руки.

На сей раз голос показался знакомым. На противоположной стороне улицы увидел ссыльного Райчина. Райчин — социал-

демократ. К старожилам местной колонии ссыльных, в основном народнического толка, относился свысока, делая исключение только для него, Кона. Это, однако, не примиряло с Райчиным, а, наоборот, даже раздражало. Потому-то и обернулся он на голосе досадой.

Но тут же увидел, что Райчин не один. Рядом с ним стоял невысокий молодой человек в кепке и длинном демисезонном пальто с бархатным воротником.

— Кон! — позвал Райчин. — На минутку.

Кон перешел ухабистую выветренную улицу.

— Познакомься. — Райчин говорил громко, не обращая внимания на редких прохожих, обходивших их на широком тротуаре и с любопытством вглядывавшихся в их лица. — Товарищ приехал из Шушенского. Да я тебе говорил об этом, как же…

Кон оглядел незнакомого молодого человека, крепко сложенного, с небольшой рыжеватой бородкой, с притягательным взглядом темно-карих глаз, подал ему руку. — Если не ошибаюсь, Ульянов…

— Не ошибаетесь, Феликс Яковлевич, — с чуть заметной картавинкой ответил приезжий. И полуобернулся к Райчину: — Видите, Семен Григорьевич, нас, оказывается, и знакомить не было нужды, Феликс Яковлевич с первых же слов угадал меня.

— В этом нет ничего удивительного, — ответил Кон. — Из ваших товарищей в Шушенском я кое-кого знаю. Бывал там. Но с вами не довелось познакомиться. Собирался специально приехать, да все как-то не мог осмелиться. Я был о вас наслышан еще в бытность якутской ссылки…

Ульянов усмехнулся, но в этой усмешке не было ничего обидного для собеседника. Наоборот, она как бы расположила к короткости и доверительности.

— Мне всегда была интересна ваша пропагандистская работа в кружках. Это мне особенно близко, потому что я сам занимался в кружках с рабочими на заводах Варшавы. Очень порадовал меня Леонид Борисович Красин в Иркутске рассказами о «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса»…

— Вот видите, — воскликнул Ульянов, — как много нас объединяет.

— Да, — сказал Кон тихо, и Ульянов отметил внезапную перемену в его тоне. — Объединяет многое, но есть и такое, что разъединяет. Мне говорили о вашей нетерпимости к проявлению иной, чем ваша, интерпретации революционной тактики. Я, признаться, из-за того и не мог никак осмелиться приехать к вам в Шушенское раньше, хотя к вашей семье… к вашей фамилии у

меня издавна благоговейное отношение…

Темно-карие глаза сверкнули:

— А знаете, почему вы так легко поверили в мою якобы ужасающую нетерпимость?

— Почему? — насторожился Кон.

— Потому что были предрасположены к этому. Вам хотелось в это поверить. Как же! Ортодокс! Ни на каком коне не подъедешь!

— А к вам, Владимир Ильич, и в самом деле ни на каком коне не подъедешь, — улыбнувшись, сказал Кон.

Ульянов вскинул на него какой-то по-особому пристальный взгляд, словно вдруг увидел в нем нечто неожиданное, и бросил коротко, резко:

— Да. Особенно на троянском…

Некоторое время шли молча. Итальянская улица широкая, длинная, просматривалась насквозь, до самой степной окраины. Добротные деревянные и каменные дома, нередко в два этажа, сливались в две прямые линии, над которыми вдали, в сизо-голубом выцветшем небе, роао-вела колокольня Троицкой церкви.

— Насколько я знаю, — сказал Владимир Ильич, когда опи свернули на улицу Гоголя, — в ссылке вы занимались исследованиями…

— Да, я принимал участие в экспедиции Сибирякова. И за это особо благодарен своей судьбе. Там я познакомился со многими интересными людьми. Кто знает, как бы сложилась моя жизнь в якутской ссылке, если бы не они. Представьте себе одну из самых северных окраин нашего отечества. Два месяца — лето, а все остальное время — зима, какой она бывает только в северной тайге. Умопомрачительные морозы, бесконечные ураганы и половина года — полярная ночь. А с ней ее неизбежная спутница — полярка, болезнь души, неотвратимая тяга к смерти. Вечный вой волков среди воя пурги кого хочешь сведет с ума. Вся надежда на почту. Приходят номера «Восточного обозрения» из Иркутска, а в них мои очерки. Прочитаешь все номера от строчки до строчки — и уже не чувствуешь себя заброшенным в ледяные пустыни. Тебя помнят на большой земле, тебя стараются поддержать. Все, что я ни писал, все печаталось в «Восточном обозрении». А писал я, надо вам сказать, много, беспрерывно, до изнеможения. Тем, однако, и спасся от тоски и отчаяния. А попутно накапливался материал для больших работ…

— Удалось что-нибудь опубликовать? — быстро спросил Ульянов.

— Да, печатался в «Известиях Восточно-Сибирского отделения Географического общества», в журнале «Русская

мысль»… Сейчас заканчиваю работу «Физиологические и биологические данные о якутах».

— Ну а здешние народности вас интересуют?

— Как же, лелею мечту о путешествии за Саяны.

— Есть какие-то возможности?

— Пока ничего не могу сказать определенного. Наше отделение Географического общества не располагает средствами. Может быть, что-то и наскребут. Я больше надеюсь на Николая Михайловича Мартьянова. Обещает все-таки устроить поездку вскорости. Удивительный это человек! В такой глуши создать музей, не имея лишнего гроша…

— Буду вам очень признателен, если вы меня познакомите с ним. С музеем я уже было ознакомился. Хотелось бы побродить по залам не спеша…

— Николая Михайловича сейчас здесь нет. Он на Абаканском руднике. Но мы можем обратиться к его супруге. Она не откажет в услуге ознакомить с экспонатами.

Тут в разговор вмешался Райчин.

— Не скромничай, Кон. Лучше тебя никто не знает музея. Так что, господа, позвольте откланяться и пожелать вам полезнейшего времяпрепровождения.

Райчин свернул за угол возле мукомольною заведения Пашенных, а Ульянов и Кон, перейдя на Большую улицу, остановились на перекрестке.

— А вы в Минусинск, наверно, за покупками на зиму? — спросил Кон.

— В какой-то степени. Никак не могу привыкнуть к здешним магазинам. Лавок много, а выбор самый жалкий.

— Да, в городе около сорока лавок и магазинов. К тому же и товар приходит периодически. А вы как раз попали в такое время, когда старые товары вышли, а новые еще не поступили.

— Ну да ничего. Куплю самое необходимое. Лампу, валенки, рукавицы, шапку… Но главное, конечно, не в этом. Товарищ мой Василий Васильевич Старков попал в неприятпую историю. Узнал, что заболел Семен Григорьевич Райчин, приехал навестить, а разрешением на приезд не запасся. Так полиция его арестовала, доставила к исправнику, а тот проявил излишнюю ретивость и дело передал мировому судье…

Феликс махпул рукой:

— Это нетрудно будет уладить. Я Ширяева хорошо знаю. Идемте к нему. Михаил Федорович все тут же и решит.

— А он уже и решил, — усмехнулся Ульянов. — Приговорил его к месячной отсидке в тюрьме. Представляете?!

Феликс молчал, пораженный новостью. От Ширяева он такой

прыти не ожидал. Коллежский секретарь Михаил Ширяев был крестьянским начальником третьего участка. Юрист по образованию, он ушел в мировые судьи, чтобы, как говорил он в доверительной беседе, бороться с беззаконием. Ульянов, слушавший Феликса, сказал:

— Вот этот-то борец с беззаконием и нарушил закон. Согласно правилам о гласном надзоре, за первое нарушение полагается штраф или внушение.

— Что же теперь делать? — в смятении спросил Феликс. — Минусинская тюрьма — это плохо. Издевательства и надругательства над человеком.

— Вот я и думаю помочь товарищам составить апелляционную жалобу…

Ноябрьским днем Феликс сидел в читальном зале музея и быстрым нервным почерком писал статью в газету «Сибирь», издававшуюся в Петербурге, о порядках и правах, укоренившихся в минусинской тюрьме. Смотритель тюрьмы Путинцев, которому покровительствовал товарищ прокурора господин Иевреинов, относился к заключенным бесчеловечно. По поводу и без повода их целыми месяцами не выпускали из камер даже на прогулки. Больных запирали в карцер. Статья, конечно, будет напечатана без подписи автора: журналисты хорошо понимают, что, если губернаторские власти дознаются, автору не миновать обратного пути на север Якутии.

Дописав и уложив белый лист в конверт, Феликс ещо долго бездумно глядел на заснеженные деревья в палисаднике. Какая благодатная погода установилась на дворе! Снегу выпало много, но морозов пока не было. Небо затянуто белесыми облаками. Тихие улицы, дома под толстыми белыми козырьками, деревья в белых полушубках — все тянуло на воздух, на свободу, располагало к доверительным беседам, к улыбкам…

В дверях читального зала появился библиотекарь Ермил Фомич Гущин. Молодой, безусый, коротко остриженный, одетый в светлую косоворотку и клетчатый пиджак.

— Вот, господин Ульянов, вам и Феликс Яковлевич, — сказал Гущин и посторонился. Из-за его спины выступил недавний знакомый Феликса.

— Здравствуйте, Владимир Ильич! — поднялся Кон я подал руку. — Вы ко мне?

— Да, да, Феликс Яковлевич. Именно к вам.

— Но как вы догадались, что я здесь?

— А разве это трудно? — улыбаясь, спросил в свою очередь Ульянов. — Пришел к вам на квартиру… Хозяйка сказала, что вы

в городе. А раз в городе, то, значит, здесь. Где же еще вам быть?!

— Присаживайтесь, Владимир Ильич, рассказывайте, что вас привело к одинокому и одичавшему Сириусу.

— Сириус? — удивился Ульянов, присаживаясь к столику. В читальном зале они были только вдвоем и потому могли говорить в полный голос. — Что это означает?

— Так мы себя звали на каторге. Мы ведь могли читать политическую литературу только по ночам. А светильник один. Поэтому половина камеры читала с начала ночи, а остальные — после того как всходила звезда-полуночница Сириус. Эта кличка так и осталась за мной.

— Я запомню, — сказал Ульянов вдруг погрустневшим голосом, чему-то расстроившись. — А у меня к вам дело. Пятнадцатого ноября с новой партией ссыльных прибыл сюда один наш товарищ, Виктор Константинович Курпатовский. Тоже и в казематах сидел, и в ссылке побывал. Его высылают в Курагино. Он подал исправнику прошение, чтобы из-за болезни ему разрешили задержаться на несколько дней в городе. Исправник Мухин требует врачебного освидетельствования. Виктор Константинович действительно болен. Но врачи — они ведь тоже всякие бывают. Я со здешними врачами совершенно не знаком. А вы, вероятно, успели с кем-нибудь сойтись покороче…

— Да, я знаком со многими, — сказал Кон, — и могу вас заверить, Владимир Ильич, что все они без исключения сочувствуют нашему брату. И врач городской больницы общественного призрения Иван Ефимович Козлов, и сельский врач второго участка Александр Иванович Смирнов, а вот адресом заведующего городской лечебницей Гереса Абрамовича Фридмана вы даже можете воспользоваться для получения нелегальной литературы… Вернее будет сказать… адресом его жены, Софьи Моисеевны. Она заведует книжным складом общества поощрения начального образования…

— Да? Благодарю! Это сейчас кстати. Так к кому же все-таки обратиться по поводу болезни Виктора Константиновича?

— Пойдемте к Козлову. Для исправника его свидетельство будет наиболее веско.

— Ну и прекрасно. К Козлову так к Козлову.

От Козлова, с которым очень скоро договорились об интересующем деле, снова вышли на Новоприсутственную улицу.

— Вы, надеюсь, к нам не на один день? — спросил Кон.

— Да вот как раз получается, что на один. Сегодня же в ночь должен выехать в обратную дорогу. Так сложились обстоятельства…

Минусинского исправника надворного советпика Мухина Порфирия Константиновича сестры Окуловы прозвали Порфишкой. Мухин знал о данном ему прозвище, но не обижался, ибо главным его правилом было избегать всяких конфликтов и осложнений со ссыльными. Начальство в этом, видимо, усмотрело его слабость и прислало на его место из Енисейска нового исправника. Подполковник Стоянов превыше всего ставил «порядок и дисциплину», которую он решил внедрить во вверенном ему округе с первых же дней пребывания в Минусинске.

— А скажи, Ненашкин, — говорил Стоянов, листая журнал надзирателя, в котором должны были ежедневно расписываться ссыльные, — почему это росписей у тебя нет? Ты что же, каналья, ленишься навещать ссыльных?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — таращил водянисто-серые слезящиеся глаза надзиратель, — хожу ежедень, отказуются.

— Как так «отказуются»? Исправнику докладывал?

— Не единожды.

— А он?

— Не изволили дать на сей счет указания…

Стоянов шевельнул густыми черными усами под огромным горбатым носом, кинул журнал на край стола и, сверля надзирателя круглым глазом, приказал:

— Сегодня же, немедленно… старосту ссыльной колонии… ко мне!

Одноэтажное деревянное здание полицейского управления, выходящее на площадь к Троицкой церкви, находилось всего за два квартала от дома Суслонова, где жил Кон. Феликс появился перед очами Стоянова уже через полчаса.

— Вам известно, господин Кон, по какому поводу я вас вызвал? — спросил Стоянов, откинувшись на спинку стула.

— Да.

— Очень хорошо.

Феликс взял стоявший у стены стул и сел сбоку от стола.

— Хорошо, что вы подняли этот вопрос, — сказал он, — надо его выяснить до конца.

— Но я вас не приглашал сесть, — сказал Стояной, шевеля вскинутой ко лбу изломанной лохматой бровью.

— Нет, вы пригласили. — Голос тверд, а сам Кон необыкновенно спокоен, как всегда, когда чувствовал стычку с представителем власти. — Раз вы сидите, этим самым вы пригласили меня сесть.

Стоянов кинулся грудью на край столешницы. Глава мечут

молнии:

— Я этого не допущу! Вы в присутствии!..

Сидевший в углу за небольшим столиком пожилой секретарь поднял на лоб очки, с любопытством ожидая, чем все это кончится.

Феликс говорит медленно, даже как-то мягко:

— Не допускайте!

— Я вас приговариваю к двухнедельному аресту, — вскакивает с места Стоянов.

— Принимаю к сведению, — спокойно соглашается Феликс. — Будьте любезны дать мне копию постановления.

— Я велю выдать его вам сейчас же. — Стоянов смотрит на секретаря, и тот, торопясь, выписывает злополучную бумагу.

— А теперь, — говорит Феликс, складывая белый лист пополам, — я обжалую это постановление у губернатора.

— Как вам заблагорассудится. Но прежде вы отсидите две недели.

— Нет, не отсижу. Вам официально объявлено об апелляции губернатору.

Стоянов вопросительно воззрился па секретаря. Тот кивает: да, совершенно верно, до решения по апелляции арестовать нельзя. И подполковник, сообразив, что переиграл, рычит сквозь плотно сжатые зубы:

— Я вас больше не задерживаю, господин Кон.

Феликс молча вышел. Глядя ему вслед, исправник вдруг почувствовал, что с этой минуты его, Стоянова, в Минусинске ждет, пожалуй, больше неприятностей, чем удовольствия от сознания своего всевластия. Спросил у секретаря:

— Чем живет этот господин, кроме официального пособия? Ведь у него жена и двое детей?

— Да. Господин Кон служит письмоводителем у господина барона Гадилье…

— А-а, это мировой судья. Между прочим, он такой же барон, как я турецкий Осман-паша. Курт Александрович — обыкновенный латышский мещанин.

— Однако всем он рекомендуется бароном.

— Это его личное дело. А вот какое он имел право брать ссыльного в свою канцелярию, это уже не личное дело, а нарушение «Устава о ссыльных».

Секретарь знал, что исправник не любил Гадилье, но позволявшего ему вмешиваться в свои дела. Сухой и надменный со всеми, мировой судья не делал исключения и для исправника. Секретарь подлил масла в огонь:

— Мы запрашивали господина барона. Он ответил, что

прежний судья коллежский секретарь Ширяев оставил много запущенных дел, а грамотного письмоводителя в Минусинске найти невозможно.

— И Порфирий Константинович удовлетворился таким ответом?

Секретарь пожал плечами.

— Ну, ясно. И тут та же картина — распущенность, самовольство. Но я положу этому конец. — Подполковничий кулак опустился на столешницу, покрытую зеленым сукном, однако, не столь уверенно, как можно было бы ожидать: Стоянов не мог освободиться от предчувствия, что в Минусинске его увесистый солдафонский кулак может повиснуть в воздухе.

На другой день в городе уже вся интеллигенция, все чиновники знали, что исправник собирается наложить на Кона двухнедельный арест. Первыми, кто встретился Стоянову, отправляющемуся в полицейское управление, были два приятеля — секретарь городской управы Рымарев-Черняев Григорий Яковлевич, весьма гордившийся своей дворянской фамилией, и акцизный начальник Адрианов Александр Васильевич. Черняев, подкручивая ухоженные усики, спросил соболезнующе:

— Что, Александр Иванович, нервишки не выдерживают? Тяжела, выходит, служба…

— Не понимаю вас, Григорий Яковлевич, — сухо проговорил исправник.

— Я имею в виду ваше столкновение с поднадзорным Коном…

Адрианов хотя вроде бы и тряс сочувственно распущенной старообрядческой бородой, но было видно — рад, что для полицейского чина предполагается неприятность, тем более досадная, что в сущности представляет собой сплошную нелепость.

Только от Черняева и Адрианова отделался, как новая встреча: на улицу Александра Второго выскочила с Михайловской улицы пролетка крестьянского начальника пятого участка Сергея Павловича Ордынского. Сергей Павлович, еще месяц назад носивший тоненькие усики, теперь отпустил узенькую, от виска до виска, на татарский манер, бородку, тронул кучера за плечо и, когда пролетка остановилась, приподнял шляпу и без всяких предисловий с вопросом:

— Александр Иванович! За что же это вы Феликса-то Яковлевича решили за решетку упрятать?

Стоянов осклабился, давая понять, что принимает вопрос Ордынского за шутку, а сам злобно подумал: «Ну и наперло же вашего брата в этот пыльный городишко! А все железная дорога

виновата. Прежде, бывало, чиновника с университетским значком в Сибири и по губернским-то городом не скоро встретишь. А теперь они на каждом шагу в глаза лезут, и всяк себя с тобой на равной ноге норовит держать. Нет, этому надо положить конец!»

А только свернул у Воскресенского собора на Большую улицу, как от музея прямо наперерез экипаж городского головы катит. И этот не проехал мимо, а приостановился и подобие улыбки на своей щекастой физиономии сотворил. Смотрит и головой покачивает:

— Ах, Александр Иванович. Что же это вы с господином Коном не поделили? Два таких приятных человека — и на тебе! Я, между прочим, послал Константину Николаевичу письмо с просьбой отменить ваше постановление. Так вы уж на меня, Александр Иванович, зла не держите. Дружба, как говорится, дружбой, а служба службой. Мой долг — защищать интересы и достоинство граждан, — и, приподняв над седеющей головой шляпу, покатил дальше.

— Учту ваши пожелания, Иван Петрович! — крикнул вслед голове исправник.

— Учтите, голубчик! Учтите! Буду весьма вам обязан, — обернувшись, крикнул Лыткин.

«М-да, — сказал про себя Стоянов. — Не городской голова, а адвокат». Стоянов не знал, что заводчик, купец и общественный деятель Иван Петрович Лыткип, действительно, во многих случаях действовал как защитник политических ссыльных, чему, конечно, способствовали его приятельские отношения с Мартьяновым, да и с самим Коном. Феликс уважал городского голову за светлый ум, бывал у него в гостях и подолгу беседовал с ним.

Как и следовало ожидать, енисейский губернатор генерал-майор Константин Николаевич Светлицкий отменил постановление исправника об аресте Кона.

После долгих раздумий подполковник Стоянов все-таки обратился к Светлицкому с рапортом, в котором указывал на незаконность нахождения на службе у мирового судьи политического ссыльного Кона. И в этом добился-таки успеха. Судье Курту Гадилье было предложено отказаться от услуг Феликса Кона.

Из трехлетнего путешествия по Туве Феликс возвращался через Иркутск, в котором задержался на несколько дней. Остановился в «Коммерческой гостинице». Зашел в Восточно-Сибирское отделение Географического общества. Председателя Маковецкого не было. Принял его заместитель Лушников.

Выслушав рассказ об итогах исследований, загорелся.

— Надо обязательно сделать обстоятельный публичный доклад. У вас столько научных открытий! Ваши записи песен и сказок — это же сокровище! Кто бы думал, что тувинцы имеют такую древнюю культуру…

— Все это так, но вряд ли Кутайсов разрешит.

— Нет, нет, отказа не может быть. Я завтра же запишусь к генерал-губернатору на прием.

На другой день Лушников встретил Феликса уныло.

— Ну что, — сверкнул глазами Кон, — не я ли вам говорил, что ничего из этого не выйдет?

— Вы были правы, Феликс Яковлевич. Более того, генерал-губернатор велел вам немедленно покинуть Иркутск. Но вы не огорчайтесь. Ваш отчет об экспедиции я немедленно перешлю в Петербург. Там его сумеют оценить должным образом.

Кон опять оставлял столицу генерал-губернаторства с тяжелыми раздумьями Ведь ему уже скоро сорок лет. Почти два десятка из них отданы каторге и ссылке. Сколько воды утекло за это время! Сколько политических событий произошло в мире!

Подполковник Стоянов, все еще пребывающий в должности минусинского испрапипка, отнесся к возвращению Кона настороженно. После того как было получено предписание, разрешающее Кону предпринять экспедицию в Урянхайский край, Александр Иванович вздохнул с облегчением. Тува считалась зарубежной территорией, и Стоянов решил, что Кон из «заграничной» поездки вряд ли вернется. Но Кон вернулся. Более того, через месяц после возвращения исправник получил присланную на имя Кона медаль, которую полагалось вручать лично.

Пришлось облачиться в парадный мундир. Кона он встретил стоя.

— Вы награждаетесь… — начал было Стоянов, но Кон бесцеремонно перебил его:

— Знаю, знаю. Награждаюсь Географическим обществом. Дайте-ка мне медаль.

Исправник, онемев, отдал награду, Феликс вышел, не попрощавшись.

Как-то стало известно, что в Минусинск прибывает со своей многочисленной свитой сам граф Кутайсов. Была составлена программа пребывания генерал-губернатора в городе; в нее входило и посещение музея. Феликс в эти дни не выходил из своей квартиры. Обрабатывал материалы, привезенные из засаянской экспедиции. У него тоже мало кто бывал.

Вдруг как-то в полдень слышит — хлопнула калитка. В калитку вбегает полицейский надзиратель. Руку под козырек:

— Господин Кон… вам необходимо явиться в музей. Срочно требуетесь.

— Это зачем?

— Их высокопревосходительство… генерал-губернатор Восточной Сибири… граф Кутайсов… желают, чтобы вы давали им объяснения по музею… потому как господин Мартьянов на излечении и больше давать объяснения некому.

— Ну вот что, любезнейший… — Феликс взъерошил волосы и круто потер уставшие глаза, — передай высокопревосходительству, что господин Кон не желает давать ему объяснения. Все, ступай. — И, подтолкнув опешившего надзирателя к выходу, открыл перед ним дверь.

Как потом узнал Феликс, между какими-то пунктами программы высокого гостя осталось два свободных часа, и их-то Кутайсов и решил посвятить музею. Двухчасовую экскурсию по музею могли осилить только сам Мартьянов или Кон. Елена Константиновна Мартьянова и предложила кандидатуру Кона.

Ему рассказывали, как ни жив ни мертв появился перед Кутайсовым надзиратель, как едва решился произнести крамольные слова:

— Ваше высокопревосходительство… Господин Кон… они не желают…

— Что «не желают»? — терпеливо переспросил Кутайсов, еще не вникнув в смысл слов.

— Давать объяснения вашему высокопревосходительству…

Свита генерал-губернатора застыла в гробовом молчании.

— Кто же это у вас такой дерзкий? — легко спросил Кутайсов, но холодные глаза его впились в исправника.

— Политический ссыльный, ваше высокопревосходительство, Феликс Кон, — замирая, выговорил Стоянов.

Полуобернувшись, Кутайсов воззрился на свиту. Красивое лицо его с тонкими чертами вдруг ожило, надменное выражение сменилось благодушной улыбкой.

— Обойдемся, я думаю, — проговорил небрежно. — Ведите нас вы, Елена Константиновна!..

Однако великосветской улыбки графа хватило ненадолго. Кипевшее в нем раздражение мешало сосредоточиться на рассказе. Уже через полчаса Кутайсов попросил книгу почетных посетителей, расписался в ней и отбыл…

Исправник ждал кары на голову Кона. Но первой из депеш была телеграмма из Москвы о прибытии в Минусинск генорал-

лейтенапта Шварца.

Стоянов встретил его на пристани, доложил о том, что в округе все благополучно, и в ожидании дальнейших распоряжений впился в генерала блестящими черными глазами. У Шварца на бритой стариковской физиономии — унылое утомление.

— А скажите, подполковник, — говорит Шварц, разглядывая без любопытства пристанскую площадь. — Мне в Москве сообщили, что у вас тут живет крупный ученый Кон…

— Совершенно верно вам сообщили, — вытянулся исправник, — таковой действительно проживает в нашем городе.

— Будьте любезны, подполковник… Узнайте у господина Кона, когда он соблаговолит меня принять? — Шварц протянул для передачи Кону свою визитную карточку, на которой значилось: «…начальник Пулковской обсерватории…»

С началом в 1904 году русско-японской войны на плечи подполковника Стоянова легла нелегкая миссия — уговорить оставшихся в городе политических ссыльных пойти добровольцами на фронт.

Сидя вечером за картами у Григория Яковлевича Рымарева-Черняева, Стоянов жаловался только что вернувшемуся из верхнеенисейской экспедиции Адрианову:

— Все дело в Коне. Если Кон согласится, остальных уломать труда не составит. Но Кон, доложу я вам… Политкаторжанин, а гордость сатанинская…

Адрианов, сам слывший за либерала, сотрудничавший в газетах «Сибирская жизнь» и «Восточное обозрение», к тому же совершивший несколько весьма удачных научных экспедиций на Алтай и в Закаспийский край, возразил исправнику:

— Да, но ведь политкаторжанин…

— Помилуйте, Александр Васильевич, чем же гордиться? Каторга она и есть каторга.

Адрианов многозначительно улыбнулся:

— Для нас с вами каторга, а для них — голгофа.

В это время в соседней зале послышался рояль — играли польку. К Адрианову подошла юная вдова, владелица двухэтажного галантерейного магазина. Партия за карточным столом расстроилась. Беседа, так волновавшая окружного исправника, оборвалась.

«Вечер» у хлебосольного и всеми уважаемого господина Рымарева-Черняева, как и обычно, затянулся до четырех часов ночи. Огромный двухэтажный деревянный дом на Большой улице ярко светился всеми двадцатью четырьмя окнами. И если бы не этот опоясанный двумя рядами светящихся окон дом, то старый

уездный город, приткнувшийся у подножия голых холмов на берегу широкой протоки Енисея, казался бы необитаемым — так здесь по ночам все было тихо, темно и глухо.

А на следующий день на Новоприсутственной улице у полицейской управы встретились четверо немолодых людей. Феликс Яковлевич невесело оглядел товарищей по ссылке, в общем-то почти уже смирившихся со своей участью.

Вот Аркадий Тырков. Дворянин. Народоволец. Сигнальщик из отряда Софьи Перовской, осуществившего решение Исполнительного комитета «Народной воли» о казни императора Александра II, чудом избежавший виселицы. Они с Орочко (Александра все ссыльные почему-то называли Алексеем) поддерживают под руки изнуренного болезнью Мельникова. Орочко за принадлежность к террористической организации был приговорен сначала к виселице, а потом к каторге. На поселении женился, обзавелся хозяйством, опростился и как будто бы ни о чем больше не помышляет.

Стоянов принял всех поднадзорных стоя, в подполковничьей парадном мундире при всех орденах, с непроницаемо-торжественной миной на лице.

— Господа! Милость государя-императора к своим подданным, даже временно заблуждавшимся, беспредельна. Даже вы, чья деятельность носила преступно-политический характер, получаете возможность в полной мере испытать всю глубину монаршьего милосердия. Сейчас, когда Япония развернула боевые действия на восточных границах нашего отечества, государь-император обращается к вам со словами всепрощения и дарует вам восстановление всех прав состояния, а также свободу местожительства и образа жизни… Но при одном весьма лестном для вас, я надеюсь, условии… Вы должны искупить свою вину добровольной отправкой на фронт.

Стоянов перевел дыхание и повернул свое пучеглазое лицо к Кону. Исправник понимал, что от решения старосты минусинской колонии ссыльных зависит многое, если не все.

— Господин Кон, может быть, вы желаете загладить свою вину и отправиться добровольно на фронт?

— Не желаю, — резко сказал Кон.

— Господин Тырков, а вы?

— Не желаю.

Исправник посмотрел иа Мельникова. Тот по возможности выпрямился и слабым голосом попросил бумагу и карандаш. Стоянов подвинул на край стола то и другое, и пока Мельников выводил дрожащей рукой: «Долго вы думали, что додумались до этого?» — насмешливо поглядывал на Кона и Тыркова. Но, кинув

взгляд на бумагу, разъяренно выхватил у Мельникова карандаш и, переломив пополам, кинул в корзину под столом.

К Орочко он обращался, уже сидя в кресле:

— Господин Орочко… вы бывший фейерверкер. Может быть, вы согласны?

— Согласен, — сказал Алексей, ероша крупными узловатыми пальцами сиво-русую бороду. — При одном условии… Если мне каторгу и ссылку зачтут за службу в армии с выслугой лет. По моим подсчетам, я сразу получу чин генерал-майора.

В мае 1904 года Кон прощался с товарищами по ссылке. Навестил Мельникова. Сергей Иванович слег и уже не надеялся вернуться из Сибири живым. Алексея Орочко дома не застал — тот уехал на подтаежную заимку. Аркадий Тырков, конечно, был дома, как и всегда по вечерам, и много говорил все об одном и том же — отец хлопочет о переводе его в свое имение Вергеж. Там теперь живет его сестра Ариадна Владимировна Вергежская, подруга Надежды Константиновны Крупской. Но Аркадия в те места тянет по другой причине: отец поставил образцовое молочное хозяйство, что очень уж глубоко восхищает супругу Аркадия, славную Елену Павловну.

Днем, к сожалению, Аркадий занят частными уроками, а иначе непременно прибежал бы на пристань. Пожалуй, приехал бы и Николай Михайлович. Но Мартьянов на лечении в Крыму. Болен тяжело и, приходится полагать, безнадежно. Какая судьба ожидает музей, если, упаси бог, Николая Михайловича не станет?

Наконец пароход прогудел в третий раз, и пассажиры заняли свои места.

Сколько лет мечтал Феликс об этих минутах, а вот надо же — ударил в небо последний гудок, и сердце оборвалось, и защемило душу, как будто с матушкой родимой навсегда прощался…

А ведь ссылка же, подневольное житье.

Пароход медленно разворачивается, шумно разбивая плицами вспучившуюся, как и всегда в эту пору, протоку. Мощно напирающее на борт течение, кажется, вот-вот опрокинет красивое, но неуклюжее судно. Но, как и следовало ожидать, все обошлось благополучно.

Феликс стоял на верхней палубе и с острой грустью смотрел, как позади, за кормой оставался деревянный старинный город с выпирающими из него белыми и желтыми каменными особняками коммерсантов и золотопромышленников, со врезанными в безоблачное синее небо церковными колокольнями, с высоченными тополями на том берегу протоки, в Роще Декабристов.

Справа выдвинулись чуть не до середины утесы Быстрянских гор, заслонившие подгородные хутора и мелкие заведения предпринимателей, а слева раскинувшийся на песчаных буераках густой сосновый бор отодвинулся на юг, уступив место искрящимся зеленью заливным лугам…

А уже впереди, за островами, маячил на сине-розовом горизонте Самохвал. Там, за Самохвалом, на юг и на запад уходила в бесконечные пространства степь, наискось располосованная узким и стремительным, как кинжал тубинского воина, Абаканом на две великие степи — Койбальскую и Абаканскую. Это уже земля койбальских и качинских инородцев, в улусах и стойбищах которых Феликс побывал не один десяток раз. Теперь он знал язык, обычаи и правы этого прекрасного народа.

Пароход обогнул утесы Комарковского Быка. Засинели уступы и склоны Потрошиловских гор, от которых пароход отвалит к левому, абаканскому берегу с его голыми белесыми увалами, бесчисленными курганами-могильниками, обставленными огромными каменными бабами, и к исходу дня достигнет тех равнинных мест, где река течет уже спокойно и величаво. Там — середина Сибири…

Плыли уже несколько часов, а Кон все не уходил с палубы. Но теперь он смотрел не назад, а вперед — душа уже необратимо потянулась к так давно оставленным берегам Вислы… Чем дальше уплывал пароход от Минусинска, тем все явственнее на фоне теперешней жизни проступали картины далекого прошлого, его варшавской юности…

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За двадцать лет Варшава изменилась больше, чем за предыдущие два столетия. Тогда она в основном сохраняла тот возвышенно-классический облик, который приобрела в эпоху Станислава Августа Понятовского, покровителя искусств. Теперь Кона встретил современный европейский город.

Но в парке Лазейки все те же перемешавшиеся кронами вековые дубы, тополя, ясени… Все те же дворцы и скульптуры. Те же дикие обитатели резвятся среди ветвей, в траве, выглядывают из дупел старых деревьев… Не умолкают голоса синиц, черных дроздов, зябликов, сверкают оперением дятлы, поползни, иволги, щеглы… А по ночам, наверно, разливаются соловьиные трели, прерываемые иногда уханьем серой неясыти…

Да, да, да, все здесь живет своей прежней, знакомой Феликсу с детства жизнью! Вон даже что-то знакомое вдруг увиделось в походке высокого суховатого человека в элегантном костюме, выходящего на аллею.

Этот человек средних лет, поигрывающий легкой тростью, тоже, видимо, обратил внимание на Феликса и направился к нему. Ба! Да это же Вацлав Серошевский! Когда-то его имя было весьма популярным среди гимназической и университетской молодежи.

Вацлав и его друг Станислав Лянды в свое время прославились тем, что выступили в Цитадели с бурным протестом, наделавшим много шума в Варшаве. Протестовали против убийства часовым восемнадцатилетнего рабочего Юзефа Бейте.

Серошевского и Лянды отдали под суд, обвинив в «вооруженном сопротивлении военному караулу», лишили всех прав состояния и сослали в Восточную Сибирь. Вацлава Феликс встретил в Намском улусе, а Лянды — в Иркутске, в редакции «Восточного обозрения».

— Феликс! Вот ты где! — воскликнул Вацлав, подходя и обнимая Кона. — Мне папи Хелена сказала, что ты вернулся, а я ни на одном собрании тебя не вяжу…

— Да у меня ведь никаких связей — куда пойти? — говорил Феликс, когда они тронулись дальше по аллее.

— Про демонстрацию в Лодзи слышал?

— Да. Но не знаю подробностей.

— Подробности ужасные. Войска стреляли. Рабочие отвечали. Есть убитые. Много раненых. Варшава непременно должна ответить на это. Как видишь, Феликс, жарко москалям.

Феликс быстро глянул в бритое полное лицо Вацлава, спросил:

— При чем тут москали? Рабочая Москва тоже, судя по всему, готовится к борьбе.

Серошевский отмахнулся:

— Ну, это нас не касается. У них свои дела, у нас свои.

Феликс даже приостановился, взял Вацлава за рукав новенького пиджака:

— Постой, как это не касается?

— Прежде всего независимость Польши!

— Но неужели ты думаешь, что Польша получит независимость, пока не будет свергнуто самодержавие?

— Не я один так думаю. Сейчас самое благоприятное время вырвать независимость. Ты одичал, брат, там, в Сибири. Тебе обязательно надо встретиться с товарищем Тадеушем. Да ты его должен знать.

— Ну как же, как же! Знаю!

— Он теперь один из активнейших партийных работников, связан с рабочими. А о Юзефе Пилсудском ты слыхал?

— Слыхал. Но слишком много противоречивого, — сказал Кон.

— Естественно. Это сложная личность. И, по-моему, с большой судьбой.

— Но… с какой?

— А уж это покажет время… Извини. Спешу. У меня через полчаса встреча, очень нужная. А перед тем я должен еще заглянуть к Стефану Жеромскому. Кстати, он и Густав Даниловский тоже хотели бы встретиться с тобой. Вообще наши писатели очень тобой интересуются. Ты становишься живой легендой. Только смотри, не задирай нос слишком высоко. Вот тебе адрес Тадеуша. Загляни непременно. Он тебя введет в партийные круги. А пока, брат, до встречи!

Вацлав свернул в аллею, ведущую к выходу из парка, и зашагал быстро, размашисто. А Феликс сел на скамейку и, глядя на железную высокую решетку парка, за которой виднелись пролетки с нахохлившимися возницами, задумался. Две рабочих партии в Польше… Социал-демократия Королевства Польского и Литвы и ППС. Два пути для него, Феликса Кона. Программы обеих партий знал он понаслышке. Но в Польской социалистической партии у него есть старые друзья по «Пролетариату». Дембский и Славиньский. Соратники Людвика Варыньского, друзья Станислава Куницкого. Правда, тон в ППС задает боевая организация Юзефа Пилсудского, выдвигающая на первый план террор как главную задачу борьбы с самодержавием.

Это Кон считал политической ошибкой. Но ведь и ППС неоднородна. Она же в основе своей рабочая партия.

Коя поднялся со скамейки и быстро зашагал к выходу. Надо срочно найти Квятека.

Квятек не понравился Феликсу, был он человеком вялым, безынициативным, неинтересным. Говорить с ним по душам сразу же расхотелось. Квятек спросил, даже не пытаясь скрыть удивления:

— Так ты что, только из Сибири и уже к нам, просишься в дело? Не хочешь отдохнуть?

— Я двадцать лет отдыхал. Двадцать лет на каторго и в ссылке был оторван от революционной работы.

— И уже не терпится снова на каторгу?

— А уж это как получится, — нахмурился Кон. — Волков бояться — в лес не ходить. Не для того я все это прошел, чтобы теперь в тихом углу отсиживаться. Я тем и выжил, что верил: вернусь и снова включусь в дело. Послушай, Квятек, сведи меня с рабочими.

С минуту Квятек смотрел своими серыми глазами в бородатое обветренное лицо Кона и о чем-то думал. Потом сказал с какой-то затаенной усмешкой:

— Хорошо, завтра в час приходи в кондитерскую «Удзяловую».

Вечером Кона посетили писатели — Жеромский и Даниловский.

— Ты лучше расскажи, что такое японцы? — попросил Стефан Жеромский. У него приятное лицо, высокий лоб с залысинами. Его рассказы и повести из крестьянской жизни, о судьбах повстанцев 1863 года Феликсу очень нравились. — Чем объяснить их феноменальные военные успехи? Ты это должен лучше понимать. Ты ведь там жил в ссылке.

— Я был сослан в Якутию, а не в Японию, — ответил Феликс.

— Но это почти одно и то же. Во всяком случае, это где-то там рядом. Япония и Якутия. Даже звучит почти одинаково.

— Да, конечно. Якутск и Токио разделяет всего каких-нибудь три тысячи километров. А что касается военных успехов Японии, то их гораздо легче и вернее объяснить неуспехами России. Ее неподготовленностью к войне. Бездарным командованием и отсталостью государственного строя. Русские солдаты тут ни при чем. Как и русский народ. Поражение потерпело самодержавие, а не русский народ.

Писатели ушли и унесли с собой холодок обиды, словно их в чем-то обманули.

На другой день в обед он был в кондитерской. Квятек не

появился. Вдруг все находившиеся в помещении кинулись к окнам. Феликс тоже выглянул на улицу. По ней густо шли демонстранты: на красных полотнищах Феликс прочитал имена, заставившие учащенно биться его сердце… «Куницкий… Бардовский… Петрусньнський… Оссовский»…

Вечером нашел Квятека:

— Ты что ж не пришел? Не смог?

— Да я и не собирался. Я решил сделать тебе сюрприз. Это ведь мы организовали демонстрацию. А что касается встречи с рабочими, это я тебе устрою. В Марках, под Варшавой, забастовка. Поезжай. Послушаешь, о чем говорят рабочие, сам выступишь.

Поехал. Посидел, послушал ораторов, часто называвших имена казненных пролетариатцев. Сам выступил:

— Товарищи! Я только что из России. Видел своими глазами, как в сердцах пролетариев Москвы и других промышленных городов… накапливается ненависть к царизму, к самодержавию. И я, старый политкаторжанин, говорю вам, пролетариям Варшавы: близок день и час, когда объединенный рабочий класс России поднимется на борьбу за свои пролетарские интересы, за интересы всех народов империи… под единым революционным лозунгом: «Долой самодержавие!»

Раздались дружные аплодисменты. Встретивший Кона через несколько дней Квятек сказал, пряча глаза:

— Твое выступление, Феликс, на рабочем собрании… по нашим сведениям… стало известно охранке. Не сегодня завтра тебя арестуют. Поэтому тебе необходимо перейти на нелегальное положение. Твоя подпольная кличка будет… Болеслав.

— Спасибо…

Квятек поднял глаза:

— За что?

— За кличку. Она мне нравится.

— Это Мария придумала. — Кивнул Квятек в сторону сидевшей у окна молодой женщины с большими серыми глазами, с вьющимися русыми волосами. — Кстати, теперь будешь действовать по согласованию с ней. Товарищ Пашковская заведует у нас конспиративными связями, технической частью и финансами.

Феликс подошел, подал руку.

— Себя вы можете не называть, — улыбнулась Мария. — Я вас давно знаю и преклоняюсь перед вашей героической судьбой.

Квятек слушал молча, набычив голову. Так же молча простился.

— Для вас я приготовлю несколько конспиративных квартир, товарищ Болеслав, — сказала Мария, когда они вышли из

комнаты, в которой помещался варшавский комитет ППС. — Будете менять их каждый месяц, и таким образом охранка скоро потеряет ваши следы.

— Премного вам обязан, товарищ Мария, — прочувствованно сказал Кон.

— Зовите меня… пани Мария. А еще лучше… просто… Мария.

— Тогда и вы зовите меня просто… Феликс.

— Хорошо, — сказала Мария. — Это тем более удобно, что первые дни вам придется жить в моей квартире. Так будет безопаснее…

Весть о расстреле мирной рабочей демонстрации в Петербурге, шедшей к Зимнему дворцу, взбудоражила Варшаву. Либеральная интеллигенция собиралась в гостиных. Произносились речи, сыпались обвинения на головы правительства, а порою и на головы рабочих, которых расстреливали… Доставалось им за иконы и портреты царя.

В рабочих предместьях останавливались заводы и фабрики, рабочие в цехах собирались на митинги, слушали ораторов, недостатка в которых, как всегда, не было. На один из таких митингов на Сенной улице приехали Феликс Кон и Мария Пашковская.

Под высокими железными сводами арматурного завода собралось несколько сот молчаливых нахмуренных людей… В глубине цеха на трибуне, составленной из каких-то пустых ящиков, стояло несколько интеллигентного вида людей, пытавшихся успокоить встревоженных рабочих.

— Самое главное сейчас… не поддаться первому чувству… чтобы преждевременным выступлением не обескровить свои ряды… Выдержка и еще раз выдержка! Россия не готова к революции. Все наши надежды на независимость надо возлагать на революционный Запад. Помните о своей многострадальной родине! Польша всегда горела и будет гореть в революционном огне, а Россия навеки теперь застыла обескровленная… войной и самодержавным террором…

Феликс стал проталкиваться к трибуне. Рабочие молча давали пройти ему и Марии и потом снова смыкались. Проталкиваясь, Феликс уже не вслушивался в речи, лившиеся с трибуны, а когда оказался сам на ней, там уже никого не было. Он выкинул вперед руку и как мог громко сказал:

— Слово старому политкаторжанину! — Ему никто не возражал, и Феликс заговорил спокойнее: — Вот тут некоторые наши товарищи социалисты, — говорил Феликс, выпятив длинную черную бороду и обводя бесконечные ряды лиц

горящими глазами, — призывали вас не спешить с выступлением в поддержку русских рабочих. Они, видите ли, не верят в революционность пролетариев России и все свои надежды адресуют Западу. Я недавно вернулся из Сибири, был в Москве и в южных промышленных центрах, и я вам говорю: у меня нет ни малейшего неверия в русскую революцию, как нет и преувеличенного представления о революционности Запада. Русская революция началась, товарищи! Выстрелы двадцать второго января — это выстрелы контрреволюции, на которые рабочий класс России ответит революционными выстрелами! — Тишина взорвалась аплодисментами. Сотни заскорузлых мозолистых ладоней мелькали над головами рабочих.

Выждав, когда аплодисменты стали стихать, Феликс сказал:

— Наш пролетарский долг, пролетарии Варшавы, ответить на бесчеловечную расправу царизма грандиозиейшей демонстрацией солидарности! Пусть знают, что рабочий класс не позволит безнаказанно убивать наших братьев! У пролетариев всего одно оружие, но оно несокрушимо — это наше всемирное братство!

И снова — бесконечные, оглушающие аплодисменты, перемежающиеся криками «Долой самодержавие!», «Позор палачам и сатрапам!».

Феликс теперь не сомневался: еще десяток таких митингов, и вся пролетарская Варшава выйдет на демонстрацию солидарности.

И вдруг на трибуне оказался писатель Густав Даниловский. Бледный, с ввалившимися щеками, с лихорадочно блестевшими глазами.

— Варшавяне! Граждане рабочие! Я глубоко уважаю предыдущего оратора, но я осуждаю его за безответственное выступление, граничащее с подстрекательством к бунту… Рабочих любить надо, — резко возвысил голос Даниловский, — а не призывать к демонстрациям. Мы знаем, к чему ведут эти демонстрации! За них рабочие расплачиваются своими жизнями и годами тюрем и каторги…

Едва произнес последнее слово Даниловский, как передние ряды качнулись, из них выскользнул рабочий с тонким лицом. Он отодвинул Даниловского и, наклонившись вперед, сказал громко и насмешливо:

— А вы нас не любите! Плевать нам на вашу любовь! Мы полюбим тех, кто поведет нас на баррикады! Правильно я говорю, товарищи?

Раздались сразу сотни голосов:

— Правильно!

— На баррикады!

— Долой самодержавие!

— Да здравствует Учредительное собрание!

Даниловский исчез, а рабочий, спрыгнув с трибуны, составленной из ящиков и бочек, подошел к Феликсу.

— Вы — Болеслав? — спросил он. — А я родной брат Яна Петрусиньского. Я вас узнал по фотографии, на которой вы сняты с моим покойным братом. Скажите, как вел себя он перед казнью?

— Как истинный революционер, — сказал Феликс растроганно. — Все четверо наших товарищей вели себя героически. Ни тени страха перед виселицей. Куницкий Станислав накануне читал нам лекцию об электричестве. Петр Васильевич Бардовский играл в снежки с Людвиком Варыньским. А Янек, ваш брат, когда мы сидели с ним в одной камере, об одном только жалел… что не успел еще полюбить… — голос Феликса пресекся.

— Спасибо, — тихо произнес рабочий. — А насчет демонстрации… будьте уверены. По первому зову выйдет вся рабочая Варшава. — И добавил: — И выйдет не с пустыми руками…

— Правильно. Готовьтесь основательно. Не исключено, что может быть схватка с войсками.

— Не оплошаем. Только уж и вы не тяните…

— Всеобщая демонстрация рабочей Варшавы будет назначена в годовщину казни героев «Пролетариата».

Этот поздний и необычно длинный заводской гудок не был похож на обычные утренние гудки, созывающие рабочих на смену. А через несколько минут его подхватили заводы всей Праги, и тут же рев гудков перекинулся на левобережье.

В басовитый рев заводов и фабрик врывались свистки паровозов.

Оглушенные, притихшие, затаились магнатские особняки Краковского предместья, Уяздовских Аллей и Маршалковской улицы, предместья Желибож…

А когда гудки смолкли, несколько минут на улицах стояла такая тревожная тишина, что казалось, еще минута — и загремят взрывы…

Но вместо взрывов со стороны перекинутых через Вислу мостов донеслось нестройное тысячеголосое пение.

Площадь Витковского, место сбора пролетариев варшавских предместий, захлестнута человеческим разливом. Ярко пламенеют красные знамена. Взобравшись на фонарные столбы, какие-то ораторы произносят речи. Но слов их расслышать почти невозможно.

В самом центре многотысячной толпы возвышается помост,

сооруженный из столов и стульев, но пробраться к нему нет никакой возможности. Однако Петрусиньский и его товарищи быстро освободили проход, и вскоре Феликс и Мария оказались возле импровизированной трибуны, на которой Феликс среди других ораторов увидел Юзефа Ротштадта, известного в революционных кругах под кличкой Красный. Значит, митинг проводят обе партии — ППС и СДКПиЛ.

— Польский пролетариат — слышал Феликс слова Юзефа, произносимые медленно и уверенно, — выдержал экзамен пролетарской чести… Пролетарии Варшавы и всех промышленных городов Привислинского края… по первому же сигналу из Петербурга… поспешили самоотверженно включиться в борьбу за общее дело… под общим знаменем!

Крики:

— Долой самодержавие!

— Позор царским палачам!

— Да здравствует Учредительное собрание!

— Да здравствует республика!

— Автономия Королевства Польского!..

— Да здравствует независимая Польша!

Феликса тронули за рукав — он обернулся. Перед ним стоял Квятек. Бледный, растерянный.

— Дай мне слово, — хрипло сказал он.

— А сейчас, — громко объявил Кон, оборачиваясь к демонстрантам, — выступит… известный вам товарищ Тадеуш…

Феликс хотел таким представлением подбодрить Квятека. Но тот пропусил все это мимо ушей.

— Только что… нам стало известно, — говорил Квятек, выдавливая из себя слова, — что обер-полицмейстер барон Нолькен подал рапорт генерал-губернатору Черткову… полиция не в силах справиться с народными выступлениями… Нолькен просил передать власть военным… генерал-губернатор согласился. — Голос Квятека дрогнул. — Товарищи! Это значит, что фактически в городе введено военное положение…

— А ты нас не пугай! — крикнули из первых рядов.

— Мы знали, на что идем!

— Долой самодержавие!

— Да здравствует Учредительное собрание!

— Товарищи! — старался перекричать рабочих Квятек, — вот у меня в руках Кония приказа генерал-губернатора войскам… «Действовать строго и решительно. Никто не будет привлечен к ответственности… за последствия военных действий…» Вы слышите, товарищи? Мы призываем… мирно разойтись… по своим районам. — И обернулся к Кону. — Болеслав! Надо

остановить демонстрацию. Будет кровопролитие…

— Поздно, — сказал ему Кон и обратился к рабочим: — Товарищи! Тадеуш просит остановить демонстрацию, прекратить забастовку, а иначе, мол, может произойти кровопролитие. Но кто сможет остановить море? Море гнева, море возмущения людей труда бесчеловечной государственной системой? Это море сметет всякого, кто станет на его пути!

…К Кону пробрался Петрусиньский:

— Товарищ Болеслав! Казаки!

— Пойдем по Сенной…

— Там драгуны и солдаты…

Задние ряды демонстрантов, не зная причины остановки передних, продолжали двигаться. Передние не выдержали напора — толпа покатилась прямо на казаков, сидевших в седлах с карабинами в руках. И тут же Феликс услышал, как пронзительно вскрикнула раненая женщина, почувствовал, как ударился в его плечо головой сраженный насмерть молодой рабочий… Крики отчаяния смешались с проклятьями, шум беспорядочного движения толпы, понесшей Феликса вдоль Сенной, приглушенные расстояниями винтовочные залпы, револьверные выстрелы, глухие взрывы самодельных бомб — все это смешалось в какой-то вихрь, длившийся невозможно долго, из которого Феликса вырвала чья-то сильная рука, затащившая его в подъезд высокого старинного дома… Феликс огляделся. В подъезде собралось много людей: Ян Стружецкий, Мария Пашковская, Ротштадт, Петрусиньский с рассеченным саблей полушубком и еще несколько хмурых рабочих самых разных возрастов.

— Болеслав! — возбужденно заговорил Петрусиньский. — Войска захватили мосты, и теперь наши колонны отрезаны от правобережья. Как быть?

— Мосты ночью отобьем. А до вечера ни в Прагу, ни в Таргувек не прорваться. Сейчас твои ребята должны задержать казаков и драгун. Разбивайте фонари, перекрывайте улицы — нельзя дать казакам возможность рассеять рабочие колонны. Надо организованно отойти.

Толпа поредела. В отдалении беспрерывно хлопали выстрелы, ухали взрывы.

Из-за угла вылетела пролетка. Из нее выскочила тоненькая молодая женщина. «Кошутская», — узнал Кон.

— Болеслав! — крикнула она. — Тадеуш арестован казачьим патрулем.

— Куда его отправили? — спросил Кон.

— В Ратушу.

— Там, в подвале, следственное отделение. Значит, за жизнь

его можно не беспоконться. Если казаки сразу не расстреляли, а сдали в следственное отделение, то там сейчас о нем забудут на несколько дней. А тем временем мы что-нибудь придумаем.

— А как быть с вами? — спросила Кошутская.

— Со мной?

— Товарищи послали меня передать, чтобы вы вернулись в Варшавский комитет…

— Теперь? Зачем?

— Идет заседание. Вам, вероятно, будет поручено на время ареста Тадеуша возглавлять Варшавский комитет…

— Нет, — ответил Кон. — Вы сами видите, сейчас не до комитетских заседаний, сейчас самое время строить баррикады.

— Но что передать Комитету?

— Передайте, что если они там забудут восставших рабочих, то победивший пролетариат забудет Комитет. Возвращайтесь, товарищ Кошутская. — Феликс подал Марии руку.

— Я остаюсь с вами. Поручите мне какое-нибудь дело, Болеслав.

— Хорошо. Будете готовить пункты помощи раненым. Есть у вас какие-нибудь предложения на этот счет?

— У меня свои люди в больницах Святого Лазаря и Святого Духа. Они нам не откажут в помощи.

Феликс имел все основания быть довольным тем, что у него появилась такая помощница. Мария Кошутская, молодая женщина, только что вернулась из архангельской ссылки, но северная ссылка не только не охладила ее революционный пыл, а, напротив, усилила в ней жажду борьбы. Такие люди Феликсу всегда были по душе. Он уже чувствовал, что Мария его верный союзник в предстоящих схватках с правым руководством партии.

Баррикады возводились так, чтобы можно было в каждом районе держать круговую оборону. Для организации партизанской войны в городе, как бы ни хотелось Феликсу, у рабочих не было ни оружия, ни боевого опыта. Но баррикады сооружались отлично. Перевернутые трамваи, столы, парты, бочки из подвалов, мешки с песком.

На телеграфном столбе развевался красный флаг.

Ночью удалось разгромить охрану мостов, и рабочие дружины Таргувека и Праги прорвались в свои предместья.

То и дело поступали сообщения с рабочих окраин, где также были сооружены баррикады и где теперь разгорались сражения с войсками. В солдат стреляли со всех сторон, из-за баррикад, из окон домов, с крыш, и солдаты, обозленные неудачами, палили без разбору в окна, по случайным прохожим…

К утру стрельба стихла. Наступал ясный морозный день. Взрывы прекратились. Только клубы черного дыма в разных концах города рвались в темно-синее небо, снизу подсвеченное заревом пожаров.

В тесной и низкой комнатке народной школы защитники баррикад посменно подкреплялись завтраком. Жены дружинников приносили в огромных тазах бигос — тушеную капусту с мясом и колбасой, в мешках — халы — плетеные булочные изделия. Постарались из последнею! Тут же где-то рядом жарили колбасу с луком, яичницу с салом. Ели, шутили:

— Вот бы барона Нолькена сюда!..

— Польская еда — не для немецкого брюха. Молодой рабочий, почти совсем парнишка, уплетая пересоленную селедку, приговаривал:

— Лимонадику бы…

— А мороженого шоколадного не потребуешь? — спрашивал его серьезно усатый и лысый дядя.

Но долго рассиживаться некогда — другие дружинники очереди ждут, притаившись в рассветных сумерках за мешками с песком. Поднимаются, быстро уходят.

В распахнутую дверь влетела возвышенно-яростная мелодия военного марша. Казалось, духовой оркестр играл прямо за стеной.

Вбежала Пашковская.

— Товарищи! В город со всех сторон вступают войска, С развернутыми знаменами. Под музыку духовых оркестров. Что же это такое? С кем они собираются воевать? С собственным народом?

— Спокойно, без паники, — Феликс вышел из-за стола и направился к баррикаде. Рабочие поворачивали к ному головы из-за укрытий, ждали. Следом вышел Ротштадт. — До сих пор мы успешно отбивались без особых потерь, но теперь положение может измениться. В город вошли свежие полки. Предстоит неравное сражение с хорошо обученным военному искусству войском. Его исход никто не может предсказать. Я лично верю в одно: что бы ни случилось сейчас, умрем ли мы или останемся живы в эти дни… в конечном счете… мы победим! Выбирайте, товарищи! Семейные могут с чистой совестью уйти по домам. Вы сделали все, что могли сделать. Здесь же останутся те, кто намерен сражаться, пока будут силы держать в руках оружие.

Он отошел под арку дома. Через несколько минут рядом появилась Кошутская.

— Ну что? — спросил Кон. — Ушел кто-нибудь?

— Никто. Все остались на своих местах.

И как раз в это время неподалеку, должно быть в предместье, ударила пушка, за ней другая, третья… Потом загремели винтовочные залпы.

Оборонять баррикады от регулярных войск, вооруженных пушками и винтовками, одними револьверами и самодельными бомбами — дело безнадежное. К тому же вскоре появился связной, сообщивший о том, что кончаются все собранные накануне жестянки и банки, употребляемые в качестве оболочек для бомб. Феликс направил дружинников для захвата заводских цехов. Вскоре там начали резать трубы и начинять их взрывчаткой.

А через полчаса Феликс Кон, Ян Стружецкий и прибывшие из Варшавского комитета Буйно, Рудницкий, К-венский, Лапиньский, Цишевский сделали несколько отчаянных попыток склонить на сторону восставших солдат. Кое-где удалось распропагандировать охрану военных складов: оружие немедленно передали защитникам баррикад. К концу дня у дружинников появились и винтовки и патроны к ним. Теперь можно было организовать более стойкую оборону рабочих предместий.

Пришлось посчитать и первые потери. Солдаты и казаки арестовали несколько десятков дружинников, которые всякий раз оказывали жестокое сопротивление, убивая и раня в перестрелке солдат, казаков и полицейских. Всем им грозила смертная казнь, и она, конечно, свершится, если не удастся организовать побег. Но в суматохе только об этом думать было нельзя.

На следующий день начался планомерный, неторопливый обстрел баррикад. С часу на час можно было ждать решительного штурма.

Но войска, судя по всему, со штурмом не спешили; видимо, подготовка велась очень тщательно. И боевые дружины не теряли это время даром: надо было как следует укрепиться. И действительно, когда начались атаки, все они одна за другой были отбиты.

На третью ночь, расстреляв все патроны, израсходовав все бомбы, оставшиеся в живых дружинники рассеялись по своим районам, скрывшись в подполье…

С горечью и досадой Феликс думал в эти дни о боевой организации своей партии, возглавляемой Пилсудским. Она, по сути дела, осталась в стороне, бросив восставших рабочих на произвол судьбы.

Размышляя о причинах неудач вооруженного выступления рабочих в январе, Феликс Кон выделил две из них как наиболее существенные: отсутствие взаимодействия с войсками, выступившими на стороне правительственной власти, и

бездеятельность правого руководства ППС, находившегося под влиянием Пилсудского: Енджеевский, Йодко сделали вид, что ничего особенного не произошло. Даже Александр Дембский и Бронислав Славиньский оказались в числе ближайших соратников Зюка[4] и не посмели без его одобрения сделать и шага…

Представители левого крыла — Феликс Закс, Ян Стружецкий, Максимилиан Хорвиц — были в меньшинстве и не смогли заметно повлиять на Центральный рабочий комитет.

Надо было, думал Кон, немедленно решать две задачи: налаживать связь с полками, расквартированными в Варшаве, и добиваться смены партийного руководства.

VII съезд ППС был созван по инициативе молодых варшавских активистов, поддерживающих Кона в его борьбе с правым руководством партии. В состав нового Центрального рабочего комитета вошло несколько левых деятелей: Феликс Закс, Ян Руткович, Максимилиан Хорвиц, Адам Буйно.

Но остался в ЦРК и Пилсудский, хотя его сторонники были в меньшинстве. Теперь в предвидении ближайших революционных схваток необходимо было наладить контакт с гарнизоном, чтобы иметь в нем союзника или хотя бы нейтрализовать его действия.

Феликс Кон понимал все трудности на этом пути. Буйно, которому ЦРК поручил руководить работой среди военных, пошел по неверному пути. Вместо агитационной работы в солдатских массах он сблизился с эсеровски настроенным офицерством и, по существу, стал действовать их методами.

Излагая эти соображения на заседании ЦРК, Феликс знал, что именно ему и поручат налаживать связь с войсками. Так и получилось.

— Ты, Болеслав, — сказали ему, — хорошо знаешь русский, кому как не тебе идти разговаривать с русскими солдатами. Правда, в Варшаве сейчас есть части, сформированные из татар, но татарского языка все равно никто из нас не знает.

На заседании редколлегии газеты «Ежедневный курьер», редактировать которую ЦРК поручил Феликсу, он предложил начать выпуск «Солдатского листка». Людвик Кшивицкий не удержался, чтобы не сострить:

— Листок? А почему бы и не листок? Идея насколько превосходная, настолько и невыполнимая. Чем мы будем его

заполнять? Кто из нас хоть что-нибудь соображает по части солдатских интересов?

— Солдат — это простой русский крестьянин, — сказал Кон. — А судьба русского крестьянина ничем не лучше судьбы крестьянина-поляка. Солдатам надо писать о нужде и безысходности крестьянской жизни. Это им ближе всего и понятнее.

— Великолепно! — воскликнул Познер. — Но каким образом мы будем распространять листок? Ведь не пойдем же мы с ним по казармам?

— Не пойдем! Но рядом с казармами откроем продуктовые и мелочные лавки. Солдаты повалят за покупками, а мы вместо оберточной бумаги пустим «Солдатский листок»…

Неширокая квадратная площадь перед двухэтажным из красного кирпича зданием всегда полна колготящимся народом. В пестрой толпе густо белели околыши фуражек, пузырились на ветру гимнастерки: солдаты то и дело входили в широко распахнутые двустворчатые двери лавки. За прилавком русоволосая красавица бойко подавала мыло, спички, нитки, сапожную ваксу, одеколон…

В другом отделе можно было купить орехи, конфеты, печенье, чай, халы, шоколад, лимонад, вишневку Бачевского…

Благообразный господин с черной подстриженной бородой долго и заинтересованно рассматривал витрину; потом, войдя в помещение, обвел прищуренными синими глазами полки, заваленные всевозможным товаром, и, кинув многозначительный взгляд на хозяйку, ушел. Видно, что ему понравились и хозяйка лавки, и оживленная распродажа, хотя, надо полагать, и не приносящая заметных барышей.

Шагов за двести от площади из-за угла на не спеша идущего господина надвинулся солдатский патруль. Молоденький круглолицый прапорщик с тонкими черными усиками коротко приказал:

— Обыскать!

Пока унтер-офицер и два солдата первого года службы выворачивали у подозрительного господина карманы, прапорщик загляделся на проходившую гимназистку со смуглыми щеками и невольно сделал несколько шагов вперед. Между тем плешивый унтер вытащил из кармана задержанного три экземпляра «Солдатского листка», так хорошо ему знакомого по коллективным чтениям перед отбоем, и, оглянувшись на глазеющего вслед гимназистке прапорщика, сказал тихо:

— А-а, это нам! — И, сунув листки за голенище, строго зыркнул на солдат-первогодков и зашептал: — Идите с богом,

господин хороший! А мы за ваше здоровье при случае пропустим по чарочке.

После этой встречи с патрулем Феликс Кон мог сколько угодно бродить вокруг казарм — его уже знали в лицо и в случае опасности предостерегали.

Так возникшая вдруг идея дала неожиданно серьезные результаты. «Солдатский листок» очень быстро стал популярным изданием. Каждый вечер кто-нибудь из грамотных читал статьи о притеснениях крестьян, о необходимости бороться за свои права. А если в казарме появлялся дежурный офицер, «листок» тут же тщательно прятали.

Кон понимал: рано или поздно они встретятся с Юзефом Пилсудским. До Пилсудского, несомненно, доходили те нелестные характеристики, которыми награждал его Кон, обвиняя в диктаторских замашках. Но Пилсудский хранил молчание, ни разу не ответив ни на одну реплику. Проявляя такое весьма не свойственное ему терпение и выдержку, он, очевидно, надеялся в конце концов склонить Кона на свою сторону.

Пилсудский хорошо знал боевое прошлое Кона. Но он знал прошлое и товарищей Кона по «Пролетариату» — Йодко, Енджеевского, Поплавского, Дембского и Славиньского. А ведь они в восторге от Пилсудского.

Как-то в редакцию «Ежедневного курьера», который редактировал Феликс Кон, вошел высокий, стройный, элегантно одетый брюнет со сросшимися на переносице бровями, издали поклонился членам редколлегии и сел в сторонке. Кон читал свой проект воззвания к солдатам. Познер, как всегда, шумно размахивая длинными руками, заявил, что у него написан более приемлемый проект.

— Ну что ж, — сказал Феликс. — Зачитайте, мы послушаем, сообща решим, и какой лучше, тот и напечатаем.

Познер прочитал — проект явно не годился. Призывы и лозунги… Такое воззвание никого, кроме его автора, взволновать не сможет. Феликс, хорошо знавший солдатские массы еще по сибирской своей жизни, это понимал. Прямо и высказал свое мнение.

Но тут вдруг подал голос вошедший недавно брюнет:

— А по-моему, — сказал он, поднимаясь и подходя к столу, вокруг которого сидели члены редколлегии, — оба проекта хороши, и оба их надо напечатать.

Это было настолько абсурдно, что Кон в первую минуту не знал, что сказать. Однако другие члены редколлегии — Познер, Домбровский и Гродецкий — сразу же с подозрительной поспешностью согласились. Они заговорили, перебивая друг

друга:

— Да, это самое разумное решение!

— Каждый проект имеет свой адрес…

— Солдаты тоже люди, и, как и все люди, они — разные. Оба проекта найдут своего читателя…

Только Людвик Кшивицкий отрицательно покачал головой. Но ничего не сказал. Феликса насторожило поведение коллег. Он понял, что вошедший — не обычный корреспондент или посетитель, которые в редакцию ежедневно приходят десятками. Стало ясно, что это человек, которого здесь знают все, кроме него, Кона. Брюнет подошел к Феликсу, подал крупную сильную руку и сказал:

— Я Зюк. Нам надо с вами поговорить. — Обернувшись к остальным членам редколлегии, добавил: — Остальные могут быть свободными.

Все молча поднялись и вышли.

Пилсудский резким движением придвинул к себе стул, сел и некоторое время смотрел на Феликса.

— Ну, дорогой товарищ Болеслав, как теперь себя чувствуете, после всего пережитого? — спросил он с выражением заботливой участливости. — Не нуждаетесь ли в отдыхе? В лечении?

— Благодарю вас, — сказал Кон. — Но дело в том, что об отдыхе революционеров заботится самодержавное правительство. Вон какие замки выстроили. Павиак, Цитадель, Бутырка, Александровский централ… Вот там нам и положено отдыхать после трудов.

Пилсудский улыбнулся.

— Вы правы. Тогда, значит, работать? Впрочем, люди нашего поколения кажутся молодежи беспросветными консерваторами. К руководству рвутся молодые. А это неизбежно поведет к ошибкам, провалам, неудачам в революционной работе. Нельзя им давать пока полной власти. Они вот обижаются, недовольны, кричат, что мы им ставим препоны, но мы-то с вами понимаем, что рано им вершить судьбу партии, рано…

— Но почему же, — возразил Кон. — Возьмите русских революционеров. Там в руководстве — молодые. Я со многими из них знаком, их возраст не больше тридцати лет. А между тем действуют толково, умело, инициативно.

Пилсудский вздохнул:

— Увлекаетесь, Болеслав. И это еще раз убеждает меня в том, что вам надо передохнуть после сибирских краев, сориентироваться, понять обстановку. Знаете что, поезжайте-ка в Закопане. Там в санатории «Братская помощь» у меня есть хороший знакомый. Товарищ Жухонь. Он главный врач —

лечение будет необременительным. А через полгодика опять вернетесь к партийной работе крепким, здоровым человеком. Вид-то у вас все-таки очень усталый.

Феликс хотел было снова возразить, но Пилсудский, подняв широкую ладонь, прервал разговор: дескать, довольно. А потом сказал:

— У вас в газете часто печатает статьи товарищ Красный. Он социал-демократ. Статьи его вносят смятение и разброд в ряды нашей партии. Вы, как главный наш редактор, в этом ничего предосудительного не усматриваете?

— Абсолютно. Обе наши партии социалистические. Обе рабочие. Открытая полемика поможет найти точки соприкосновения.

— А нужно ли нам это соприкосновенпе?

— Но как же иначе! Ведь мы же руководим единым революционным движением.

— Но по-разному. С разных точек зрения. В этом-то все и дело. Впрочем, поговорим еще, время будет. Я в Варшаву надолго. До скорых встреч! — Пилсудский дружески пожал Феликсу руку и быстро вышел.

«Да, — подумал Феликс, глядя ему вслед, — в обаянии не откажешь. В уме — тоже. Так что борьба предстоит не такая уж легкая, как казалось, когда приглядывался к нему издали».

С утра Первого мая Феликс Кон дежурил в штабе по подготовке демонстрации, куда стекалась вся информация. Прекратил работу металлический завод Ортвейна на улице Злотой… Строятся в колонну рабочие и конторщики арматурного завода на Сенной… Оставили цехи рабочие ковровой фабрики на Маршалковской… Пришло сообщение из Пруткова: одновременно объявили забастовку рабочие железнодорожных мастерских, металлического завода и карандашной фабрики Маевского…

Варшава постепенно замирала. К забастовке рабочих присоединились артисты всех без исключения театров, журналисты и типографские работники всех газет; не вышли на работу приказчики магазинов; не выехал на улицу ни один извозчик…

В раскрытые окна доносились вспыхивающие то в одном, то в другом месте песни. Разливалась «Варшавянка», слышались «Кандальная мазурка» Людвика Варыньского, «Марсельеза»… По предварительным подсчетам, вышло уже двадцать тысяч рабочих.

И вдруг вбежал запыхавшийся Буйно:

— Эсдеки устраивают свою демонстрацию…

— Где?

— На улице Твардой.

Феликс поднялся из-за стола, на котором беспрерывно звонил телефон, взял шляпу:

— Необходимо немедленно соединиться. Нельзя действовать разобщенно.

Познер оторвался от окна, в которое рассматривал паливающийся шумом движения человеческих масс город, и замахал руками:

— Они небось, к нам не присоединились. Почему же мы должны к ним присоединяться?! — от возмущения юлос его срывался на визг.

— Я, — спокойно ответил Кон, — приглашаю тебя не на праздничный обед, а в революцию. Не будем церемониться. Пошли, Адам! — обернулся к Буйно и спросил: — Где основные силы казаков и драгун?

— В Краковском предместье, у памятника Мицкевичу.

— Значит, удалось дезинформировать власти. Хорошо. Колонны направим по Уяздовским Аллеям в сторону Иерусалимских Аллей, там и соединимся с демонстрацией эсдеков.

— А как использовать боевую дружину? — спросил Буйпо.

— В Уяздовские Аллеи. Как только двинется демонстрация, казаков непременно кинут туда. Им преградит путь именно боевая дружина…

— От Фелека есть какие-нибудь вести? — спросил Буйно о своем друге Юзофе Цишевском, которого ЦРК назначил ответственным за работу в деревне.

— Фелек действует молодцом. Крестьяне всех окрестных уездов присоединились к забастовке рабочих. — Эти слова Феликс произносил, уже спускаясь по лестнице.

События на улицах развивались с невероятной быстротой. Уже к полудню произошло первое столкновение с казаками, попытавшимися преградить движение демонстрантов с Уяздовских Аллей на Иерусалимские. Драгуны врезались в колонну, хлестали наотмашь нагайками, топтали людей лошадьми, сверкали обнаженными саблями.

Перед строем гарцевал на высокой белой лошади граф Пшездецкий.

— Целься как следует, — кричал он. — Кто пульнет в воздух, застрелю собственноручно. Пли! — Грохнул залп.

В этот момент подоспели Кон и Буйно с боевой дружиной. Одна из брошенных второпях бомб взорвалась прямо в середине казачьей лавы, вырвавшейся с улицы Желязной и ринувшейся на выручку окруженных демонстрантами драгун. Несколько казаков было убито наповал. Все смешалось, началась беспорядочная

стрельба: казаки и драгуны стреляли из карабинов, дружинники — из револьверов, грохали взрывы самодельных бомб…

И вдруг среди улицы появились цепи солдат. Стрельба усилилась. Полицейские хватали демонстрантов и впихивали в арестантские фургоны. Солдаты штыками приканчивали раненых рабочих…

Буйно потянул Феликса к пролому в заборе, ограждающем какое-то недостроенное здание. Но Феликс отмахнулся, и Буйно скрылся один. Феликс помогал рабочим уносить раненых с улицы в подъезды, за заборы, где их подхватывали чьи-то руки и уносили куда-то, чтобы спрятать.

Так продолжалось несколько минут, а может и часов — Феликс не замечал времени. И вот кто-то схватил его за плечо цепкой и сильной рукой:

— Помогите мне унести этого человека…

Голос знакомый. Феликс поднял глаза: перед ним стоял Белопольский:

— Александр…

Подхватив за плечи и за ноги окровавленного молодого рабочего, они кинулись к лазу. Белопольский шел впереди быстро и уверенно, видно было, что знал место. На небольшом заросшем кустарником пустыре темнел дверной проем какого-то сарая — туда они и внесли стонавшего раненого, бережно положили его рядом с другими.

Шум на улице стихал, толпы рассеивались, только цокали еще по булыжной мостовой подковы — это проносились казаки и драгуны. Высовываться на улицу было бессмысленно, и оба они распрямились, тяжело дыша… лица у обоих были в поту и в пыли.

— Как же с ранеными?! — произнес Кон.

— Их отсюда увозят в больницу Младенца Иисуса. Там у нас свои люди, они помогут. А потом постараемся их выкрасть и спрятать…

На город опускались золотые, как всегда в эту пору весны, варшавские сумерки. В бледно-синем небе уже засверкали звезды. Со стороны предместья Желибож всходил ранний, в серебряной чеканке, месяц — такой молодой и яркий, как будто только что с Монетного двора.

Операция по освобождению приговоренных к смертной казни была осуществлена быстро, почти молниеносно. Стало известно, что новый генерал-губернатор утвердил смертные приговоры десяти подсудимым, и Кон явился в канцелярию тюрьмы Павиак с документами на имя родственника Максимилиана Хорвица (Вита). Вит был арестован по пустяковому делу, и потому на свидания с ним не было запрета.

Странные чувства испытал Феликс, сам разыскиваемый полицией, переступая порог тюрьмы, куда он попал два десятка лет назад.

В холодном, грязном помещении, склонившись над бумагами, что-то строчили чиновники с непроницаемыми физиономиями. Сновали взад-вперед надзиратели, приводя и уводя заключенных.

Предъявил документы, разрешающие свидание, и смотритель приказал привести заключенного.

Разговаривали, как и положено, через перегородку. Надзиратель, получивший от Юлии, сестры Вита, солидные чаевые, придумал какую-то надобность и на время удалился. Вит сообщил:

— К смерти приговорены десять человек. Вот список. На казнь их повезут в Цитадель. Этим обстоятельством и надо воспользоваться. Только ни дня промедления, Указание о приведении приговора в исполнение может появиться в любой момент. Придумай что-нибудь, Болеслав…

План возник мгновенно: опередить жандармов! Задача состояла в том, чтобы добыть бумагу за подписью обер-полицмейстера Майера, приказывающую тюремной администрации сдать осужденных явившейся полицейской команде для препровождения в Цитадель.

— Во всем этом, — заключил свой доклад на заседании ЦРК Кон, — нот ничего фантастического, за исключением одного момента — сроков. Сроки должны быть фантастически предельными.

Председательствовал на заседании только что приехавший из Кракова Закс, носящий партийную кличку Ян. Феликс с ним был хорошо знаком еще с апреля. Товарищ Ян вызывал у него большое уважение глубоким знанием марксистского учения.

— Что за люди эти смертники? — спросил Закс. — Вит их хорошо знает?

— Я их тоже знаю, — сказал Кон.

— За что они приговорены к казни?

— За участие в восстании. Были захвачены с оружием в руках. Обвинения самые различные. Убивали шпионов, полицейских инспекторов, дрались на баррикадах…

— Имейте в виду, Болеслав, — озабоченно сказал Лапиньский. — Варшава на военном положении. В случае неудачи… вся ваша группа освобождения прямым ходом угодит на виселицу. И вы в первую очередь.

— Виселица передо мной маячила еще двадцать лет назад, — буркнул Феликс и обернулся к Адаму Буйно.

Казалось бы, случай для боевика как нельзя более

подходящий. Но Буйно сидел безучастно и смотрел в затягиваемое сумерками окно. На стекло косо падали крупные капли дождя и стекали вниз медленными слезами. Поддержку Кон получил от человека, от которого меньше всего ее ожидал. Слова попросила Зофья Познер:

— Я согласна с Болеславом, — сказала она, ни на кого не глядя, — все это не так фантастично, как может показаться на первый взгляд.

— Во всяком случае надо попытаться, — откликнулся Закс.

— Вот пусть и попытаются, — сказал Лапиньский. — Предлагаю возложить ответственность за операцию на товарища Болеслава и товарища Анну, — он назвал Зофью Познер ее партийной кличкой, — и отпустить на это необходимые средства.

— Я согласна, — сказала Зофья.

— И пусть они нам время от времени докладывают о ходе операции, — добавил Лапиньский…

— В случае неудачи, — сказал Феликс Зофье, когда они вышли на погруженную в сырые потемки улицу, — мы дадим Скалону возможность поставить вместо десяти двадцать виселиц. Так что решайте, товарищ Анна. Мне кажется, что вам бы следовало уклониться от этой операции.

Зофья повернула лицо к нему, по выражения ее глаз в темноте Феликс не разглядел.

— А уж это предоставьте мне — распорядиться своей жизнью.

— Разумеется. Я просто хотел напомнить вам, что двери тюрьмы могут захлопнуться за участниками операции навсегда.

Несколько минут шли молча. Обоих тревожил один и тот же вопрос: где взять исходящий номер бумаги за подписью обер-полицмейстера Майера? Пока ничего разумного в голову не приходило. Решили оставить это дело на потом.

— Смотрителя тюрьмы, — как бы продолжая раздумья вслух, сказала Зофья, — надо предупредить по телефону за час, не раньше.

— А успеют они подготовить заключенных к отправке?

— Раньше нельзя, чтобы не пришло в голову справиться у Майера по телефону.

— Да, это существенно. А на роль жандармского ротмистра нужен бывший офицер. Это несомненно.

— У меня есть такой на примете, — сказала не очень уверенно Зофья. — Можно заохать к нему прямо сейчас.

Взяли извозчика, поехали. Бывший офицер, когда ему рассказали, что от него нужно, ответил не раздумывая:

— Что вы! Это же несомненный провал. А я кончать самоубийством не собираюсь. Ни за что.

Решили обратиться к членам партии. Товарищ Юр, человек с военной выправкой, воскликнул:

— Что вы говорите! Десять человек и каждому верная смерть? Вот что делают мерзавцы!

— Их можно спасти. Вы согласны принять участие в спасении?

— Пойду! На все пойду! Ах, мерзавцы!

— А как с русским языком?

— Плоховато.

— Тогда вы будете иностранцем — «бароном фон Будбергом».

Роль «старшего конвойного» согласился взять на себя один из активистов с партийной кличкой Марцелий.

«Жандармскую» команду набирали в предместьях. Кон заходил к знакомым рабочим, объяснял суть дела:

— Надо выручать. Вы согласны?

Согласились все десять намеченных Коном рабочих. Уже за полночь подняли с постели Адама Буйно.

— Понимаешь, Адам, — говорил Феликс, — без твоих военных не обойтись. Команду набрали нз рабочих. Никто из них в солдатах не был. Надо срочно их вымуштровать. Дай нам хорошего инструктора.

— Завтра будет.

И уже на другой день вечером в специальной квартире начались занятия.

А тем временем паспортное бюро Марии Пашковской изготовило бумагу эа подписью Майера. Заказали десять полицейских мундиров — их изготовить было легче, чем жандармские, да и выправка у полицейских не такая яростная, как у жандармов.

Зофья нашла в Иерусалимских Аллеях квартиру — с проходным двором, на первом этаже. В этой квартире, хозяева которой были своими людьми для Зофьи, велась вся подготовка к операции. Кроме того, было подготовлено еще несколько конспиративных квартир, где надлежало укрыть освобожденных смертников.

— Давайте продумаем весь обратный путь из тюрьмы, — предложил Феликс за день до операции. — Кучер-то будет тюремный.

— Пустое, — отозвался Марцелий. — Двадцать человек да не справимся с одним кучером?

— А куда поедете?

— Разумеется, за город.

— Но куда?

Минутное молчание, которое прервала Зофья, нервно

курившая папиросу за папиросой.

— За городом живет один мой знакомый. Товарищ Стефан. Около его хутора тянется какой-то длинный и высокий забор. Надо его немедленно обследовать. Болеслав, приглашаю вас на прогулку.

— С удовольствием. А пока… нас с вами, Зофья, и товарища Марцелия приглашают на заседание ЦРК.

Заседание было коротким и тревожно-торжественным.

Кон сказал:

— В случае удачи… надо будет от имени ЦРК выпустить воззвание к рабочим… с извещением об освобождении смертников. Я уж и заголовок придумал — «Наша амнистия».

— Не увлеклись ли вы? — спросил Ян.

— Как будто нет.

— А что скажет товарищ Марцелий?

— Надо, чтобы Болеслав перед отъездом в тюрьму выступил перед рабочими. Пусть скажет им, что в случае неудачи семьи их не будут оставлены на произвол судьбы. О них позаботится партия, — сказал Марцелий.

— Когда планируете операцию? — спросил Ян.

— Завтра в ночь.

— Правильно. Послезавтра открытие Государственной думы…

— Да, это было бы ловко, — возбужденно сказала Зофья, — если бы мы к этому времени успели.

В сумерках все участники операции вышли во двор, построились в две шеренги. Офицер-инструктор, присланный Буйно для муштровки команды, прошелся перед строем и, потирая руки, как игрок перед карточной игрой, хохотнул:

— Выправка — что надо. Только вот рожи подгуляли. Разрешите сдать дела? — обратился он к Феликсу.

— Да, вы свободны. Выражаю вам благодарность от имени Центрального рабочего комитета.

Офицер козырнул, четко повернулся, щелкнув каблуками, и отошел в сторону.

— Товарищи! — негромко заговорил Кон, обращаясь к рабочим. — Центральный рабочий комитет партии горячо приветствует вас перед выполнением суровой боевой задачи и желает вам успеха! Мы все уверены в успехе, ЦРК тоже считает операцию вполне осуществимой. Но вместо с тем он уполномочил меня заявить вам от его имени, что как бы ни обернулись дела, попечение о ваших семьях партия берет на себя. Вы выполняете свой долг перед партией — партия выполнит свой долг по

отношению к вам. Я, лично наблюдавший все время за приготовлениями, не колеблясь заявляю: успех несомненен…

Шеренги сломались. Рабочие наперебой пожимали Феликсу руки. Подошел и офицер-инструктор, взволнованный и растроганный, он тоже молча пожал всем руки.

Рабочие, которым предстояло бросить свою жизнь на карту, всё повторяли:

— Ничего! Справимся!

— Освободим!

— Вот будет радость!

В семь часов вечера все в последний раз собрались в квартире на Иерусалимских Аллеях. Приехал и офицер-инструктор, хотя миссия его уже закончилась. Сидели тихо, разговор не клеился. Время тянулось мучительно долго. Феликс то и дело посматривал па часы.

— Еще только восемь…

— Еще только девять…

Но вот стрелки подошли к десяти. Феликс поднялся, сказал:

— Ну, товарищи… Готовьтесь. Иду телефонировать смотрителю. Не позже, чем через полчаса, вернусь.

Вот и тайная квартира с телефоном. Феликс откашливается, снимает трубку, просит соединить с тюрьмой Павнак. Мучительно долго не удается соединиться. Наконец на другом конце провода телефон включился.

— Кто у телефона? — спрашивает Кон якобы усталым голосом.

— Смотритель подследственной тюрьмы…

— Говорит обер-полицмейстер Майер.

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Не позже как через час… к вам явится жандармский ротмистр фон Будберг… с моим предписанием. К этому времени должны быть подготовлены… к отправке в Десятый павильон Варшавской цитадели… следующие заключенные… Запишите точно фамилии.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

Феликс медленно, иногда повторяя фамилию по нескольку раз, диктует.

— Записали?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Прочтите.

Смотритель перечитывает фамилии десяти смертников. Все точно.

— Действуйте без промедления. К приходу команды все должно быть готово. Приготовьте тюремную карету. Конвоя не

надо. Ротмистр приведет свой конвой. Все ясно?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Чтобы задержки не было.

— Слушаюсь! Все будет исполнено в точности!

Феликс бросает трубку, скатывается по лестнице и летит на Иерусалимскую.

— Все, товарищи! Вас ждут.

«Фон Будберг» хорошо поставленным голосом, с немецким акцептом, командует (он уже входит в роль):

— Строить команду!

Марцелий, на мгновение приняв стойку «смирно», в свою очередь командует:

— Выходи строиться! Живо! Живо! Построились, Марцелий докладывает:

— Команда построена, ваше высокоблагородие!

«Ротмистр» негромко приказывает:

— Шагом марш!

Пошли. Цок. Цок. Цокают подковки сапог. Над отходящей ко сну Варшавой густо высыпали в высоком темном небе белые осенние звезды. Свет фонарей полосами пронизывает ажурную листву еще не облетевших лип, дубов, ясеней, тянущихся вдоль аллей. Над черной линией крон провалы окон: варшавяне рано укладываются спать. На улицах редко где метнется за угол прохожий.

Чеканя шаг, размеренно-быстро движутся по середине булыжной мостовой. Впереди рубит почти строевой шаг товарищ Юр — он же «ротмистр фон Будберг». За ним, отстав на два шага, — товарищ Марцелий. За старшим команды — в колонне по двое печатают шаги нижние чины.

О чем думают они сейчас? Да и думать-то особенно некогда: вот уже темнеет высокая каменная стена, над которой виднеются два ряда окон тюрьмы под козырьками. Белеют каменные столбы железных ворот, по обе стороны от которых два одноэтажных здания — канцелярия.

У ворот уже ждет старший надзиратель: Юр отдал ему пакет.

Ворота отворились, команда вошла, и за ней снова с лязгом щелкнул замок. У канцелярии увидели тюремную карету с кучером на козлах. Каждый невольно подумал: раскроются ли ворота снова? И когда?

— Быстро смотрителя! — приказал Юр надзирателю.

— Он ждет вас в канцелярии, ваше высокоблагородие…

«Не ловушка ли? — мелькнуло было в голове. — Впрочем…»

Но на размышления времени уже нет. Спокойно вошел в канцелярию:

— Готово?

— Так точно, — немного громче, чем следовало, отвечает смотритель и отдает приказание старшему надзирателю: — Выводи арестованных. — И снова к «ротмистру»: — Его превосходительство уже телефонировал мне…

— Знаю. Пошевеливайтесь.

— Уже выводят.

— Бумага о сдаче арестованных заготовлена?

— Так точно.

— Давайте.

Взял у смотрителя бумагу, вышел. Арестованных построили в коридоре. Стал пересчитывать;

— Один, два, три…

— Прикажете ввести в канцелярию?

— Не надо. Ведите прямо во двор.

Вернулся в канцелярию. В графе «сдал» расписался смотритель, в графе «принял» — «ротмистр фон Будберг».

Простился со смотрителем, вышел во двор.

Арестованных уводили поодиночке.

Все шли покорно. Только один, выйдя во двор, все оглядывался, искал щели. Старший команды — Марцелий — схватил его за шиворот, крикнул:

— Ну-ну, смотри у меня!

Подошли смотритель тюрьмы и «фон Будберг».

— Буйные есть?

— Есть и буйные.

— Иванов! — голос слегка дрожит от предельного нервного напряжения.

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — подскочивший Марцелий вытягивается в струнку и берет под козырек.

— Пять конвойных внутрь кареты, двое на козлы. Ты и еще двое — сзади.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

— Я поеду вперед и буду ждать у ворот Цитадели.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

— Трогай.

Ворога растворились. Карета выехала с тюремного двора.

Феликс Кон и Зофья, проводив «команду», простились с хозяевами квартиры и тут же уехали на другую, куда должны были стекаться все сведения о ходе операции.

Долго не было никаких известий, наконец в половине первого ночи внизу на лестнице послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась. Вбежал совершенно обессиленный Юр и крикнул с порога:

— Все удалось!

Феликс и Зофья кинулись его обнимать. Юр тут же сбросил ротмистрскую форму, сказал:

— Извините, товарищи, я очень устал. — И ушел. Его, конечно, не задерживали.

Тюремный кучер хорошо знал дорогу к Цитадели. Далеко ехать с ним было нельзя. Когда отъехали от тюрьмы за два квартала, Марцелий крикнул ему, чтобы остановил лошадей.

— Чего там? — недовольно спросил кучер, натягивая вожжи.

— Что-то с колесом.

Кучер слез на мостовую, наклонился к колесу. В этот момент спрыгнувшие с козел «полицейские» связали его и кинули в карету. И только тогда сидевшие внутри рабочие объяснили ничего не понимающим арестованным, что их выкрали из тюрьмы.

Все это заняло несколько минут — не больше. Лошадей погнали за город, к хутору товарища Стефана, который встретил карету у забора и сообщил, что ничего подозрительного в округе нет. Открылись ворота, загнали карету, сняли шинели, переоделись в приличную одежду, хранившуюся у Стефана, и стали прощаться. Марцелий сказал:

— В кармане каждого пальто есть адрес, где каждый из вас дойжен укрыться. Хозяева квартир — железнодорожные рабочие. Когда представится возможность, они отправят вас за границу.

Все, один за другим, разошлись.

Стефан, выполняя задание Зофьи, продолжал наблюдать за развитием событий. Рано утром хозяин дома увидел валявшиеся на земле шинели, погнал коня к околоточному. Тот, не мешкая, доложил приставу. Пристал, в свою очередь, — жандармскому полковнику и, разглядывая шинели, все сокрушался:

— И надо же было этому случиться именно в моем участке!

И вскоре к месту происшествия подлетела тройка. Из пролетки выскочил жандармский полковник. Увидел карету. Крикнул:

— Сорвать замок!

Стражники открыли карету, выволокли оттуда кучера, вынули изо рта его кляп, немного отдышавшись, он все рассказал.

— Ах ты, каналья! — кричал полковник. — В сговоре был! Арестовать!

Тройка, заливаясь бубенцами, полетела в город. Обер-полицмейстер принял полковника тут же.

— Можете не трудиться с докладом, полковник, — сказал Майер не столько с досадой, сколько в смущении. — Я эту новость знаю уже несколько часов…

Дело в том, что смотритель, когда уехала карета с осужденными к смертной казни, вдруг почувствовал какое-то неосознанное беспокойство. Потом, перебирая в уме все мелочи передачи арестантов «ротмистру фон Будбергу», он стал припоминать какие-то детали, которые вроде бы не согласовывались в чем-то, пусть в самых малостях, с привычным ритуалом подобной процедуры.

Смотритель снял телефонную трубку, и, чувствуя, как обмякает его тело, попросил соединить его с их превосходительством господином Майером.

— Простите за беспокойство, ваше превосходительство! Но я считал своим долгом доложить вам, что ваш приказ выполнен в совершенной точности…

— Какой приказ? — спросил Майер, обозленный тем, что его оторвали от ласк обожаемой супруги.

— Об отправке в Цитадель осужденных к смертной казни злоумышленников.

— Да вы рехнулись! — вскричал Майер. — Не смейте отлучаться! Я сейчас буду на месте.

Майер появился через полчаса в окружении целого взвода полицейских чинов.

— Где заключенные? — рявкнул Майер.

— Их увезли…

— Как увезли?

— По вашему приказанию, ваше превосходительство. — Смотритель подал обер-полицмейстеру бумаги.

— Подпись моя, но я не подписывал. Вас провели, как младенца. Пойдете под суд! Да, да, под суд! Арестовать! — крикнул Майер и вылетел из канцелярии тюрьмы…

— Ну вот что, полковник, — медленно проговорил Майор, не глядя на начальника жандармского управления, — если сегодня же беглые не будут пойманы, я не могу ручаться за то, что ваша карьера в этом проклятом городе будет продолжаться так же успешно, как прежде…

«Ну да, — злорадно думал полковник-жандарм, уходя от обер-полицмейстера. — Прошляпил, а теперь хочет свалить с себя вину. Не выйдет. Мое донесение, во всяком случае, придет в Петербург намного раньше, а там посмотрим, кто кого…»

Уже садясь в пролетку, полковник заметил желтовато-белый листок, приклеенный к каменному столбу у ворот особняка. Сверху крупными буквами было напечатано: «Наша амнистия». Листовка. Уже успели отпечатать. Как водится, революционеры объясняют народу мотивы своих действий. Однако когда же успели прилепить? Входя во двор, он этого не видел. Чистая

работа. Ничего не скажешь.

Осень 1905 года не принесла успокоения. Забастовки, вооруженные столкновения, сотрясавшие Польшу с января, теперь вылились во всеобщую забастовку и стачку.

10 ноября царское правительство объявило Королевство Польское на военном положении, И польские рабочие принимают решение: обратиться за помощью к российскому пролетариату. С этой миссией в Петербург отправился Феликс Яковлевич Кон.

Он имел адрес петербургского инженера Александра Венцковского. В прошлом народник, Венцковский еще в 1874 году организовал в Петербурге первый польский социалистический кружок, в котором начал свой путь революционера Людвик Варыньский.

Феликс позвонил. Дверь открылась сразу же: у двери стоял немолодой высокий человек с узким смуглым лицом, в пальто и шляпе. Он куда-то собрался ехать. Присели тут же, в прихожей, не раздеваясь.

— Я вас долго не задержу, — сказал Кон и вкратце объяснил цель своего визита.

— Ну что ж, господин Яновский,[5] — сказал Венцковский. — Я вас сведу с Красиным. Но сегодня Леонида Борисовича в Петербурге нет. Будет только завтра. А пока, если вы не против, я приглашаю вас проехаться со мной в Териоки. Там намечено заседание об отношении к Государственной думе.

— Буду очень признателен. Но я нелегальный. Моя настоящая фамилия Кон.

— Ладно. Я отрекомендую вас корреспондентом…

Приехали в Териоки. В длинном светлом зале — ряды кресел, занятых публикой. На возвышении длинный стол, за которым разместился президиум. Туда пригласили и Венцковского. Он провел с собой Кона. На трибуне ораторствовал моложавый плотный человек в очках, с высоко открытым лбом.

— Павел Николаевич Милюков, — шепнул Феликсу Венцковский.

— Господа! — внушительно говорил Милюков. — Чаяния многих поколений русских революционеров воплощаются в нашей российской действительности. Впервые в истории России появилась возможность легальной деятельности оппозиционных сил. Государственная дума будет плацдармом для дальнейшего наступления на самодержавие. И поэтому в работе Думы мы должны принять самое активное участие.

Феликс наклонился вперед, чуть тронул за рукав председательствовавшего Герценштейна, сказал тихо:

— Прошу дать мне слово для информации о событиях в

Польше.

— Вы что же, прямо из Польши? — спросил Герценштейн, разглядывая Кона сквозь двойные стекла очков с таким видом, как будто Феликс на самом деле прибыл не из Привислинского края, а из-под Мукдена. Видимо, для столичных политиков Польша представлялась бесконечным полем сражения.

— Да, вот только что с поезда.

— Ну и как там?

— Нормально.

— Что нормально?

— Революция развивается нормально, — ответил Феликс, резко поднялся и пошел к трибуне. Из зала на него уставились сотни любопытных глаз. Все сидящие здесь хорошо знали друг друга, и появление незнакомого человека в небрежной помятой одежде, со всклокоченной черно-седой бородой на худом заострившемся лице, с воспаленными синими глазами вызвало живейший интерес.

Поднимаясь на трибуну, Феликс мельком глянул в президиум и увидел, как Герценштейн склонился к Венцковскому, что-то спросил и затем объявил:

— Слово предоставляется господину Яновскому, только что прибывшему из Варшавы. Внимание, господа…

Варшава была у всех на устах — оттуда явственно доносилось эхо рабочих выступлений…

— Господа! — сказал Феликс громко. — Я бы мог вам долго рассказывать о событиях в Польше, но о них вы хорошо знаете из газет. Знаете о митингах на заводах и фабриках, знаете о забастовках и демонстрациях. Так что, господа, наступление на самодержавие, о котором говорил предыдущий оратор, надо вести не в Думе, рассчитанной на обман и ослабление оппозиционного движения, а на улицах, на баррикадах, вместе с пролетарскими массами… Граф Пшездецкий, расстрелявший многотысячную демонстрацию в Варшаве первого мая, не только не испугал польский пролетариат, но, напротив, еще больше усилил его стремление к борьбе с ненавистным самодержавным строем. Июньское вооруженное восстание в Лодзи — вот ответ рабочего класса на выстрелы в Варшаве. Так же как январское выступление рабочих в Варшаве, забастовки в Лодзи и других городах Королевства явились ответом на выстрелы в Петербурге 22 января, в то Кровавое воскресенье…

Феликс остановился, намереваясь сойти с трибуны. Но тут к нему обратился сверкнувший очками Милюков:

— Господин Яновский! — сказал он нравоучительным тоном. — Я внимательно слушал вас и должен заметить, что вы,

судя по вашему тону и воодушевлению, становитесь на революционную почву…

Феликс перегнулся с трибуны в сторону президиума и сказал очень громко:

— Ошибаетесь, господин профессор. Я не становлюсь на революционную почву — я нахожусь на ней вот уже двадцать лет и хочу вас направить на этот же путь.

В зале после напряженного молчания раздался хохот. Милюков смутился и, обернувшись к Вепцковскому, спросил:

— Кто он?

— Польский революционер, но я не вправе сказать вам его настоящее имя без его разрешения.

— Так попросите же у него это разрешение…

Вскоре Кон встретился с Красиным, которого хорошо знал еще по Иркутску:

— Какую партию вы представляете здесь, Феликс? — мягко улыбнулся Красин. Густые брови Леонида Борисовича приподнялись, наморщив широкий, перерезанный поперечной морщиной лоб, а усы, сливающиеся с аккуратно подстриженной бородкой, раздвинулись, обнажили в улыбке редковато поставленные зубы. — Насколько мне известно, официально вы являетесь членом Центрального рабочего комитета социалистической партии, а большая часть вашего рассказа посвящена тому, что делает польская социал-демократия…

— Я представляю здесь польский революционный пролетариат, а не какую-либо политическую партию в отдельности.

— Все ясно, — погасив улыбку, проговорил Красин. — Завтра у нас заседание Совета рабочих депутатов. Вам будет предоставлена возможность выступить.

На заседании Петербургского Совета рабочих депутатов Феликс говорил недолго.

— Я прибыл сюда, чтобы обратиться к русскому народу, а не к правительству. Я прибыл сюда, чтобы сообщить, что поляки в этой борьбе не стремятся к каким-либо отдельным целям. Наши требования являются одновременно требованиями русского народа, мы хотим бороться за эти требования плечом к плечу с российским пролетариатом.

Эти слова собравшиеся в зале представители заводов и фабрик столицы встретили такими громовыми аплодисментами, что потрясенный Феликс на мгновение потерял нить своих мыслей. По тут же овладел собой, голос его под старинными

сводами стал еще могучее, еще призывнее…

Леонид Борисович сказал ему:

— Поздравляю. Миссия ваша увенчалась успехом. Только что Совет рабочих депутатов, по инициативе большевиков, принял решение… призвать пятнадцатого ноября пролетариат Петербурга ко всеобщей политической стачке под лозунгами: «Долой смертную казнь!», «Долой военное положение в Польше и во всей России!»

— Теперь мне надо в Москву, — озабоченно сказал Феликс, — но я там не знаю ни одного конспиративного адреса.

— Я дам вам адрес, через который вы найдете дорогу в Московский Совет. Запоминайте… бульвар Новинский… дом Плевако… Спросить Николая Павловича Шмита. Он вам устроит нужные встречи.

— Пароль какой-нибудь имеется? — спросил Феликс, удивленный тем, что Красин, руководящий боевым центром партии большевиков, направляет его к своему человеку без каких-либо предосторожностей.

— Нет, ничего не нужно, — сказал Красин. — Просто… найдете Николая Павловича и скажете ему, что от Винтера. Это надежнее всяких замысловатых паролей. Николай Павлович, хотя и фабрикант, но человек беспредельно преданный революции. И он знает, если я кого-либо к нему посылаю, то это миссия исключительной важности. А теперь, дорогой мой друг, — сказал Красин, разведя руками, — я хочу попросить вас… рассказать мие о действиях ваших боевиков.

Эта беседа двух старых друзей длилась несколько часов, Красин лишь изредка ставил перед Феликсом те иля иные вопросы, а больше все слушал. А когда Феликс умолк, Леонид Борисович поднялся и, заложив руки в карманы жилета, сказал:

— Наши боевые организации должны поставить перед собой невероятно сложную задачу и прежде всего выработать во всех деталях планы. Надо, чтобы все себе ясно представляли, как захватить восставшим народом крупный город или столицу, как удержать его в своих руках, и держать до тех пор, пока не восстанут другие города. Были такие планы, скажем, у восставших в Лодзи или в Варшаве?

— Нет.

— Вот видите. А ведь это работа большая, требуется прежде всего изучить местные условия. Надо обязательно привлечь военных специалистов. И эту работу нельзя ни в коем случае откладывать. Я чувствую, я всем своим умом понимаю… вооруженные столкновения возникнут в самое ближайшее время, причем в масштабах, значительно превышающих прежние.

— Мне ото тоже ясно, — сказал Феликс убежденно, — потому-то я и явился сюда, чтобы согласовать наши действия.

— Да, да, нужна координация планов вооруженных действий в отдельных местностях, чтобы подготовить условия для выступлений по возможности в нескольких пунктах одновременно…

Из Петербурга, не останавливаясь в Москве, Кон проехал в Николаев, где у него жили жена и дети. Повидавшись с семьей, поспешил в Одессу, живущую под впечатлением восстания на броненосце «Потемкин». Но восстание матросов было подавлено, а в городе бесчинствовали черносотенные погромщики.

В это время докатилось до Одессы известие о всеобщей политической стачке, и Кон, не теряя ни одного часа, отправляется в Москву. Когда он достиг белокаменной, здесь уже гремели последние залпы вооруженного восстания.

Он легко отыскал дом Плевако на Новинском бульваре, узнал у дворника, в какой квартире проживает господин Шмит Николай Павлович, и поднялся по широкой из литого чугуна лестнице. Дверь открыла миловидная тоненькая женщина, из-за плеча которой на Феликса глянули серые умные глаза молодого человека в синей сатиновой косоворотке.

— Мне нужно Николая Павловича, — сказал Феликс.

— Я — Николай Павлович, — молодой человек шагнул к Феликсу, а тоненькая женщина отступила в глубь квартиры.

— Я к вам от Винтера, — сказал Феликс и сразу заметил, как лицо Николая Павловича мгновенно преобразилось: отчужденно-замкнутое прежде, оно вдруг как-то осветилось, впалые бледные щеки порозовели. Феликс опытным взглядом тут же отметил: здоровьем Николай Павлович похвалиться не может. Улыбка у него приятная, но уж слишком явно получалась она какой-то болезненной. Попади такой человек на каторгу или в крепостной каземат — и конец.

Николай Павлович между тем помог Кону раздеться и пригласил в кабинет, обстановку которого составляли широкий дубовый стол, три дубовых же кресла, шкаф с книгами и диван. Кабинет, как и вся квартира из трех комнат и небольшой гостиной, вызвал у Феликса невольное удивление. Шмит это заметил:

— Да, живу так, как мне велят мои убежденья. Дворец, в котором жил покойный батюшка, я, вступив в наследство, продал, а деньги вложил в дело. Открыл столовую для рабочих, библиотеку с читальным залом…

Феликс с интересом вглядывался в почти юношеское бледное лицо с высоким открытым лбом, с прямым посои, с узким,

немного выдающимся вперед подбородком… и все больше проникался симнатией и доверием. Ну а то, что он фабрикант, так это не было неожиданностью. В Сибири Феликс знал немало коммерсантов и золотопромышленников, которые миллионы жертвовали делу освобождения народа: Сафьянов, Сибиряков, Лыткин. Да и в этой же Москве, по слухам, таких немало. Савва Морозов, Савва Мамонтов. А теперь вот — Шмит.

— Просветительство, благотворительность, — проговорил Феликс. — Это хорошо. А вот как насчет продолжительности рабочего дня у вас на фабрике?

— Рабочий день у нас девять часов.

— Почему же не восемь, как этого требуют рабочие по всей империи?

— Промышленники не допустили. Меня на совещание вызвали и чуть живым не съели. Ты, дескать, разоряешь нас! Глядя на тебя, и наши рабочие бунтуют!

— Ну, а вы, Николай Павлович, как им отвечали?

— Я-то? — на лице Шмита снова появилась улыбка. — А я их крыл их же капиталистическими доводами. На укороченном рабочем дне, говорю, с повышенной зарплатой… рабочие лучше, добросовестней работают, продукция лучшего качества, а стало быть, и прибыль несравнимо выше!

— Вняли?

— Где там!

— А прибыль в самом деле выше?

— Конечно.

— И как же вы ею распорядились?

— У меня прибылью распоряжаются рабочие, — просто и тихо сказал Шмит.

— Каким же это образом?

— А без всякой выдумки. Проходит месяц — собираются доверенные лица рабочих на совещание, на котором бухгалтерия докладывает о финансовом состоянии Совещание решает, что из прибыли внести на расширение производства, что на улучшение быта рабочих, а что передать…

— В партийную кассу, — подсказал Феликс.

— Совершенно верно. Да вы что, давно не были в белокаменной, что ли, что все расспрашиваете?

— Давно, Николай Павлович. Девятнадцать лет. Да и тогда-то я был здесь впервые, проездом из Варшавы, в Бутырках сидел, дожидаясь отправки на Кару.

— Позвольте! Да уж вы не по делу ли партии «Пролетариат» судились?

— Вот именно.

— Ваша настоящая фамилия?

— Кон.

— Кон! Ну, Феликс Яковлевич! Очень, очень рад с вами познакомиться лично. Много наслышан о вас от товарища Винтера!..

— Да, мы с ним часто встречались в Иркутске, а потом в Красноярске.

— Ну, а сейчас? Сейчас-то вы где же? В Петербурге?

— Нет, я с Украины. А вообще-то больше в Варшаве.

— Варшава у всех нас теперь в сердце! — воскликнул Николай Павлович. — Баррикадные бои в январе, в мае, в июне… восстание в Лодзи… Как все там было?

— Я был все эти дни на баррикадах, Николай Павлович, и расскажу обо всем, что вас интересует.

— А меня, Феликс Яковлевич, интересует все! Рассказывайте обо всем, что видели, что знаете…

Через час Елизавета Павловна, сестра Шмита, с которой они жили вдвоем, без прислуги, принесла чай, печенье. Молча все это поставила на стол и ушла так же неслышно, как и вошла. А Николай Павлович все слушал и слушал…

— Вот видите, Феликс Яковлевич, — сказал он, когда Кон наконец умолк. — Вот видите, все дело решила артиллерия. Если бы не артиллерия, вы смогли бы еще несколько дней продержаться, а там, глядишь, и войска стали бы переходить на вашу сторону.

— Да, перед артиллерией баррикады беспомощны, — подтвердил Феликс с грустью. — Если бы у нас были пушки…

— Вот и я своим боевикам внушал: надо добывать пушки! Без пушек мы обречены. А один известный меньшевик мне все противоречил… В городе, мол, из пушек нельзя стрелять, невинные люди пострадать могут, памятники искусства… А войска, видите, не церемонятся.

— Знакомые разглагольствования, — усмехнулся Кон. — И у нас в Польше таких, с позволения сказать, революционеров достаточно. Как же!

Организатор Московского комитета большевиков в Пресне-Хамовническом районе Доссер был человеком запоминающейся внешности… Удлиненное лицо, обрамленное густой темно-каштановой бородкой, на которую опускались такие же густые усы. Брови тонкие, как бы подчеркивающие пронзительный взгляд слегка утопленных темных глаз. Прямой крупный нос. Широко открытый чистый лоб, гладко зачесанные назад волосы с явно обозначившейся в них проседью. О большом самообладании

свидетельствовал спокойный тон, которым Доссер повествовал Феликсу о событиях, предшествовавших забастовке и восстанию…

— Самое опасное в нашем положении — это то, что мы фактически упустили наиболее благоприятный момент восстания, — говорил Доссер. — Вам, наверно, трудно себе представить, но в том, что войска гарнизона ограничнлись нейтралитетом и были заперты в казармах, виноват сам Московский комитет большевиков. Слишком долго согласовывал каждый шаг с Петербургом.

Доссер и Кон сидели в одноэтажном бревенчатом доме, в так называемой «Малой», а в обычном обиходе «царской кухне» Прохоровской фабрики, которую занимал штаб боевых дружин Пресни.

В затягиваемом морозном инеем окне с двумя поперечными переплетами багрово золотились лучи раннего заката, каким-то чудом просочившиеся в глубину заводского двора. Глядя на эти кровянистые морозные узоры, Феликс на какое-то мгновение задумался, перенесясь мысленно в Варшаву, и даже вздрогнул, когда гулко хлопнула нахолодевшая дверь и в «кухню» вошел среднего роста молодой человек в коротком полушубке, папахе и в валенках. А когда вошедший, кивнув Кону, разделся в углу, то Феликс с удивлением увидел, что волосы у него совершенно белые. «Седой!» — сразу же мелькнула догадка. Вот он, значит, какой, этот товарищ Седой. Следом за Седым вошла молоденькая женщина в полупальто с меховой оторочкой, в меховой же круглой шапочке. Тоже молча скинула полупальто и вопросительно посмотрела на Феликса. Серые глаза, припухлые губы. Светлые волосы туго стянуты в небольшой узел на затылке. «Лет двадцать, — подумал Кон, — не больше».

Феликс поднялся навстречу вошедшим, и Доссер представил его:

— Феликс Яковлевич Кон, наш польский товарищ.

— Седой, — крепко сжал руку Феликса молодой человек; его лицо с острыми черными глазами и черными усиками под прямым небольшим носом выражало спокойную уверенность. Седой был в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы, в темном распахнутом пиджаке, под которым тускло поблескивал широкий ремень.

— Начальник штаба боевых дружин Пресни, — сказал Доссер о Седом. — Зиновий Яковлевич Литвин. А эта девушка — секретарь штаба.

— Наташа, — сказала девушка, подавая Феликсу руку.

— Очень рад познакомиться с вами, друзья, — сказал Кон с некоторой приподнятостью в голосе. — Приехал вот опыта у вас поднабраться, ну и кое-что из своего передать.

Кон тогда еще не знал, что Наташа и грозный командир боевых дружин Пресни, за голову которого московский командующий назначил награду в пять тысяч рублей золотом, любят друг друга и решили, если доживут до конца восстания, непременно пожениться.

— Товарищ Болеслав руководил баррикадными боями в Варшаве… — пояснил Доссер, и все четверо подошли к столу, на котором была разложена схема расположения баррикад Большой Пресни.

— Хвастаться-то нам особенно нечем, товарищ Болеслав, — сказал Седой и поднял глаза на Доссера. — Вот если бы восставший Ростовский полк не упустили да вооружили рабочих, тогда бы мы показали, на что способен русский пролетариат…

— Как ни печально, но надо признать, что Петербург оставил Москву без поддержки. Чем это объяснить, я не знаю, — досказал Доссер.

Пресню обстреливали батареи, сведенные на Кудринской площади, на Ходынском поле, на Новинском бульваре, у Зоологического сада… Но особенно губителен был огонь батарей, установленных на возвышении в конце Девятинского переулка, в том месте, где он выходит на Новинский бульвар. В пятистах метрах от этих батарей стояло на взгорье здание мебельной фабрики Шмита, защищенной баррикадой.

Орудия били вдоль Девятинского переулка прямой наводкой, а пункты наблюдения, установленные у Горбатого моста, корректировали огонь. Снаряды один за другим врезались в фабрику до тех пор, пока от здания, пылавшего весь день гигантским факелом, осталась груда почерневшего кирпича. Затем орудия перенесли огонь на Трехгорку и рабочие казармы, прозванные «сибирской каторгой».

17 декабря к вечеру Кон с группой дружинников, «десяткой», лежал на чердаке каменного двухэтажного дома у Пресненской заставы, защищая баррикаду сверху, когда раздался чуть в стороне страшный грохот. Выглянули и сразу же поняли, в чем дело: от прямого попадания рухнула труба Трехгорной мануфактуры, раздавив верхние перекрытия пятиэтажного здания фабрики. Два соседних корпуса пылали, выбрасывая в вечернее небо красно-желтое густое пламя.

Молодой рабочий с Трехгорки по имени Коля,

подружившийся с Коном и всюду сопровождавший его, и теперь находился тут же, на чердаке. Высовываясь из-за трубы, он время от времени прицеливался из винтовки, которую взял у товарища, убитого перед утром, прицеливался и, выпуская пулю, приговаривал:

— Ну, вот и еще один гвардеец на счету.

В перерыве между выстрелами Коля приваливался к дымоходу плечом и о чем-то думал. А сейчас, оглянувшись на Кона, которого почему-то считал нужным оберегать, хотя никто ему этого не поручал, проговорил с сожалением:

— Эх, если бы не убил тот мерзавец Баумана, мы бы дело еще круче завернули.

— Да-а, — вздохнул кто-то в темноте, — что и говорить, Николай Эрнестович был бо-оль-шим человеком! — И тут же — голос из темноты, обращенный к Феликсу.

— А скажи, товарищ, как же это так могло получиться, что наши выпустили гвардию из Питера? Почему дорогу не взорвали?

— Я сам об этом думаю, — сказал Кон. — Что-то, видимо, случилось совершенно непредвиденное. Я не исключаю и предательства.

— Да-а, — протянул тот же голос, — трусов и предателей и среди нашего брата отыскать можно. Тоже попадаются…

И снова — молчание. Редкие выстрелы и систематические, один за другим, разрывы снарядов во дворе фабрики и в развороченной поперек широкой улицы баррикаде.

Послышались торопливые шаги по скрипучей лестнице. Кто-то влез в узкое квадратное отверстие в чердаке и сказал хрипло:

— Все, товарищи! Все! Приказ из штаба… дальнейшее сопротивление бессмысленно… Все баррикады, кроме нашей, пали. Ночью всем уходить в подполье. Сейчас вам скажут, кому куда.

Все десять боевиков не проронили ни слова. Словно никто не собирался выполнять приказ боевого штаба Пресни. Ведь все понимали, что рано или поздно им придется уходить с этого политого рабочей кровью пятачка заснеженной морозной Москвы. Понимали с тех самых пор, когда загрохотали залпы привезенных гвардейцами пушек. Понимали, но до последнего мгновения не верилось, что бесчисленные жертвы и на этот раз не принесли победы…

Кон выглянул за карниз, на белеющую в ранних сумерках улицу. Начинал валить снег, укрывая белым саваном трупы рабочих и солдат-гвардейцев, густо устлавшие подходы к баррикаде после недавней рукопашной схватки — последней в этих девяти днях войны московского пролетариата с

самодержавием.

Спустились вниз, вошли в рабочую столовую. Прочитали приказ:

«…В субботу ночью разобрать баррикады и всем разойтись далеко. Враг нам не простит его позора. Кровь, насилие и смерть будут следовать за нами по пятам нашим. Но это ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будет учиться упорству. Я отдал приказ в воскресенье развести пары, и все фабрики заработают, а начальники дружин укажут, где прятать оружие.

…Мы непобедимы! Да здравствует борьба и победа рабочих!

Командир пресненских боевых дружин».

Феликс и Коля перебрались через огромную пустошь, простиравшуюся за Пресненской заставой, и вошли в Тестовский поселок, где жили родители Коли. Деревянный этот поселок возник лет десять назад, и жили в его лачугах и развалюхах только рабочие близлежащих фабрик. Там можно было находиться сколько угодно, не опасаясь, что тебя выдадут властям.

Вечером Коля неожиданно ушел в город и до утра не вернулся. Родители забеспокоились. Феликс переоделся в крестьянское платье и отправился на поиски своего нового юного друга.

Ноги невольно привели его в район разбитой, разгромленной Пресни, где солдаты разбирали баррикады. Прошел к Новинскому бульвару, отыскал дом Плевако, позвонил в квартиру Шмита. Дверь открыла Елизавета Павловна, узнала Кона, заплакала. Сквозь слезы говорила:

— Брата арестовали. Квартиру растерзали… А его били… особенно зверствовал Кожин… такое страшилище… у нас тут его все рабочие знают. Он так и сказал: «Сначала измучаем, а потом убьем».

— Но почему же ему не помогли скрыться? — обескураженно проговорил Феликс Яковлевич.

— Какое там! Сам начальник дружины приходил, хотел увести, укрыть его, но… вы не знаете моего брата. Он с виду слабый, болезненный, а душа у него крепкая. Если что-то задумает — не свернет ни за что. Так и на этот раз. Стал на своем — и только. Говорит, хочу выступить на суде с обвинительной речью против правительства. Да ведь не допустят до суда, убьют. — И Елизавета Павловна снова заплакала. — В камере уморят… с его-то здоровьем…

— Уж вы бы, что ли, на него подействовали, Елизавета

Павловна, — сказал Кон.

— Что вы! Приказ боевого штаба Пресни принесли потом, приказывали, чтоб уходил в подполье, и то не послушался.

…Только годы спустя Феликс Яковлевич с горечью узнал подробности гибели Николая Шмита в одной из московских тюрем и о том, как пролетарская Москва хоронила его…

С Новинского бульвара толпа вынесла Кона к разбитой Трехгорке. Здесь, как узнал он из разговоров в толпе, с утра заседал военно-полевой суд. Разбитый снарядами двор был оцеплен гвардейцами, стоявшими с примкнутыми штыками. Людская масса за оцеплением придавленно молчала, ждала объявления приговора дружинникам, захваченным с оружием в руках. Вот толпа глухо колыхнулась и снова замерла. Феликс Яковлевич поднялся на какой-то полуразбитый ящик и увидел, как во двор выводили группу арестованных со связанными за спиной руками. Их подвели к законченной кирпичной стене фабрики, а краснолицый поручик выстраивал в одну шеренгу взвод солдат.

Кон не слышал слов команды, только видел, как солдаты взяли винтовки наизготовку, а поручик обнажил шашку. Феликс скользнул взглядом по лицам молодых рабочих, приговоренных к расстрелу, и вдруг узнал в одном из них… Колю. Коля тоже узнал его и, вскинув русоволосую голову, звонким чистым голосом запел «Варшавянку». Песню подхватили его товарищи. Но тут же в морозном воздухе сверкнула обнаженная шашка, и песню, как колос на ветру, срезал дружный залп… Несколько человек у кирпичной стены упало. Тут же ударили один за другим еще несколько залпов, но их Кон уже не слышал…

Позднее он узнал, что Зиновий Яковлевич Литвин-Седой, товарищ Доссер и Надежда Васильевна Синева, товарищ Наташа, благополучно скрылись и пережили еще две революции. Заместитель начальника штаба боевых дружин Пресни Михаил Соколов, товарищ Медведь, был пойман и расстрелян.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Феликс Кон понимал: нельзя сужать деятельность партии до террористических актов боевой организации, которой безраздельно командовал Пилсудский. Боевая организация, по сути дела, являлась отдельной партией, поскольку не подчинялась Центральному рабочему комитету, не отчитывалась перед ним в своих действиях. У нее был свой руководящий центр, свой идеологический аппарат, своя строжайшая фракционная дисциплина. По существу, это была типичная военизированная подпольная организация, которая своей террористической тактикой отвлекала рабочих от политической революционной борьбы. Необходимо этому противопоставить массовую работу среди рабочих.

Нужно было что-то предпринимать.

На одном из заседаний ЦРК, обсуждавшего деятельность боевой организации, Кон выступил резко и определенно:

— Действия боевой организации, располагающей мощными средствами борьбы, хотим мы это признать или нет, неэффективны, потому что они разрозненны и бессистемны. И нецеленаправленны.

— Что же ты предлагаешь? — спросил Закс. Между Коном и Заксом на заседаниях ЦРК установились такие взаимоотношения, что один задавал вопросы, на которые другой мог дать только единственный ответ. Это создавало атмосферу понимания и согласия.

— Ответ подсказан практикой вооруженных выступлений рабочих в минувшем году. Боевая организация, по сути дела, устранилась и не поддержала нас. И это не последняя причина того, что власти до сих пор одолевают нас. Значит, надо создать орган, который координировал бы их действия.

Пилсудский свел и без того почти сросшиеся густые брови на переносице и спросил:

— С кем же, Болеслав, вы предлагаете координироваться?

— С военной организацией.

— Но она же действует по указке Петербурга. Это же организация РСДРП.

— Прежде всего — это революционная организация, которая действует в Польше.

— Мало ли какие организации русских действуют в Польше! Нет, я на это не могу согласиться.

— Почему? — спросил Закс.

Пилсудский вздохнул и, обведя всех тяжелым взглядом,

сказал:

— Потому что я всю жизнь грезил о войне с москалями, а Болеслав рекомендует мне объединиться с ними.

А чтобы ни у кого не оставалось иллюзий насчет действий боевой организации, Пилсудский через несколько дней устроил на станции Рогово нападение на воинский эшелон. От бомбы, брошенной в окно вагона, погибло много солдат. Кон тут же узнал, что это был поезд, в котором власти увозили солдат, отказавшихся выступать против забастовщиков и демонстрантов. Возмущенный действиями Пилсудского, он потребовал срочного созыва заседания ЦРК.

Центральный рабочий комитет собрался, чтобы заслушать всего один доклад, с которым выступил Феликс Кон. Докладчик произнес две фразы:

— Действия боевиков парализуют всю нашу работу в войсках. Я предлагаю такое решение: «Приостановить Пилсудского и всю его организацию в действиях».

Предложение было принято.

Пилсудский в ответ на решение ЦРК созвал конференцию своей боевой организации, на которой была принята резолюция, опротестовавшая решение ЦРК. Кон сказал Заксу:

— Дальше этого терпеть нельзя. Надо созвать партийный съезд.

— Хорошо, — сказал Закс. — Мы срочно созовем съезд. Но докладчиком по этому вопросу будешь ты, Болеслав.

— Разумеется.

IX съезд вскоре состоялся.

— Знаете, в чем мы с вами расходимся, товарищ Зюк? — спросил Кон, обращаясь с трибуны съезда к Пилсудскому.

— В чем же? — невозмутимо улыбался Пилсудскнй.

— А в том, что вам пролетариат нужен для независимости, а нам нужна независимость для пролетариата.

— Это демагогия! — крикнул Пилсудский, потеряв обычную невозмутимость.

Но тут же раздались голоса из зала:

— Это именно так! — Феликс узнал голос Кошутской.

— И ты, Зюк, это сам прекрасно знаешь, — громогласно сказал Хорвиц. — Да что воду в ступе толочь, все ясно.

За резолюцию, исключающую Пилсудского из партии, проголосовали шестьдесят два делегата против пятнадцати.

Но сторонники Пилсудского не сложили оружие. Они объединились в новую партию, назвав ее ППС-«революционная фракция». Левые свою партию после раскола на съезде назвали ППС-левица. В левице осталось около сорока тысяч членов,[6] а

девятнадцать тысяч ушли к Пилсудскому.

Так ППС превратилась в две идейно противостоящие друг другу партии.

Раскол в ППС надо было объяснить рядовым партийцам. Одно за другим проходили собрания в заводских и фабричных организациях. Это было время, когда власти уже торжествовали победу над революционным пролетариатом. Полиция и охранка охотились за его руководителями. Поэтому каждое выступление на собрании могло стать последним. Однако до поры до времени удавалось ускользать.

На собраниях часто приходилось выступать вместе с представителями правых, и каждое из них превращалось в острое идейное столкновение.

…На собрании рабочих фабрики жести на Пжемысловой улице, где Феликс должен был выступить с докладом о работе IX съезда, собралось человек шестьдесят. Кон застал здесь целую компанию представителей всех фракций. Были тут и писатель Даниловский, и Юрий Херивг, и доктор Рейхман, и Камилла Хорвиц… Но выступить успел только Кон. Успел сказать, какие причины привели к расколу на последнем съезде партии…

Едва он кончил говорить, как кто-то, охранявший собрание снаружи, крикнул приглушенно:

— Полиция!

Мгновенно заперли двери. Но тут же узнали, что здание окружили не полицейские, а целая рота солдат. Сопротивление бессмысленно. Брошюры, документы съезда быстро уничтожили и повернули ключ в замке.

— Будем говорить… что должна была состояться лекция, но лектор почему-то не явился, — быстро сориентировался Феликс. — Все слышали?

И в это мгновение дверь с грохотом отлетела к стене и, сверкая примкнутыми к винтовкам штыками, в помещение ворвались солдаты.

— Руки вверх! — крикнул немолодой, с обветренным красным лицом штабс-капитан. — Обыскать каждого!

Феликс стоял у раскрытого окна. Глянул вниз. Второй этаж, но внизу к зданию примыкала пологая крыша навеса. Решение возникло мгновенно: прыгать. Это понял и стоявший рядом пожилой рабочий, шепнул:

— Я заслоню окно…

По шепот услышал Рейхман, схватил Феликса за руку:

— Там, во дворе, собрание эсдеков. Погонятся за вами — и их накроют.

Пока раздумывал, время было упущено…

Павиан и следственная тюрьма в Ратуше, наверно, никогда в своей мрачной истории не были так переполнены, как в эти дни. В камерах, рассчитанных на тридцать человек, народу находилось в три-четыре раза больше…

Оглядевшись на новом месте, Кон узнал, что здесь, в Павиаке, в одном с ним коридоре сидели, тоже в переполненных камерах, Дзержинский, Ганецкий, Рейхман и Закс. Во время прогулок удавалось поговорить.

— Меня арестовали на квартире Ротштадта, — рассказал Дзержинский. — После его ареста жандармы три дня держали там засаду. Вот мы и попали в западню.

— Старо, как мир, — откликнулся Кон. — Но всякий раз приходится платиться свободой заново, Ну а как вы смотрите на наше положение здесь?

— Что вы имеете в виду?

— Да ведь тюрьма накануне политической демонстрации. Нечеловеческие условия довели заключенных до крайности. А демонстрации допускать нельзя. Вы чувствуете настроение тюремщиков? Они ждут любого повода, чтобы кинуть на нас солдат. Если это случится, последствия нетрудно предугадать.

— Вы правы, Феликс, — нахмурился Дзержинский, — И каторга и Сибирь сейчас ох как некстати.

И вдруг кто-то из заключенных крикнул:

— Долой самодержавие!

И тут же из других окон:

— Доло-ой!

— Да здравствует револю-юция!

Тюрьма загудела. Кто-то запел «Варшавянку». Песню подхватила вся тюрьма, и вскоре грозная мелодия заполнила пространство…

Жандармы кинулись на заключенных, пытаясь загнать их в тюремные двери. Ничего не получалось. Тогда на помощь вызвали солдат. Замелькали приклады.

— Вы-то чего стараетесь? — крикнул солдатам Кон.

И вдруг молодой солдат, стоявший вблизи ворот, направил на него штык. В последнюю секунду Кону удалось увернуться от сверкающего стального жала, вбежать в коридор и захлопнуть за собою дверь, в которую тут же со звоном и скрежетом впился штык.

Но исхода этой безумной вспышки новобранца заключенным, прильнувшим к окнам, не было видно. Все этажи тюрьмы содрогнулись от грохота и криков.

Среди этого гвалта Феликс наконец разобрал несколько слов: «На Кона напали!», «Спасайте Кона!» Переведя дух, он почти бегом миновал коридор, заглядывая в глазки камер и успокаивая неистовавших товарищей.

Увидев Кона живым и невредимым, заключенные мало-помалу успокоились. Тюрьма затихла. Но прогулки после этого случая запретили.

Потянулись томительно-однообразные дни заточения.

Невыносимые мучения приносила Феликсу Кону не на шутку разыгравшаяся цинга. Стали выпадать зубы. Дзержинский, Ганецкий, Закс, Ротштадт под предлогом помощи больному товарищу добились, чтобы всех их поместили в одну камеру.

Дзержинский организовал в тюрьме школу, где читали лекции по марксизму. Занимались одновременно восемь — десять групп. Феликс Эдмундович составил расписание занятий, лично следил за тем, чтобы лекторы являлись в свои группы вовремя, чтобы на занятиях царили серьезность и порядок. Этим своим обязанностям он ежедневно уделял пять-шесть часов, называя себя инспектором. И, как писал впоследствии Ротштадт, «школа держалась не только благодаря авторитету Дзержинского, но и благодаря его организаторским способностям и энергии».

А в свободное время Дзержипский все чаще подсаживался к Кону, и между ними завязывались долгие беседы.

Феликс Яковлевич расспрашивал Дзержинского о IV Объединительном съезде РСДРП, состоявшемся в Стокгольме весной девятьсот шестого года.

— Знаете, Феликс, что меня больше всего радует? — спросил как-то Кон. — Сознание, что мы делаем революцию, а революция делает нас. Как быстро в ней растут люди! Вчерашний забитый работник — сегодня сознательный боец на баррикадах. Это рядовые, массы! А — руководители?! В конце пятого года встретился я со своим знакомым еще по Иркутску — Леонидом Красиным… Как вырос этот человек! Тогда он постигал азы марксизма, а теперь — это революционный деятель самого высокого класса! А об Ульянове я думаю постоянно… Кстати, вам не случалось с ним беседовать о Польше теперешней?

— Случалось. И не раз.

— Интересно, как он оценивает события у нас…

— Очень высоко. Высокую оценку дал он октябрьской стачке пятого года. Он назвал Польшу геройской за то, что она снова встала тогда в ряды стачечников и укрепила свои революционные силы…

Так зарождалась эта дружба двух крупнейших революционеров, дружба, которой суждено было длиться еще

целых двадцать лет, до того дня, когда остановилось сердце Феликса Дзержинского.

На VII Международный социалистический конгресс II Интернационала, проходивший в Штутгарте летом 1907 года, Феликс Кон ехал с мандатом ППС-левицы.

В Штутгарте Кона встретил Хорвиц, неутомимый боевой товарищ Вит. Едва успев поздороваться, Вит сообщил:

— Слышал, РСДРП отозвала Плеханова из Международного социалистического бюро? И знаешь, кто вместо него? Ленин!

— Он здесь? — обрадовался Кон. — Да. И уже спрашивал о тебе.

— Очень бы хотелось встретиться с ним поскорее. Во всяком случае прежде, чем начнет работать конгресс.

— Я знаю, где остановилась русская делегация. Час назад видел мельком Литвинова.

Потом, когда ехали с вокзала, расспрашивал Вита:

— Ну, а как тут… польская делегация?

Вит рассмеялся:

— Наши партийные неурядицы здесь видны, как в зеркале. Роза Люксембург и Юлиан Мархлевский должны будут сесть за один стол с Пилсудским и Дашиньским. А к ним впристяжку еще наш велеречевый галичанин…

— Хенрик Диаманд? — воскликнул Кон.

— Он самый.

— Да, компания! Каково будет Розе? Боюсь, не выдержит — уйдет. Льщу себя надеждой познакомиться нынче с нею. С Дзержинским мы скоро нашли общий язык, а как получится с Розой — не ведаю.

Вит мельком глянул сбоку в бородатое лицо Кона и сказал с заметной озабоченностью в голосе:

— На легкость сближения не рассчитывай. Роза настроена к тебе сурово.

— Почему?

— Да это, по-моему, понятно. Она считает, что ты по возвращении из Сибири должен был присоединиться к эсдекам, а не к «папуасам», как она нас зовет.

Феликс нахмурился, и друзья некоторое время ехали молча.

Штутгарт. Маленький промышленный городок. Уютные переполненные гостиницы, приторно-любезные хозяйки пансионатов, обилие превосходного пива и великолепное рейнское випо. Впереди — семь дней споров…

…Розу Люксембург он увидел за полчаса до начала заседаний Международного бюро II Интернационала. Она медленно сходила

вниз по широкой чугунной лестнице, придерживаясь правой рукой за перила, в левой была небольшая сумочка в виде портфеля. Коротко остриженные темные волосы обрамляли лицо; в широко распахнутых глазах — вселенская печаль и глубокое страдание; пос с горбинкой, словно выточен…

Феликс поспешил ей навстречу, представился:

— Феликс Кон…

— Роза.

Она подала маленькую смуглую руку с длинными пальцами и добавила вежливо, но холодно;

— Я вас видела… издали.

— Роза, — сказал Феликс взволнованно, — нам о многом надо поговорить.

Она как бы в недоумении повела на него своими темными очами, спросила с плохо скрытым раздражением:

— Вы уверены, что это нам обоим будет интересно? — слово «обоим» было явно подчеркнуто. Но Феликс тут же подавил возникшее было чувство обиды.

— Для вас — не знаю, — сказал он с мягкой улыбкой, — для меня — да.

— Возможно, выкроится время, хотя я не уверена. — Поклонилась и той же медленной походкой, слегка прихрамывая, пошла вниз по лестнице.

Холодность, с которой Роза Люксембург встретила Кона, огорчила его, но не поколебала намерения сойтись с ней по-товарищески и заслужить ее расположение. К Розе он всегда относился с глубоким чувством симпатии, уважал ее за горячий темперамент, бойцовский дух и непримиримость к идейным противникам. Он хорошо знал ее путь в революцию. Роза была одним из руководителей и теоретиков польской социал-демократии.

Однако во время конгресса поговорить по душам возможности не представилось.

На заседании Международного бюро по распределению мандатов по одну сторону от Розы сидел Юлиан Мархлевский, по другую — Юзеф Пилсудский. Юзеф в прекрасно сшитом черном смокинге, в ослепительной манишке с большим галстуком-бабочкой — воплощенная доброжелательность. С Феликсом раскланялся сначала издали, потом подошел, крепко пожал руку: видно, все еще не терял надежды сойтись, найти общий язык.

Неожиданно подошел Виктор Адлер, беспрекословный лидер австрийских социал-демократов, простой, небрежно одетый, с широким крестьянским лицом, выразил желание познакомиться:

— Мне о вас много говорил Дашиньский. Но судя по тому,

что я о вас знаю, он, по-моему, вас недооценил.

— Моя судьба — это обычная судьба революционера, — сказал Кон.

Внимание Виктора Адлера, одного из столпов западноевропейской социал-демократии, к Кону не осталось не замеченным. В разное время работы конгресса с Феликсом познакомились Жорес, Ферри, Вандервельде, Эрве…

Встретился он и с Лениным. С первой же минуты Владимир Ильич выразил ему столько дружеского участия, столько благожелательной расположенности, что Кон сразу воспрянул духом и на все происходящее вокруг смотрел уже другими глазами, ясно понимая, что разрыв боевой российской социал-демократии с оппортунизмом неизбежен.

Ленин впервые участвовал в международном собрании. Но, сравнивая его с «патриархом II Интернационала» Бебелем, Феликс Кон понимал, что именно Ленин воплощает в себе будущее международного рабочего движения.

Впервые Феликс увидел Бебеля сразу же по приезде в Штутгарт, когда его пригласили на заседание Международного бюро II Интернационала, на котором обсуждался террористический акт, совершенный одним анархистом. Обеспокоенный тем, что это случилось как раз накануне заседаний конгресса, Бебель произнес:

— Только этого мне не доставало!..

Подчеркивая слово «мне», он тем самым дазал понять, что II Интернационал и он, Август Бебель, одно и то же. Это было смешно и грустно. Но никто почему-то, кроме Ленина, над этим не смеялся.

Заседание Международного бюро, на котором распределялись мандаты, проходило в напряженной обстановке.

За Польшей было признано десять голосов. Но в польскую делегацию входили представители социал-демократов, ППС-левицы, ППС-«революционной фракции», Поль-ской социал-демократической партии Галиции и Силезии. На один голос претендовали и польские профсоюзы.

Слово взяла Роза Люксембург, говорила строго и безапелляционно:

— Дело не в количестве групп и партий. Надо смотреть в глаза реальности. Партия Социал-демократия Королевства Польского и Литвы представляет левое течение, все остальные партии и группы — это правое течение. Следовательно, голоса должны распределяться не по числу партий, а по наличию политических течений.

Бебель наклонился сначала к Виктору Адлеру, пошептался,

потом пошептался с сидевшим по другую сторону от него бельгийским социалистом Вандервельде, расчетливым и хитрым, потом, воздев очки, великодушно произнес:

— Да, это справедливо. Мы считаем, что предложение делегата Розы Люксембург вполне приемлемо. Теперь надлежит договориться о справедливом распределении мандатов…

— Да тут и разговаривать не о чем, — сказала Роза. — Все ведь и так ясно. Социал-демократы Королевства Польского и Литвы должны получить не менее пяти мандатов.

Бебель наклонился к Адлеру, обернулся к Жоресу и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Социал-демократы Польши и Литвы получают четыре мандата, шесть распределяйте между остальными делегатами.

— Пять — и ни на один меньше, — сказала Роза, подождала, но ее никто из президиума не поддержал, тогда она встала и вышла из зала.

Хорвиц наклонился к Кону, спросил тихо:

— Как?

Кон улыбнулся ему, шепнул:

— Действовать солидарно.

Вит поднялся и сделал заявление:

— Без польских социал-демократов левица не считает возможным свое участие в обсуждении данного вопроса.

Максимилиан Хорвиц, Кон и Мархлевский поднялись и вышли.

А когда шли к лестнице, Юлиан Мархлевский глянул на Кона, улыбнулся и сказал весело:

— Ну вот, и остались там одни фраки.

У Мархлевского широкий открытый лоб, волосы короткие, зачесанные на косой пробор, а глаза в постоянной усмешке, смотрят весело, дружелюбно, усы и борода густые.

— Как, как ты сказал? Фраки?

— Да, фраки…

— Остроумно! Надо будет обязательно рассказать Владимиру Ильичу, — усмехнулся Кон. — Очень уж он любит, когда остроумные клички его противники получают…

Ленин на конгрессе присматривался к делегатам, беседовал, искал единомышленников. Работал в комиссиях, готовил резолюцию по вопросу о милитаризме. Беседовал с Коном.

— Феликс Яковлевич, — сказал как-то Ленин, — я считаю, что нам надо собраться на неофициальное совещание и выработать сообща поправки к проекту резолюции, предложенной Бебелем. Понимаете, в этом проекте торчит такое оппортунистическое жало, что никаким компромиссом его пе

скроешь. Его нужно вырвать! А во время работы конгресса, этого «политического Вавилона», нет никакой возможности сосредоточиться, обмозговать все хорошенько.

— Отличная мысль, Владимир Ильич!

— Ну, раз вы согласны, то подумайте, кого можно пригласить от вашей делегации?

— А тут и думать много нечего. Вита обязательно…

— Вит — это кто?

— Валецкий. Он же Максимилиан Хорвиц.

— Хорошо. А еще?

— А еще… кроме эсдеков я не вижу, на кого бы можно было положиться. Так что выходит… Валецкий, Кон, Мархлевский…

— И, разумеется, Роза Люксембург…

В резолюции, предложенной Бебелем, говорилось, что, если будет угрожать война, рабочие и их представители в парламентах заинтересованных стран обязаны будут сделать все, чтобы при помощи средств, которые им покажутся самыми действенными, помешать взрыву войны; а если она все же вспыхнет, они обязаны добиваться скорейшего ее прекращения. Было ясно, к чему все сводилось — добиваться скорейшего прекращения войны. Только и всего!

— А чего же вы хотите от этих политических импотентов?! — в обычной своей резкой мапере бросила Роза.

— К тому же… и война войне рознь, — сказал Феликс Кон, в душе которого еще с января девятьсот пятого года зрела мысль о всеобщей партизанской войне против самодержавия. — Одно дело — войны капиталистических правительств, а другое — война революционного парода за свою свободу…

— Правильно! Все правильно! — воскликнул Ленин, нашедший единодушное понимание своей идеи. — Если начнется империалистическая война, задача революционеров… поднять революцию на волне недовольства народных масс. Другими словами, превратить войну империалистическую в гражданскую.

В поправке говорилось: «Если грозит объявление войны, рабочие заинтересованных стран и их представители в парламенте обязаны приложить все усилия к тому, чтобы помешать возникновению войны, принимая для этого надлежащие меры, которые, естественно, изменяются и усиливаются соответственно обострению классовой борьбы и общей политической обстановке. Если война все же будет объявлена, они обязаны выступать за быстрое ее окончание и всеми силами стремиться использовать порождаемый войной экономический и политический кризис для того, чтобы пробудить политическое сознание народных масс и ускорить крушение

господства класса капиталистов».

Бебель, прочитав текст поправки, не возмутился, не рассердился, даже сделал вид, что он все это прекрасно понимает и всей душой сочувствует этому, но, к его величайшему сожалению, не может вполне согласиться в силу таких-то и таких-то причин.

— Видите ли, дети мои, надо соблюдать большую осторожность в выражениях.

Пришлось согласиться на компромиссный вариант.

И все-таки идея Ленина о превращении войны империалистической в войну гражданскую, хотя и в завуалированной форме, но была положена в основу резолюции конгресса.

По окончании работы конгресса за городом был устроен прощальный банкет. Расставили столы, скамейки — отдельно для каждой делегации. Кон наблюдал, когда произносились речи и провозглашались тосты, за Лениным: он то насмешливо улыбался, то хмурился ненадолго и быстро говорил:

— Наивное стремление соединить несоединимое…

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Началась первая мировая война.

Семья Феликса Кона покинула Львов. Их, российских подданных, австрийские власти высылали в глубь своей империи. Кон ехал через города, где формировались польские легионы. Трудно было смотреть на все, что происходило теперь на древней польской земле.

Глядя вслед полкам, он вспоминал слова Ленина, сказанные им после принятия антивоенной резолюции на конгрессе в Штутгарте: «У меня нет иллюзий, нынешние вожди II Интернационала в случае военного конфликта ие проведут до конца в жизнь и эту резолюцию… Такова уж природа оппортунизма».

Как Ленин оказался прав! Социалисты воюющих стран, входящие в состав своих правительств, и члены парламентов проголосовали за военные кредиты. На оборонческих позициях стояли теперь и русские меньшевики и эсеры. Только Ленин и большевистская партия заняли последовательную революционную позицию в вопросе о войне с обеих сторон империалистической, захватнической. Кону были близки идеи Ленина, поставившего перед пролетариатом воюющих стран задачу превращения войны империалистической в войну гражданскую, и он всей душой поддерживал ленинский лозунг «о поражении своего правительства».

Ленин оказался прав и в том, что предсказал предстоящий кризис II Интернационала в случае возникновения войны. Вожди II Интернационала фактически раздробили это международное социалистическое сообщество на противоборствующие группы и обрекли его на гибель. Отрадно было думать, что в этой идейной сумятице IIIIС-левица заняла вместе с Социал-демократией Королевства Польского и Литвы антивоенную позицию.

…Разместив в вагоне Христину и детей, Феликс протиснулся к тамбуру сквозь толпу пассажиров, забившую все проходы. Но еще большая толпа осталась на перроне, плотно стиснутая, неистово орущая на разных языках, готовая опрокинуть вагоны. И вдруг чей-то знакомый голос сквозь нараставший гам:

— Феликс! Помогите!

Феликс склонился с подножки и, держась одной рукой за поручень, ухватил протянутую руку и втащил в тамбур женщину, державшую другой рукой мальчика лет пяти. И только тут разглядел «спасенную» — жену Феликса Дзержинского.

— Зофья! Какими судьбами?

— Наверно, такими же, как и вы. Власти приказали покинуть Краков. А это мой сын Ясик…

— И куда же теперь?

— В Вену, очевидно.

— В Вену? Вот так? Без вещей.

— Какие тут еще вещи, нас с Ясиком едва не задавили. А теперь надо помочь Братманам. Они тоже тут где-то пробиваются к вагону. Нас толпа разъединила.

Феликс спустился с подножки, и вскоре ему удалось вызволить из толпы Стефана и Марыльку Братманов с их сыном, ровесником Ясика. Потом с не меньшим трудом пробирались к тому месту, где сидела Христина с детьми. Наконец поезд тронулся, пассажиры поуспокоились и, как всегда бывает в такой ситуации, смогли более или менее удобно разместиться.

Поезд шел медленно. На станциях то и дело врывалась железнодорожная жандармерия и рыскала по вагонам.

— Ну а что слышно о Феликсе? — спросил Кон. — Мне говорили, что его осудили на каторгу.

— Да, — вздохнула Зофья. — Последнее письмо мы полечили летом. Он тогда еще сидел в Десятом павильоне Варшавской цитадели. Добился было разрешения на свидание с нами. Но помешала война. Он очень тоскует о Ясике… Хотел увидеть его до того, как наденут кандалы. — Зофья с болью и тревогой посмотрела на сына, болезненного и очень тихого. — Но война все нам сломала. Кто знает, когда мы с ним увидимся. Да и увидимся ли…

— Обязательно увидитесь, — сказал Кон и положил свою ладонь на руку Зофьи. — Двери каторги раскроет революция.

— А война…

— Война только ускорит революцию. Вот попомните мои слова! Война добром не кончится для самодержавия. Это начало его конца. Война империалистическая обязательно перерастет в гражданскую!..

— Да, сомневаться в этом не приходится, — поддержал Феликса Стефан Братман. И Зофья немного повеселела.

До Вены оставалось всего несколько часов езды, когда поезд с беженцами остановили. В вагон вошли жандармы:

— Собирайтесь, господа, и освобождайте вагон… Знать ничего не знаем. Вагоны приказано очистить. Вам куда? Переходите вон в тот поезд, — указал веснушчатый жандарм на сиротливо стоявшие на ответвляющемся пути старенькие вагоны.

Народ хлынул туда. Но Кон остановил своих спутников, поднимающихся с сидений.

— Пока сидите. Что-то подозрительна мне эта пересадка. Я знаю немецкий и пойду поговорю с железнодорожниками. Не может быть, чтобы они не знали, если тут кроется подвох.

— Я тоже с вами, — сказал Братман.

Феликс и Стефан направились к двум рабочим, подсыпавшим щебенку к шпалам на соседнем пути. Молодые парни охотно распрямили спины, заулыбались, подали руки.

— Товарищи, — сказал Кон. — Я социалист, а мой товарищ — польский социал-демократ. Власти выселяют нас с родных мест вместе с семьями. А теперь вот, когда мы уже подъезжаем к Вене, где могли бы получить какую-нибудь работу, нас задержали и почему-то пересаживают в другой поезд. Вы не знаете, что за всем этим кроется?

— Как не знаем, — сказал один из рабочих. — Тех людей, что сели в другой поезд, повезут в концлагерь. А там плохо, очень плохо. Люди сходят с ума и умирают с голоду.

— Спасибо, товарищи.

Когда они вернулись, в вагоне остались только Христина, Зофья и Марылька с детьми. Подошел веснушчатый жандарм, спросил, впрочем, не грубо:

— Ну, а когда же вы покинете вагон?

— Мы ждем своих мужей, — ответила за всех Христина Григорьевна по-немецки.

— А где они?

— Они у начальника станции, им надо связаться с Веной.

— С Веной? — удивился жандарм. — Зачем?

— Чтобы заявить протест против ваших действий, — сказал Феликс, слышавший последний вопрос жандарма. — Мы едем по вызову господина Адлера, члена венского парламента. Вот его письмо и визитная карточка, — сказал Феликс, доставая из кармана пиджака письмо полугодичной давности. Но жандарм на письмо не глянул — ему достаточно было визитной карточки с парламентским грифом.

— Это совершенно меняет дело, — сказал жандарм. — Если так, можете проследовать дальше этим поездом.

Жандарм ушел, и тут же тронулся поезд.

Однако попасть в Вену оказалось не так-то просто. На вокзале пассажиры опять попали в руки жандармов. В город впускали немногих — только тех, кто докажет, что имеет достаточно средств для проживания в столице. Денег ни у кого, конечно, не было. Тогда Феликс раскрыл саквояж и показал жандармам толстенную пачку денег. Жандармы приятно заулыбались:

— О, да! О, да! Этого, конечно, будет достаточно, чтобы прожить до полной победы над нашими заклятыми врагами!

— Я еду не один, — сказал Феликс. — Со мной жена, дети, две сестры и муж сестры.

— Пожалуйста! Пожалуйста! Проходите! Расположились на вокзале и стали думать, что делать дальше.

— Ну, Феликс, — сказала Зофья, — если бы вы не были таким богачом, нас бы наверняка вернули в концлагерь. И мы там, конечно, погибли бы.

— Да, — сказал, усмехаясь в бороду, Феликс. — Я богат, по это богатство под семью замками. Из него, даже умирая с голоду, мы не сможем взять ни одного злотого. Это — партийная касса. Однако не сидеть же всю ночь на вокзале. Придется в самом деле идти звонить Виктору Адлеру, пусть чем-нибудь поможет с ночлегом.

Феликс вернулся очень скоро, крикнул весело, еще не успев подойти:

— Собирайтесь! Мы идем в Дом железнодорожников. Адлер договорился. Нас приютят там на несколько недель.

Быстро вышли на улицу, утопавшую, как и весь город, в сыром и темном тумане.

В Вене Коны задержались ненадолго. Перебрались в Швейцарию, где прожили до весны 1917 года.

Весть о свержении царского самодержавия достигла Швейцарии очень скоро. Она взбудоражила и окрылила русских эмигрантов. По нескольку раз в день они ходили друг к другу, делились новостями, обсуждали события, которые в России сменялись с калейдоскопической быстротой. В библиотеках, в народных домах, в скромных квартирках и в пансионатах только и было разговоров, что о возвращении на родину. На бесконечных собраниях читались доклады и рефераты, посвященные одной теме: судьбы русской революции.

В семье Конов не стоял вопрос, ехать или нет в Россию. И Феликс Яковлевич, и Христина Григорьевна с первого дня были одного и того же мнения: ехать, как только представится возможность. Но Феликса Яковлевича держали неотложные дела, связанные с его секретарством в Краковском союзе помощи политзаключенным, с его председательством в бюро эмигрантских касс… И первое, что подумалось ему, как только выдался свободный денек, — навестить Владимира Ильича, если он еще не уехал…

Феликс Яковлевич появился в Цюрихе 9 апреля и застал Владимира Ильича и Надежду Константиновну на чемоданах.

— А мы сегодня уезжаем, — весело сказала Надежда Константиновна. — Еще бы денек протянули — и тогда уж

неизвестно, когда бы встретились снова.

— Думаю, Надежда Константиповна, что встречи долго ждать не пришлось бы, — в тон ей ответил Феликс Яковлевич, вешая в передней пальто и шляпу. — Вот ликвидирую дела по Краковскому союзу — и мы тоже покатим в Россию.

— Наденька! — послышался из глубины квартиры голос Владимира Ильича. — Кого это ты там держишь и не пускаешь ко мне? А-а, это вы, Феликс Яковлевич! То-то я слышу, голос уж очень знакомый. Рад вас видеть! Извините за беспорядок — упаковываемся. Да вы проходите, проходите и усаживайтесь-ка вот в это кресло, поближе к столу. Сейчас чаю попьем.

Надежда Константиновна принесла чайник и, заварив чай для Владимира Ильича, поставила чайник на стол перед Коном.

— Вы, конечно, предпочитаете заваривать сами?

— Да, если позволите.

— Позволяю, позволяю.

Феликс Яковлевич, заполнив стакан на одну треть чаем, медленно влил в него кипяток. Подняв улыбчивоо лицо на Владимира Ильича, спросил!

— Не желаете попробовать?

Владимир Ильич замахал руками:

— Увольте! Увольте! Если бы я выпил даже одну десятую этой жидкости, то все равно бы всю ночь не сомкнул глаз.

— А я, грешник, привык, когда тянул каторжную лямку в этой проклятой «якутке», — сказал Кон, о удовольствием отпивая первые два глотка.

— В «якутке»? — заинтересовался Ленин. — А что это такое?

— Так называлась одна из камер на Карийской каторге. Особая камера, куда сажали самых неисправимых. На ночь нам давали одну свечу. Всем обитателям камеры места около нее, естественно, не хватало, так мы читали по очереди. Одни до двух часов ночи, другие после двух. Ну а чтобы не дремать, подбадривали себя крепким чаем. Вот с тех лет у меня и осталась к нему привычка. Я хотел бы спросить, Владимир Ильич…

— Я вас слушаю, Феликс Яковлевич, — Владимир Ильич чуть отодвинул недопитый стакан.

— Как вам видится сегодняшняя ситуация? Созрела ли Россия для нового шага?

— Давайте посмотрим на события открытыми глазами! Первый этап революции, давший власть в руки буржуазии, закончен. Теперь на повестку дня встал вопрос о переходе ко второму этапу, который должен дать власть в руки рабочего класса и беднейших слоев крестьянства.

— Теперь я понимаю, Владимир Ильич, почему вы так

спешите с отъездом в Россию…

— Понимаете? — быстро спросил Ленин. — Ну вот и хорошо, что понимаете. Надеюсь, и сами здесь засиживаться не станете?

— Не стану, Владимир Ильич. Вот сдам свои дела — и вслед за вами.

— И правильно сделаете. В России ох как нужны сейчас такие люди, как вы! Дел непочатый край.

…Владимир Ильич и Надежда Константиновна с минуту стояли у окна и смотрели, как Феликс Кон пересекал улицу, по которой с диким воем проносился холодный горный ветер, трепал длинные полы заношенного его пальто, конец толстого коричневого шарфа, обмотанного вокруг длинной худой шеи, пытался сбросить с седы к длинных волос старую широкополую шляпу, которую Кон придерживал обеими руками…

— Подумать только, — сказала Надежда Константиновна, — девятнадцать лет прошло с того дня, когда я его увидела впервые в Минусинске. Полгаю, выскочил мне навстречу из сеней какой-то низенькой бревенчатой избы. Такой же худой, бородатый, только борода была черная. Я так волновалась перед встречей с ним! Он ведь для меня был окружен ореолом старого непримиримого революционера-каторжника. Ужасно он мне понравился…

Медленно тащился поезд через Германию. Дорожные размышления сводились к одному: скорее бы добраться до Швеции — там уж совсем близко русская граница.

На станциях, во время остановок, в вагон иногда входили пленные русские солдаты. Они уже заранее знали, что в этом поезде везут на родину политэмигрантов. Радостно здоровались, а провожая поезд, кричали:

— Скорее заключайте мпр!

Но вот и Россия. Феликс Яковлевич одевался, выходил к солдатам и по старой привычке агитатора устраивал короткий митинг. Рассказывал о том, какие люди едут в вагонах, за что их преследовало царское правительство, посылало на виселицы и на каторгу, почему они оказались в изгнании после революции 1905–1907 годов.

И тут же видел, как прояснялись лица солдат и даже офицеры начинали относиться к политэмигрантам уважительно.

Но вот и еще одна остановка. На станции — шум, песни, музыка, несмотря на то, что ночь свернула на вторую половину. Феликс Яковлевич открыл дверь вагона и попал в густую матросскую массу. Увидел, как Дмитрий Захарович Мануильский, возвращавшийся из эмиграции в одном поезде с Феликсом Яковлевичем, взбирался на какое-то возвышение. Один из

организаторов Кронштадтского а затем Свеаборгского восстаний 1906 года, Дмитрий Захарович говорил, указывая на Феликса:

— Вот он перед вами, старый Кон! Двадцать лет провел он на каторге и в ссылке, дрался на баррикадах и маялся в изгнании, а теперь возвращается в Россию, чтобы принять участие в строительстве новой жизни!..

Матросы подхватили Феликса на руки и стали качать. А через минуту он уже сменил на импровизированной трибуне Мануильского:

— Товарищи! Нас везли через Германию. На станциях к нам приходили пленные русские солдаты, измученные тоской по родине, искалеченные в боях. Это ваши братья, о которых забыло Временное правительство, бросило их на произвол судьбы, предоставив им только одно — свободу умирать на чужбине… Я, старый политкаторжанин Феликс Кон, говорю вам, товарищи матросы: если уж умирать, так умирать не зря, а за свои народные интересы, за интересы рабочего класса! Да здравствует мировая революция, товарищи!

— Да здравствует мировая революция! — могуче кричали матросы, взбирались к Кону на трибуну, обнимали, целовали его…

Так встречала революционная Россия Феликса Кона.

Впервые Кон побывал в Петрограде в ноябре 1905 года. Тогда город назывался Санкт-Петербургом. Бородатые городовые на перекрестках, летящий, как ветер, рысак полицмейстера, звенящие шпорами гвардейские офицеры, нарядные дамы на Невском… А из широко открытых дверей Казанского собора доносилось мощное пение архиерейского хора… Город Петра и Екатерины, трех Александров и двух Николаев, город аристократических особняков и мрачных, задавленных нищетой и безысходностью рабочих предместий.

В мае 1917-го Петроград показался Кону очень молодым. Ни городовых, ни жандармов, и вообще никакого старого начальства — ни державного, ни самочинного… По Невскому проносятся грузовики, переполненные людьми в пролетарских одеждах, с яркими красными повязками на рукавах, с отблесками солнца на штыках… И всюду толпы оживленных, говорливых людей, и почти у каждого в руках пузырящиеся на ветру газетные листы…

На перекрестках улиц — пробки: беспрерывно митингующие кучки народа обрастают все новыми и повыми толпами людей с лихорадочно блестящими глазами, с иадорванными от бесчисленных речей и споров голосами…

Размышляя о ситуации, сложившейся в эти дни в Петрограде, Феликс Яковлевич постоянно возвращался мысленно к событиям

1905 года. «Уроки пятого года, — думал он, — нельзя забывать. Нельзя допустить, чтобы правительство с помощью крестьян, одетых в солдатские шинели, раздавило революцию. Временное правительство, сохраняя верность союзническим обязательствам, взятым на себя последним российским императором, готовят действующую армию к наступлению. Прекрасная возможность перетянуть на сторону революции солдат, уставших от войны!»

— Нашего полку прибыло! — услышал Феликс Яковлевич, закрывая за собой рассохшуюся дверь в низкое полуподвальное помещение. Голос показался знакомым. Шагнув от двери на свет, увидел Лапиньского, с которым несколько раз встречался в эмиграции. Лапиньский, все такой же шумный, с широкими жестами, с неиссякаемым дружелюбием, обнял Феликса по-братски и тут же, легонько оттолкнув, закричал куда-то в глубину помещения:

— Стефан! Ты посмотри, кто приехал! Да оторвись же на минуту от своих чертовых бумаг!..

Из приоткрытой двери другой комнаты появился человек с круглым лицом, остановился в двух шагах от Феликса Яковлевича, вопросительно глядя на него немигающими светлыми глазами.

— Да это же старый Кон! — громко говорил Лапиньский, размахивая длинными руками.

— О! Феликс, — улыбнулся сдержанный Стефан и проговорил, крепко сжимая ладонь: — Душевно рад познакомиться лично, а по переписке мы с вами знакомы давненько.

— Да уж вы не Стефан ли Круликовский? — обрадованно спросил Кон.

— Он самый.

— Ну так чего же вы молчите? — тормошил Кон товарища по партии, с которым не доводилось встречаться лично, но с которым он иногда переписывался. — Если бы вы знали, что такое было для меня каждое ваше письмо там, в Берне!

— Знал, Феликс! Знал! Да вот времени тут — в обрез. Столько свалилось всяких дел! Столько всякой суеты! Ну не продохнуть.

Кон сверкнул очками:

— А я, знаете ли, завидую вам, товарищи! Завидую, что у вас тут столько дел, столько всякой суеты… Ведь это же дела революции, от которых мы были оторваны… Включайте поскорее и меня в эти дела. Если бы вы знали, как хочется работать и работать!

Стефан опять улыбнулся, взял Кона за локоть и повел в ту

дальнюю комнату, из которой вышел на зов Лапиньского:

— Не беспокойтесь, в работу мы вас включим сию же минуту…

В небольшой низкой комнате за широким столом сидело еще три незнакомых Кону человека. Но когда они, подавая руки, стали называть свои фамилии, оказалось, что всех их он знал заочно.

— Будняк…

— Даниель! Так вот вы какой! — говорил Кон, тряся ладонь моложавого застенчивого человека. — А я представлял вас этаким солидным, важным… Рад, что ошибся.

— Пинкус…

— Людвик Пинкус! Рад встрече! Очень рад! А этот молодой человек, — сказал Феликс Яковлевич, обращаясь к сидевшему на углу стола самому немолодому на вид человеку, — уж не Юзеф ли Чонглиньский?

— Да, я Юзеф, вы не ошиблись.

— Прекрасно, друзья мои! Только давайте сразу договоримся: не напоминайте мне о моем возрасте, обращайтесь на «ты». Возраст революционера определяется не прожитыми годами, а его делами. А дел-то у меня как раз и не так уж много. Все больше в тюрьмах да в эмиграции отсиживался! Настоящие-то дела только сейчас и начинаются.

— Погоди, Феликс! — сказал Лапиньский. — О каких это делах ты толкуешь? Надо уточнить. Может быть, ты думаешь, что мы тут сидели сложа руки и ничего не делали? Так мы можем доложить, что нами сделано. А сделано, я думаю, немало. Мы создали секции левицы в районах Петрограда, на крупных заводах, устраиваем митинги, проводим собрания рабочих-поляков, включаем их в революционную борьбу русского пролетариата…

— Да, да, Феликс. Исполнительный комитет сделал многое. Активно работают секции левицы в Москве, на Украине, в Поволжье, в Сибири…

— Прекрасно, Стефан! Прекрасно! — пристукивал Феликс Яковлевич широкой ладонью по столу. — Но этого мало.

Вспомните уроки пятого года. Самодержавие разгромило революцию только потому, что мы не сумели привлечь на свою сторону солдат — крестьянских парней, одетых в солдатские шинели.

— Нынче солдат не тот, — сказал Будняк. — Даже гвардия после первых же залпов встала на сторону революции.

— Но революция только начинается, Даниель. В армии засилье эсеров. И кто знает, как поведет она себя, когда подойдет час пролетарской революции. Надо немедленно приступить к созданию ячеек левицы в войсковых частях. Немедленно.

— Ну, что ж, — сказал Пинкус, — я считаю, что товарищ Кон прав. И у меня есть предложение кооптировать его в Центральный исполнительный комитет.

— Я согласен с тобой, Людвик, — откликнулся молчаливый Юзеф Чонглиньский. — Кроме того, я предлагаю поручить руководство агитационной работой в войсках Кону, как человеку самому опытному из нас.

— Тогда подведем итоги нашего заседания, — сказал Круликовский. — Ты, Феликс, как раз попал к заседанию. И попал очень кстати. — Стефан снова скупо улыбнулся. — Решение, значит, будет такое… Первое. Петроградская секция горячо приветствует товарища Кона, как стойкого и преданного революционера, ветерана левицы и одного из ее основателей… Второе. Вносит предложение ввести его в состав Центрального исполнительного комитета в порядке исключения. Третье. Поручить товарищу Кону руководство агитационной работой в частях, укомплектованных солдатами-поляками…

На Сенатской площади, перед памятником Петру Великому, — огромная толпа солдат. На сколоченной наспех трибуне Феликс Кон увидел нескольких пожилых людей с бородками и в галстуках, среди которых сразу же узнал и Александра Белопольского. Поздоровались, но поговорить не удалось: начался митинг.

На трибуне появился унтер-офицер, средних лет, с чистым лицом, со спокойным взглядом. На гимнастерке — три Георгиевских креста, медали. Солдаты притихли. Приглядывались к ладному, уверенно державшемуся на трибуне георгиевскому кавалеру и устроители митинга.

— Слово солдату-окопнику! Вы меня не знаете. Я… не тутошний… из Сибири я, села Дубенского, что в Енисейской губернии. Василием Ощепковым зовусь. — Усмехнулся, оглянулся на стоявших за его спиной партийных вождей, уверенный в своем праве говорить столько, сколько считает нужным. — Я пока ни к

какой партии не отношусь! Приглядываюсь да прислушиваюсь. А уж как отдам кому душу, так до последнего издыхания. Конечно, более других мне по сердцу партия социалистов-революционеров. Она — за мужика. А теперь насчет войны. С четырнадцатого года я не вылезал из окопов. Осточертело — хуже некуда. Приехал вот на побывку, а тут революция. Оно вроде бы и неохота снова туда, в эту кутерьму… дома вроде бы теперь как раз быть… А что поделаешь? Ежели бы за царя, так пропади оно все пропадом, а то ведь теперь революцию защищать надо, вроде бы свое, кровное.

На трибуне за спиной Кона громко захлопали. Он обернулся: особенно горячо аплодировал солдату-окопнику Белопольский.

Слово взял Кон.

— Временное правительство не решило, да, по всему видно, и не собирается решать ни одного коренного вопроса революции. Ненавистная империалистическая война продолжается. Губерниями у нас фактически управляют старые учреждения. Солдаты! Я, польский революционер, призываю вас поддерживать политическую линию большевиков. Только они поставили себе полную и далеко идущую программу; это программа диктатуры пролетариата, которая ставит своей целью осуществление социализма. — Перевел дыхание, окинул взглядом тысячи внимательно слушавших его людей. — Сейчас стало известно, что Временное правительство намерено бросить обескровленные российские армии в наступление. Но давайте задумаемся, товарищи… Наступление! На кого? На немецкий народ, готовящий революцию?! Нет, товарищи! Мы за поражение на фронте, но мы за победу революции внутри страны!

Феликс на мгновение умолк и тут же услышал за спиной возмущенные голоса Белопольского и кого-то из представителей партии эсеров.

Не обратив на них внимания, продолжал говорить: — Товарищи! Временное правительство остается верным своему антинародному курсу. Оно намерено любой ценой освобвдить Петроград от пролетариата и революционных войск гарнизона. Оно намерено отправить вас на фронт и выселить пролетариат под предлогом невозможности обеспечить все население продуктами питания. С какой же, однако, целью это задумано? Думаю, что всем это ясно и попятно: лишить революционные партии вашей поддержки и затем разгромить их. Этим контрреволюционным планам правительства мы должны противопоставить организованность, сплоченность и решительность. — Еще одна пауза, и снова голос гремит над площадью: — Да, действительно, Петроград нуждается в разгрузке, но не от рабочего люда, а от паразитических

элементов, от нетрудового населения. Промышленное производство будет организовано и доставка продуктов будет налажена, если власть перейдет в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. В казне нет денег?

Обложить налогом баснословные прибыли капиталистов! Ввести трудовую повинность для господ! Но Временное правительство никогда не поднимет на них руку, ибо оно правительство буржуазии и во имя ее интересов требует войны до победного конца.

Феликс Яковлевич рассек воздух длинной мускулистой рукой, тут же покинул трибуну, так как торопился на конференцию. Но выбраться не удалось. Солдатская масса мгновенно пришла в движение. Кон видел вокруг возбужденные лица, слышал радостные крики… Его подхватывают, и он тут же оказывается над ликующей толпой. Вознесенный на крепких солдатских руках, он видит, как медленно отдаляется от него скачущий куда-то сквозь людское половодье огромный зеленовато-медный всадник…

На другой день, когда Кон зашел в Петроградскую секцию левицы, Стефан встретил его смущенной улыбкой, а Даниель и Юзеф отводили в сторону глаза. Но Лапиньский, как и вчера, возбужденно и радостно тряс его руку:

— Поздравляю, Феликс! Великолепно! Не говоря уж о кадетах, но и эсеров оставил с носом. Ничего, пускай привыкают, а то у них сплошной праздник, беспрерывное торжество победителей. Чуть ли не с каждого митинга на руках уносили…

— Так-то оно все так, — пробурчал Пинкус, — только вот одно непонятно: от имени какой партии ты выступал, Феликс? От левицы или от большевиков?

Кон с обезоруживающим недоумением какое-то мгновение смотрел на Пинкуса, но сидевший рядом с ним Стефан перехватил этот взгляд:

— Не сердись, Феликс, — сказал Стефан. — Людвик прав. На митинге было много солдат-поляков, и многие из них тебя знают как основателя левицы, а ты говорил определенно от имени большевиков… Это их может обескуражить.

— Постойте, друзья мои, — развел руками Феликс Яковлевич, переводя свои нестареющие спние глаза с одного лица на другое, — я вас что-то не понимаю. Разве у нас с большевиками разные цели и задачи в предстоящей революции?

Даниель, как бы заслоняясь от вопрошающих глаз Кона, поднял ладонь с растопыренными пальцами и помахал ею перед собой:

— Позволь, Феликс, остановить тебя. Не надо из нас делать мальчиков. У нас свои очень сложные и большие проблемы.

— А теперь позвольте вас спросить, друзья мои, — сказал Кон, отступая на шаг от стола. — Если вы не с большевиками, то с кем же вы? Уж не с меньшевиками ли?

— Нет, мы не с меньшевиками, — ответил Стефан Круликовский.

И тут снова подал голос молчаливый Чонглиньский:

— Мы, Феликс, сами по себе. Мы — левица. Партия, у истоков которой стоял Феликс Кон…

— Друзья — воскликнул Феликс, вбегая в комнату, где заседала Петроградская секция левицы. — Вы знаете, что Временное правительство одобрило идею войскового съезда поляков в Петрограде?

— Знаем, знаем, — недовольно проговорил Круликовский, мельком глянув на возбужденного Кона.

— Ах, даже так, — сказал Феликс Яковлевич, успокаиваясь, и присел к столу. — В таком случае… я хотел бы знать, как наша секция намерена участвовать в работе съезда?

— Участвовать? — воздел обе руки над головою Лапиньский. — От тебя ли я слышу такой вздор, Феликс?!

— Почему же… вздор?

— Да потому что это будет демонстрация поддержки и одобрения агрессивной политики Временного правительства!

— Прекрасно понимаю. Но я понимаю необходимость борьбы за солдатскую массу. Манифест Временного правительства по польскому вопросу многих сбил с толку. Сейчас солдаты рвутся в бой, наивно думая, что, добывая своей кровью победу, они добывают свободу Польши. Вот им и необходимо раскрыть глаза. Пусть узнают, что не за свободу Польши продолжается империалистическая война, а все за те же недосягаемые Дарданеллы и Константинополь… Игнорируя войсковой съезд, мы тем самым предаем интересы солдат-поляков.

— Ну, это, пожалуй, слишком сильно сказано, — улыбнулся Будняк.

— Не слишком, а скорее недостаточно сильно, Даниель. Потому что мы отдаем их в объятия эсеров и национал-патриотов, а те с превеликой радостью и восторгом кинут их в пекло новых сражений.

— Я думаю… Феликс прав, — сказал Чонглиньский, ни на кого в отдельности не глядя.

— А если он прав, — заговорил не совсем уверенно Круликовский, — то скажи, Юзеф, что, по-твоему, мы должны

предпринять сейчас?

— Феликс же сказал: прежде всего решить вопрос об участии в работе съезда и определить формы этого участия.

— Я думаю, — уже спокойно проговорил Феликс Яковлевич, — надо создать бюро по руководству подготовкой к съезду. Это — первое. А второе… надо подготовить небольшой, но хорошо рассчитанный на солдатскую массу доклад, с которым левица выступит на войсковом съезде.

Круликовский оживился и заговорил уже так, как будто он никогда не протестовал против участия в работе съезда:

— Бюро мы создадим. Это просто. А что касается доклада, то я думаю, что никто, кроме тебя, Феликс, не сможет так хорошо и подготовить доклад, и выступить с ним на съезде. Есть возражения? Нет? Значит, так и решили…

С большой помпой открылся войсковой съезд поляков. Среди нескольких сотен солдатских гимнастерок резко выделялись новенькие мундиры офицеров и генералов, видимо, специально выданные накануне съезда. Глаза слепило золото погон. Было много молоденьких женщин, сестер милосердия — это сообщало атмосфере съезда какое-то особое, возвышенное настроение.

Члены бюро левицы появились за полчаса до начала работы съезда. И сразу, как только Феликс Яковлевич вошел в гудящий от многочисленных солдатских голосов вестибюль, к нему обратилась средних лет невысокая женщина в платье сестры милосердия:

— Господин Кон? Если, конечно, не ошибаюсь.

Феликс Яковлевич поправил очки и с полминуты разглядывал женское лицо, показавшееся ему как будто знакомым. Где же он видел эти темные, чуть раскосые глаза?

— Да, вы не ошибаетесь, сударыня, — сказал он, отвечая улыбкой на улыбку. — Я… действительно… Кон.

— Ну, Конечно же, — заблестели темные глаза. — Кон Феликс Яковлевич. Вы меня пе помните, но вы должны помнить моего дядю, хранителя Минусинского музея, Сайлотова. Учитель из хакасов… Я в детстве часто приезжала к нему в Минусинск и почти всякий раз встречала вас либо у дяди, либо у Николая Михайловича…

— Ну, ну, ну! — воскликнул Феликс Яковлевич. — Теперь и я вас припомнил. Вы были вот такая малюсенькая, и мы вас в шутку называли качинской княгиней.

— Да какая же я княгиня? Мои предки были степными кочевниками. И нам просто повезло, что на моей прабабушке женился декабрист Николай Крюков, очень богатый человек. С

тех пор дети Сайлотовых стали получать хорошее образование.

— Да, да, я знаю историю вашего рода. Ну, что там, в Минусинске?

— Толком ничего не знаю. Я давно оттуда, с осени четырнадцатого года. Тогда погиб в Галиции мой муж, а я уехала в действующую армию. Мой новый муж полковник Пшебышевский — тоже поляк. Я вас познакомлю. Он сейчас заседает в какой-то комиссии. Ну а как поживает Христина Григорьевна? Я очень хорошо помню вашу жену. Такая красивая женщина.

— Христина Григорьевна здесь, в Петрограде, а дети — у ее родителей в Николаеве. Да вы заходите в гости. Я вам сейчас черкану свой адресок — и мы будем ждать вас с мужем в ближайшие дни.

— Благодарю вас, Феликс Яковлевич, — сказала женщина, отыскивая в толпе мужа. — Мы с Марианом обязательно побываем у вас, нам есть о чем поговорить. Да вот, кстати, и мой муж.

К ним подходил невысокий худощавый человек лет под пятьдесят, с тонким лицом, на котором очень приятно выделялись серо-голубые глаза. Волос на голове почти не было.

— А-а, ты вот где, Светлана, — сказал негромко полковник, одетый в серый пиджак и такие же брюки. — А я тебя уже минут пять высматриваю. — Кону полковник очень вежливо, но сдержанно поклонился.

— Я здесь уединилась с твоим земляком, Мариан. Познакомься: Феликс Яковлевич Кон, польский революционер, жил у нас в Минусинске после каторги.

— Полковник Пшебышевский. — Мариан щелкнул каблуками и еще раз поклонился. — Однако, позвольте… Господин Кон… Вы судились по делу партии «Пролетариат»?

— Да.

— Тогда мне ваше имя знакомо. Я ваш товарищ по несчастью. Мне довелось начинать службу под началом капитана Люри. И хотя я в партии не состоял, но выполнял кое-какие поручения капитана — за это и поплатился. Пожизненная ссылка в Западную Сибирь.

— Однако уже полковник…

— Помогла русско-японская война. Подал прошение на высочайшее имя с просьбой отправиться на фронт — и был восстановлен во всех правах.

— Понятно, — неопределенно проговорил Феликс Яковлевич, вспомнив тот весенний день в Минусинске, когда исправник Стоянов предложил им, минусинским ссыльным, добровольно

отправиться на японский фронт и когда все они с презрением отвергли «монаршью милость». — Ну а где же вы теперь?

— Сейчас я на Юго-Западном фронте. Председатель солдатского комитета Восьмой армии. Командую дивизией.

— О-о! Без пяти минут генерал.

Лицо полковника приняло озабоченное выражение. Он взял под руку Светлану и Феликса Яковлевича и медленно повел их сквозь расступающуюся толпу солдат: чувствовалось, его здесь хорошо знали и уважали.

— Дело не в этом, господин Кон, — очень серьезно проговорил Пшебышевский. — Моей дивизией прежде командовал генерал Деникин и, насколько я успел понять, доверием солдат не пользовался, а это очень снизило ее боеспособность.

Феликс Яковлевич иронически поднял мохнатые, с густой сединой брови:

— Скажите, пожалуйста, разве генералу обязательно надо пользоваться доверием солдат, чтобы ими командовать?

— Я лично считаю это первым и самым главным условием боеспособности, — твердо сказал полковник. — Наглядный пример тому — Брусилов. Я три года воевал под началом Алексея Алексеевича и знаю, как глубоко верила ему солдатская масса. Потому-то он не только одерживал блестящие победы, но не менее, а может быть, еще более блестяще сохранял боеспособность войск во время отступления пятнадцатого года.

Феликс Яковлевич перехватил взгляд Светланы и понял, что она не просто любит своего немолодого мужа — она его обожает.

Мариана пригласили в президиум съезда. Светлана сидела рядом с Феликсом Яковлевичем и машинально слушала доклады всевозможных комиссий. И вдруг встрепенулась, услышав фамилию мужа. Худощавый, подтянутый и не очень внушительный в своем гражданском костюме полковник Пшебышевский спокойно прошел к трибуне и проговорил, четко выделяя каждое слово:

— Почетным председателем нашего войскового съезда я предлагаю избрать… Юзефа Пилсудского. — И, не дожидаясь аплодисментов, отправился на свое место в президиуме. Предложение полковника было неожиданным для многих делегатов, но, видя, что президиум горячо зааплодировал, стали аплодировать и делегаты. Светлана, естественно, аплодировала очень горячо и с недоумением поглядывала на Феликса Яковлевича, недовольно сдвинувшего брови и слишком уж усердно протиравшего очки.

Ораторов было много. Один прославляли манифест Временного правительства от 31 марта, в котором необходимость широких наступательных операций на фронте обосновывалась тем, что это нужно якобы для освобождения оккупированных польских земель. Другие — делегаты от солдат-поляков — требовали от правительства заключения такого мира, который бы гарантировал создание независимого социалистического польского государства.

Но эти голоса захлестывала высокая волна военно-патриотического психоза: наиболее верное решение польского вопроса виделось на полях сражений. Под восторженные крики представитель Верховного польского войскового комитета объявил о том, что комитет приступил к формированию особого Польского корпуса, что командовать этим корпусом поручено известному военному деятелю генералу Довбор-Мусницкому и что российский Генеральный штаб оказывает комитету самую решительную поддержку…

— Феликс Яковлевич, — спросила во время короткого перерыва Светлана, — я вижу, вы взволнованы, а что вам не нравится здесь, я никак не могу понять…

— Видите ли, Светлана, — ответил Кон, глядя прямо в темные глаза этой, по-видимому, очень искренней и доброй женщины, — мне очень многое не нравится…

— Что же именно?

— Нынешняя ситуация, например. Царизм свергнут, а империализм продолжает жить. Разве вам это не видится в атмосфере нынешнего съезда? Временное правительство пришло к власти на плечах революции. А теперь это же правительство пытается впрячь пролетариат и революционные войска в кровавую колесницу империалистической войны, гнусно спекулирует на желании солдат-поляков видеть свою родину свободной и независимой.

— Но разве для этого есть иная возможность, кроме победы над германскими и австрийскими армиями? — спросила Светлана не очень уверенно, и Феликс Яковлевич понял, что это не ее собственные мысли, а мысли полковника Пшебышевского.

— Есть. Победа над империалистической буржуазией и реакционной военщиной.

После перерыва слово предоставили Кону. Его, представителя левых польских социалистов, слушали очень внимательно, в напряженной тишине, и Феликсу Яковлевичу ни разу не пришлось усилить голос. Напряженное внимание делегатов он почувствовал сразу же, как только перешел к оценке текущего политического момента в стране. Он говорил о том, что

пролетариат должен стремиться довести революцию до конца; что пролетариат не должен обмануться обещаниями Керенских и Церетели; что обещания Временного правительства разрешить польский вопрос в результате военных побед — есть пустая демагогия, рассчитанная на обман солдат-поляков; что создаваемая польская армия нужна буржуазии не для освобождения польского народа, а, наоборот, для удушения революционных завоеваний…

Свою речь Феликс Яковлевич закончил под такую овацию, какой не удостоился ни один оратор:

— Тот, кто говорит, что польская армия единое целое, что она объединяет по-братски попа и холопа, тот говорит контрреволюционные речи. Речи, рассчитанные на то, чтобы обмануть польских солдат, бывших крестьян, чтобы натравить этих трудящихся на рабочий класс России. Нет, товарищи солдаты-поляки, выход из войны надо искать там, где его ищут российские солдаты, а именно на путях революции!

— Поздравляю, — сказал полковник Пшебышевский Кону в перерыве. — Ваша речь — образец политической полемики, но не более. Ваша позиция нереальна, потому что она лишена конкретных установок. Вот мне Временное правительство говорит: прогоните немцев с польских земель, и мы вам отдадим вашу Польшу. Это — конкретно. Я знаю, что мне делать. Я иду воевать. А с чем связываете свободу Польши вы? С какой-то мифической революцией.

— Пролетарская социалистическая революция — это вопрос ближайшего будущего. Победивший пролетариат России немедленно даст свободу и независимость пролетарской Польше.

Полковник сдержанно улыбнулся:

— Легко отдавать то, чего не имеешь. Ваш декрет будет стоить не больше, чем обыкновенный лист бумаги.

— Победа пролетарской революции в России вызовет цепную реакцию революций в Европе. И в первую очередь революционные события захлестнут страны, наиболее пострадавшие от войны — Германию и Австро-Венгрию.

— Вот видите господин Кон, в чем мы расходимся… Вы верите в силу революционных декретов, а я — в силу российского оружия.

— Неправда, полковник. Я тоже верю в силу российского оружия. Но главное оружие революционного народа России — не пушки и не штыки, а его вера в революцию.

«Я, генерал Корнилов, верховный главнокомандующий, заявляю, что беру власть в свои руки, чтобы спасти Россию от

гибели. Временное правительство идет за большевистским Советом рабочих и солдатских депутатов.

Временное правительство — шайка германских наймитов. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, люблю свою родину и доведу русский народ до Учредительного собрания. Не я послал Львова к Керенскому, а, наоборот, Керенский первый послал Львова ко мне и провокационно вынудил меня на наступление. Приказываю не исполнять распоряжения Временного правительства».

28 августа Феликс Яковлевич добрался до станции Дно, где выгружался из вагонов первый батальон польского легиона. Разыскивая солдатский комитет полка, который, как он узнал, прибыл с головным эшелоном, Кон наткнулся на патруль и был арестован. Молоденький офицер, начальник патруля, страшно волновался при аресте агитатора, но, чтобы скрыть волнение, проговорил небрежно своему помощнику, пожилому унтер-офицеру.

— Отведите вон на тот пустырь и расстреляйте.

Огорошенный таким неожиданным распоряжением, унтер-офицер спросил растерянно:

— Письменно приказ не подтвердите, господин прапорщик?

Прапорщик сильно покраснел от того, что эта канитель, по его мнению, слишком затянулась, и повернул к уитер-офицеру возмущенное лицо:

— Унтер-офицер Прохазка! Ты что, первый год в войсках?! Не знаешь, что приказы офицера не подложат обсуждению нижними чинами?!

— Я понимаю, — забормотал Прохазка, — но тут особый случай… расстрел без суда и следствия…

Прапорщик развел руками и, обращаясь за сочувствием к Кону, проговорил:

— Вот полюбуйтесь, господин агитатор… Командир легиона у нас идейный, разбаловал солдат, а офицеры теперь извольте наводить порядок. — Не дождавшись сочувствия от агитатора, прапорщик снова обратился к унтер-офицеру: — И никакой это не особый случай, Прохазка. Всех большевистских агитаторов мы расстреливаем на месте без суда я следствия…

— Я польский социалист, — сказал Феликс Яковлевич, раздосадованный тем, что ситуация так глупо осложнилась. — Вот мой мандат, выданный Петроградской секцией партии ППС-левицы…

Рыжебородый Прохазка укоризненно покачал головой:

— Вот видите, господин прапорщик… Арестованный,

оказывается, самый обыкновенный поляк, а вы его чуть ое расстреляли как большевика.

Прапорщик усмехнулся, опять же обращаясь за сочувствием к Кону:

— Ну до чего же темный народ эти наши славные поляки! Не понимают, как им не втолковывай…

— Хватит! — гневно оборвал прапорщика Кон. — Хватит! Ведите меня в солдатский комитет, у меня нет времени на пустопорожние разговоры.

— Ну что ж, — как-то злорадно усмехнулся прапорщик, — если вы не желаете быть расстрелянным по моему приказу, то я не возражаю, чтобы вас расстрелял поручик Львовский.

Поручик Львовский, упомянутый начальником патруля, оказался председателем солдатского комитета, на содействие которого надеялся Феликс Яковлевич, направляясь в польский легион. Был поручик молод, необыкновенно высок, остролиц и русоволос. Узнав, что к нему привели агитатора из Петрограда, разразился самой отборной бранью. Чувствовалось, что он человек невоенный, попал в легион случайно из каких-то провинциальных чиновников. Он безмерно гордился своим офицерством и особенно тем, что оказался во главе солдатского комитета полка. И при всем том совершенно не знал, как вести себя сообразно высокому положению.

Феликс Яковлевич спокойно переждал крики поручика. Видно было, что поручик начитался буржуазных газет и теперь во всех неудачах июльского наступления и в сдаче немецким войскам Риги винил «безответственных» политиков из Петроградского Совета.

— У правительства нет выбора, — наконец выкричавшись, проговорил Львовский. — Оно либо должно согласиться на покровительство генерала Корнилова, либо будет сметено волной всенародного возмущения. Падение Риги переполнило чашу нашего терпения. Большевистский Совет своей разлагающей бездеятельностью ведет страну на край государственной катастрофы. Немцы не только навсегда оккупируют Польшу, но и не сегодня завтра захватят Петроград и Украину. Вы почему мне не возражаете?

Феликс Яковлевич усмехнулся:

— Ваши представления о текущем моменте столь наивны, что их совершенно невозможно воспринимать всерьез. Между прочим, на таких простачков и рассчитывает Корнилов. И если мы намерены предотвратить столкновение, то не потому, что боимся потерпеть поражение, а потому, что не хотим гибели обманутых вами солдатских масс. Железнодорожные пути за Лугой взорваны.

Корнилову понадобятся месяцы, чтобы хотя несколько дивизии походным порядком добрались до Петрограда. Тем временем против мятежного генерала поднимется вся страна, и он будет раздавлен без промедления.

От Кона не укрылось, что слова его подействовали на Львовского угнетающе, хотя поручик и продолжал взбадривать себя доводами, в которых и сам уже начинал сомневаться.

В это время двери штабного вагона, в котором располагался солдатский комитет, гулко распахнулись, и поручик Львовский вскочил. Кон обернулся, и тут же его глаза встретились с прямым суровым взглядом полковника Пшебышевского. С минуту Мариан молчал, не находя слов, чтобы выразить свое отношение к столь неожиданной встрече. Наконец сделал еще шаг вперед и, окруженный группой молодых офицеров-поляков, одетых в новенькую форму российской армии, проговорил медленно:

— Господин Кон… Чем обязан вашему появлению в расположении моих войск?

Феликс Яковлевич медленно поднялся, снял очкии, протирая их носовым платком, спросил:

— Ваш вопрос, господин Пшебышевский, следует воспринимать как проявление обычной польской вежливости? — Полковник промолчал, но не было времени на молчание у Кона. — Вы же прекрасно понимаете, что я один из тех агитаторов, которых вы расстреливаете без суда и следствия…

— У нас нет необходимости прибегать к крайний мерам, — сказал полковник. — Я уверен в своих солдатах и не боюсь никакой агитации.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

— В таком случае вы не должны помешать мае разъяснить вашим солдатам, что ожидает их на подступах к Петрограду, — быстро проговорил Кон.

— Вам никто не мешает.

— Тогда прикажите освободить меня из-под ареста.

— Вы свободны.

Кон окинул напряженным взглядом настороженно-внимательные лица легионеров, расположившихся вдоль насыпи, выглядывавших из полутемных проемов теплушек.

— Товарищи солдаты! Для разговора с вами, солдатами-поляками, мне, польскому социалисту, дали всего несколько минут. Но и за это я благодарен командованию легиона, потому что я их получил вместо того, чтобы быть расстрелянным. А знаете, почему генерал Корнилов так жесток с нами, социалистами? Потому что он знает: самое непобедимое оружие

— это слово правды, которое несут вам агитаторы. А правда заключается в том, что вас ведут не для борьбы с буржуазным Временным правительством, а ведут вас на революционный Петроград. Нынешний конфликт между коалиционным правительством Керенского и мятежным генералом Корниловым — это не конфликт между революцией и контрреволюцией… Это просто два различных метода контрреволюционной политики, направленной на удушение революционных завоеваний. Но партия Корнилова — это наиболее злейший враг революции. Авантюрное наступление на фронте, вызванное контрреволюционными соображениями, облегчило работу германскому оружию. Корнилов, сдавший Ригу, не остановился перед тем, чтобы открыть поход против Петрограда. Но напрасно он рассчитывает на легкую победу. Вооруженный пролетариат Петрограда, революционные войска его гарнизона поклялись защищать колыбель революции до последней капли крови. Солдаты-поляки! Вам обещали свободную и независимую Польшу, если вы ляжете костьми у стен Петрограда. Не обольщайтесь! Своей смертью вы не купите свободу Польши. Подняв оружие против революции, вы обретете только вечное проклятие потомков…

Переизбранный солдатский комитет полка постановил: движение на Петроград приостановить, о данном постановлении поставить в известность командование легиона.

Вскоре стало известно: генерал Корнилов от должности верховного главнокомандующего отстранен и арестован.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Революция, которой предрекали всего несколько недель или месяцев жизни, жила уже второй год и не собиралась сдаваться. И чем упорнее она проявляла волю к жизни, тем яростнее копила злобу контрреволюция. Мятежи и заговоры сменяли друг друга, почти не прекращаясь.

Заговорщики действовали с отчаянием обреченных. Восточный фронт, переломивший страну пополам — вдоль Урала и Волги, — поглощал дивизию за дивизией — с обеих сторон — и, судорожно извиваясь, цеплялся за каждый буерак и косогор, пытаясь устоять против таранных ударов многотысячными человеческими массами…

Революционная Россия готовилась к отпору буржуазной Польше, нацелившейся на Украину.

После победы Октябрьской революции Польше была предоставлена самостоятельность. Но во главе государства оказался Юзеф Пилсудский, который главной своей задачей считал войну с Советским правительством. На Украину направлялись лучшие агитационно-пропагандистские и военно-политические кадры Советской России. Отбыл туда и Феликс Кон. Он давно и хорошо знал и любил Украину. Он вез с собой на юг большие надежды, которые возлагал и на польских коммунистов, представлявших тогда в Киеве и Харькове значительную политическую силу. Поляки в Киеве издавали газету «Голос коммуниста» — Феликс стал ее редактором.

В Харькове с середины семнадцатого года пришлось побывать несколько раз. Харьковская организация левицы была самой многочисленной в России.

На одном из частых в это время митингов, на которых Феликсу Яковлевичу приходилось выступать иногда по нескольку раз в день, к нему подошел пожилой низкорослый человек, заросший до самых глаз неопрятной сивой бородой.

— Здравствуй, Феликс, — сказал незнакомец, подавая широкую мозолистую ладонь. — Не узнаешь?

Но Феликс Яковлевич уже узнал — узнал по голосу.

— Алексей! Здорово! — ответил так, как было принято приветствовать друг друга во времена минусинского ссыльного сидения.

— Спасибо, паря, — осклабился Орочко, открыв почти беззубый рот. — Не забыл наше сибирское братство, стало быть?

— Такое, Алексей, не забывается, — ответил Кон,

почувствовав в голосе Орочко какой-то плохо скрытый упрек.

— Ну, ежели эдак-то, — продолжал Орочко, доставая объемистый, сшитый, видимо, из солдатской портянки кисет и распуская его, — то, может, и в гости заглянуть не побрезгуешь?

— Не побрезгую, загляну, как только пригласишь, — искренне сказал Кон и, с минуту подумав, добавил: — Только ты уж этот тон оставь для кого-нибудь другого.

— Ну жа, не серчай, — похлопывая Феликса по плечу широкой загребистой ладонью, потеплевшим голосом проговорил Орочко, и сердце Феликса сразу помягчало. Как-никак, в ссылке они долгие годы жили душа в душу. Это разом не зачеркнешь. — А ежели ты на сегодня свободен, то можно было бы прямо сейчас и пойти ко мне. Я тут недалеко обретаюсь. Полчаса каких-нибудь пешего хода.

Пошагали, заложив за спину руки. Это тоже осталось от минусинских привычек, когда, бывало, часами бродили, мечтая о будущем, по гранитным плитам тротуара в пыльном сибирском городишке. Первые минуты молчали, никак не находя подхода к простому разговору. Наконец заговорил Орочко:

— На тебя, Феликс, я зла не держу. Ты все-таки иностранец и прямой твоей ответственности нет за то, что большевики разгромили сначала Центральную раду, а теперь Директорию.

— Рада, как ты хорошо знаешь, — сказал Феликс, — сама подписала себе смертный приговор, призвав на Украину немцев. На немецких штыках держалась и Директория. Вымели немцев, — естественно, вымелся с ними и ваш Симон Петлюра со своей братией.

— Симон — ваш брат, Феликс, а не наш. Он лидер Украинской социал-демократической рабочей партии и к партии эсеров не имеет никакого отношения.

— Дело не в названии, а в сущности явления. А база у Петлюры и у эсеров одна — кулачество и националистически настроенная интеллигенция…

Орочко жил, как он сам выразился, «пролетарствующим интеллигентом». Занимал комнату в старом полуразвалившемся двухэтажном каменном доме — с шатающейся деревянной лестницей, с дверьми, обитыми с целью утепления каким-то тряпьем, с кипящими где-то в темноте под лестницей самоварами.

Разделись. Феликс повесил свою солдатскую шинель и шапку на гвоздь, вбитый в косяк двери, а Орочко бросил бобриковую тужурку и мохнатую, скорее всего вывезенную из Сибири, шапку на диван с залоснившейся кожей и высоким деревянным верхом. Пошел в коридор заказывать самовар, который тут же и принесла

пожилая полная украинка с черными вьющимися волосами, выбивающимися из-под платка.

Чай пили крепчайший, какой пивали в Минусинске, у хлебосольной жены Алексея. Где она сейчас, Алексей ничего не говорил, а Феликс считал почему-то неудобным спрашивать его об этом. Все-таки, как ни крути, а товарищеского разговора между двумя бывшими поселенцами не получилось.

И только было Алексей открыл рот, чтобы произнести какую-то фразу, как в дверь постучали.

— Да, да! — воскликнул Алексей, нехотя поднялся и направился к двери. — Входите. О-о! Какая гостья! — с преувеличенной громкостью проговорил он, воздевая над головою руки. — Да как кстати! Ты посмотри, Александра, кто у меня сидит! Аль не узнаешь?

Феликс повернул голову к двери: прищурив ярко-синие глаза, всматривался в худенькую остролицую старушенцию, которую раздевал Алексей, снимая с нее дорогое меховое манто, правда, изрядно поношенное, но никак не мог вспомнить ни этих выцветших глаз, ни этого обвисающего морщинистого лица, ни этого писклявого голоса.

— Если не ошибаюсь, Феликс Кон, — сказала гостья, подходя к столу. — А я вас узнала по портретам в газетах. Да, в сущности, вы мало изменились. Если сбрнть бороду и покрасить волосы, вас можно пустить на бал в Мариинский институт. Помните выпускпой бал, кажется восемьдесят второго года? И там еще была классная дана Александра Епты с? Так это я…

Кон поднялся.

— Здравствуйте, — сказал он сдержанно. Еще двадцать лет назад, в ссылке, он узнал о том, с какой быстротой менялись взгляды Александры Ентыс, бывшего члена Центрального комитета партии «Пролетариат».

Примкнув к эсерам, она с самоотверженностью, достойной лучшего применения, нападала на марксистов, а потом — еще более яростно — на большевиков.

— А я, знаете, — сказала Ентыс, протягивая руку, — не хотела подавать вам руки, если, думаю, когда-нибудь придется встретиться. Ну, да уж ради памяти нашей несчастной Розалии… Вам не приходилось с ней встречаться после Варшавы?

— Нет, к сожалению. Она умерла во время этапа. А на ее могилу в Нижнеудинске мне удалось попасть лишь по возвращении из Якутии, уже много-много лет спустя…

— Да-а, — глубоко вздохнув, произнесла старушка. — Судьба. У каждого — своя.

В тягостном молчании все уселись за стол и принялись за

чай. Потом, явно вызывая Феликса на спор, Ентыс спросила:

— Ну а что же вы не спросите даже, как я живу? Чем занимаюсь? Каковы мои политические взгляды?

— Да чего же спрашивать, когда все и без того давным-давно ясно, — буркнул Кон, хлебнув большой глоток крепчайшего чая. — Это уже неинтересно.

— Вот как? А мне, например, очень было бы интересно узнать, чем питаются ваши симпатии к экстремизму большевиков?

— В чем вы видите экстремизм?

— Не я, вернее… не только я, весь мир его видит… Вам мало разгромленной Центральной рады? Может быть, вам мало и разогнанного Учредительного собрания? Тогда вспомните своих товарищей по сибирской каторго и ссылке, которые образовали Сибирскую областническую думу и которых большевики арестовали, посадили в вагон и отправили на станцию Тайга…

— По-моему, все это настолько просто объясняется, что не стоит тратить время, — вяло ответил Кон, которому этот навязываемый старой эсеркой спор в самом деле казался ужасно архаичным и неинтересным…

Связной запомнился тем, что имел совершенно незапоминающуюся внешность. Ничего в его лице не было такого, что остановило бы внимание встретившегося с ним впервые человека. Нос небольшой, глаза тоже небольшие, вместо усов на верхней губе чуть заметная щеточка белесоватых подстриженных волосиков, подбородок мягкий, округлый — никаких признаков воли, характера, хотя на самом деле он обладал и тем и другим, если не в избытке, то вполне достаточно для той опасной жизни, какую приходилось ему вести сначала в омском подполье, потом в повстанческих и партизанских отрядах.

Здесь только один Кон знал, что ко всем этим событиям имел самое непосредственное отношение сидевший перед ним человек с незапоминающейся внешностью. Поставляемая им информация помогла частям Ворошилова и Пархоменко, наступавшим с Кременчугского и Екатеринославского направлений, окружить и уничтожить основные силы атамана Григорьева, бежавшего под защиту Махно.

Теперь Зафронтовое бюро направляло этого удачливого связного в Киев, где ему предстояло выйти на связь с агентом по кличке Соловый, работающим в главном штабе главнокомандующего генерала Деникина. Явочная квартира, через которую держал связь Соловый, недавно была провалена. Теперь были подготовлены новые каналы связи, осуществить

которую поручалось человеку с незапоминающейся внешностью.

— Итак, — говорил Феликс Яковлевич, — вы, стало быть, житель Овруча. Вас насильно мобилизовали в свое время в Красную Армию. Теперь удалось дезертировать, и вы пробираетесь в Киев, к своему брату Марьяну, который имеет собственный дом и галантерейную лавку при доме на Трехсвятительской улице…

— Уяснил. Мне бы, товарищ, хотелось чуть поподробнее узнать о том Студенте, через которого я выйду на связь с Соловым. Что из себя представляет среда, в которой обретается вышеназванный Студент? Знание обстановки иногда может сыграть существенную роль в нашем деле.

— Отлично понимаю, — сказал Феликс Яковлевич, перенесясь мысленно в те далекие восьмидесятые годы, когда так удивительно легко проваливались явки и когда такой страшной ценой платили молодые пролетариатцы за эти провалы. — Отлично понимаю. Среда, окружающая Студента, для Киева необычна. Это молодежная группа из юношей польского происхождения, примыкающая к так называемой «Польской организации войсковой», сокращенно — «ПОВ».

— Что же это за войсковая организация? Откуда она там взялась?

— Да вы, наверное, знаете, что Временное правительство поощряло идею создания польских легионов, которые должны были действовать на оккупированной немцами земле Польши? Остатки их объединились еще в семнадцатом году. Мечтают об отторжении западных земель Советской Республики и присоединении их к буржуазной Польше. Теперь, надеюсь, вам понятно, почему важно иметь своих людей в этой организации? Тем более, что «ПОВ» располагает большими запасами оружия и боеприпасов.

— Откуда оно у них?

— Припрятали при ликвидации легионов. Через своих людей в «ПОВ» мы имеем доступ к секретным службам Деникина, Петлюры и Пилсудского. Отступая, контрреволюция будет стараться вывести из-под наших ударов как можно большее число боевых частей, чтобы потом, собравшись с силами, открыть новый фронт. Поэтому в и должны передать Соловому недавно выработанную Зафронтовым бюро директиву: «Всем повстанческим войскам Украины немедленно открыть военные действия против Деникина». Необходимо нападать на отступающие деникинские части, не давать им разрушать железнодорожные пути, станции, мосты. Нами предусмотрены возможные пути ухода противника. В этих направлениях и

должны действовать партизанские отряды.

— Задача ясна.

— Прекрасно, — удовлетворенно сказал Феликс Яковлевич, — а теперь давайте повторим все сначала. Не забыли?

— Кажется, нет. Столовая по улице Рейтарской, где питаются студенты-поляки.

— Верно. Фамилию помните?

— Да. Юзеф Борисковский.

— Каким образом вы с ним знакомитесь?

— Смотря по обстоятельствам. Главное — наедине. Подойти и сказать: «Нечипор просил помочь устроиться на работу». Он спросит: «Какой Нечипор?» Я отвечаю: «Нетреба». «Ах, Нетреба! Так бы и сказали сразу. Ну что ж, чем смогу, тем помогу». Вот и все.

Кон улыбнулся. Потом подал руку:

— Желаю успеха. И не позже, чем через неделю, жду ответа о встрече с Соловым.

Через два часа в сумерках по узкой лощине нешибко проскакал взвод Конной разведки. В заброшенном хуторе разведчики напоролись на засаду и были рассеяны. Однако один из разведчиков неожиданно повернул коня, перемахнул через поваленный плетень в заснеженный сад, среди голых деревьев которого скапливались потемки. Красные конники пустили ему вдогонку несколько залпов, но, заметив пытающийся отрезать их отряд казаков, ускакали в сторону расположения своих частей. Дезертира сдернули с коня и, связав руки, повезли в штаб. Дезертир боялся только одного: как бы гарцевавший рядом пожилой кубанец-вахмистр не смахнул ему голову своей обнаженной шашкой…

К Киеву рвались две вражеские силы. Со стороны Полтавы, стремясь прорвать линию обороны 14-й армии Южного фронта, наступал Деникин. С запада прокладывали дорогу в бесконечных ожесточеннейших боях армии Петлюры и Пилсудского. Обе наступающие силы старались опередить друг друга. Деникин хотел помешать Пилсудскому в его намерениях расширить Польшу «от моря до моря». Белополяки и петлюровцы возымели желание опередить русского генерала и поставить его перед совершившимся фактом захвата столицы Украины.

Белополякам и петлюровцам противостояла 12-я армия Западного фронта, ее передовые соединения — 44-я дивизия Щорса и 45-я дивизия Якира, в которую входила кавалерийская бригада Котовского. Бойцы сражались с крайним напряжением сил. В одном из боев погиб Щорс. 30 августа Киев пал.

Ворвавшихся в него петлюровцев на другой день вышвырнули деникинцы.

Представитель редакционно-издательской комиссии Польского бюро при Реввоенсовете фронта и член Зафронтового бюро, руководившего деятельностью подполья и партизанскими операциями в тылу врага, Феликс Кон в своих брошюрах, предназначенных для солдат, использовал информацию, добытую непосредственно на полях сражений. В середине октября он — на центральном участке Южного фронта, где шли самые ожесточенные бои. Была поставлена наитруднейшая задача: наступлением на Харьков вбить клин между Добровольческой и Донской армиями Деникина, прорваться в тыл и тем самым остановить наступление противника в глубь Украины.

В передовых частях группы Феликс Яковлевич неожиданно встретился с Глафирой Ивановной Окуловой, которая, как оказалось, заведовала политотделом армии. Ровно два десятка лет минуло с их последней встречи в Минусинске. Тогда Глафиру Ивановну, тоненькую стройную гимназистку с длинной косой, сосланную под надзор полиции по месту жительства родителей, известных золотопромышленников, все близкие называли «солнечным зайчиком». Тогда она носила белое платьице с черным бантом на груди, а теперь Кон видел перед собой средник лет женщину с обветренным лицом с заострившимися скулами, с плотно сжатыми тонкими губами, в сапогах, в кожаной тужурке, подпоясанной широким офицерским ремнем, с наганом в потертой кобуре. На коротко остриженных темно-русых волосах — меховой берет, на шее — грубовязаный шарф; короткая юбка, лишь чуть закрывающая колени. Ее посадке в кавалерийском седле мог позавидовать любой наездник. Впрочем, скакать верхом на лошади Глафира привыкла еще в детстве, когда приезжала на каникулы в деревню Шошино, что в нескольких десятках верст от Минусинска.

Феликса она встретила радостно. Но поговорить толком не пришлось. Только что были получены данные разведки о подготовке к наступлению целой дивизии корниловцев, состоявшей почти целиком из бывших царских офицеров.

— Эти пулям не кланяются, — сказала Глаша Кону, — сомкнутыми рядами идут на пулеметный огонь. Действуют на психику наших бойцов.

— Ну и как? Получается? — спросил Кон. Ему приходилось слышать о так называемых «психических» атаках, применяемых командованием корниловской, дроздовской дивизий Добровольческой армии.

— Да, под Харьковом и под Курском, да и еще две недели

назад под Малоархангельском… «психические» атаки подавляюще действовали на наши части. Тогда бойцы и стреляли недружно, не целясь, и, не выдержав, бежали в тыл. Сейчас положение изменилось. Однако, когда доходит до психической, я и теперь всегда стараюсь попасть в передовые цепи. Бойцов это воодушевляет.

— Ну что ж, — сказал Феликс Яковлевич, улыбнувшись в бороду по своему обыкновению, — думаю, что и мое присутствие на передовой не будет бесполезным. Завтра же обо всем увиденном напишу в специальной листовке.

— Тогда поехали, — сказала Глаша и приказала вестовому приготовить коня для Феликса Яковлевича.

Осень 1919 года была холодной. На обочинах уже всюду лежал снег, изорванный Конытами и колесами, обрамляющий темные зевы воронок от взрывов артиллерийских снарядов; разбитая в клочки земля проселочных дорог блестела комьями, схваченными ночными заморозками. Феликс и Глаша обгоняли колонны бойцов, шагавших на передовую.

— Третий раз проходим по этим дорогам, — сгазала Глаша, едва размыкая губы. — То отступаем, то наступаем. Но, как видите, на лицах бойцов только упорство и нетерпение поскорее добраться до передовой… А по нашим тылам еще носится Мамонтов со своим смертоносным корпусом. Так что пусть не надеются господа корниловцы на успешную встречу с этими людьми. У нас нет иного выхода, кроме как уничтожить врага.

На рассвете были уже в цепи. И тут Феликс Яковлевич впервые увидел, как ходят в атаку корниловцы.

Сначала в утренней хмари ничего не было видно. Но вдруг послышалась резкая длинная дробь барабанов, и, прильнув ухом к земле, Феликс явственно услышал грозную поступь многих сотен людей. И тут же и увидел первую плотную шеренгу идущих, как на параде, со штыками наперевес… высоких статных людей в шинелях.

Феликс Яковлевич огляделся по сторонам: на лицах бойцов, лежащих по обе стороны от них с Глашей, — напряженное внимание. Прошедший сзади по траншее командир поминутно повторял:

— Без команды не стрелять… цельсяя каждый не суетясь… подпустим на триста шагов — раньше не стрелять…

И вдруг не очень громкая, спокойная команда:

— По врагу — огонь!

Первый залп вырвал множество темных фигур из мерно шагавшей по промерзлой земле колонны. Оставшиеся в живых, перешагнув через убитых, сомкнули ряды и ускорили шаг. Второй

залп, ударивший не менее дружно, тоже не остановил наступающих. И только поело третьего остатки атакующих кинулись назад…

Но тут же снова ударили бесконечной дробью барабаны, и в быстро светлеющей дали появилась новая колонна наступающих. Она шла более сомкнуто, более упорно и более обреченно… За первой колонной показалась вторая, потом — третья, четвертая, пятая… За каждой, размахивая сверкающими клинками, шли командиры, направив наганы в спины атакующих…

И вдруг Феликс увидел вылетевшую из-за атакующях колонн кавалерийскую леву. Сверкая клинками, кавалерия кинулась в обход наших позиций, норовя обойти красноармейские цепи с тыла. Лежавший неподалеку от Феликса боец приглушенно крикнул: «Кавалерия справа!» — но крик тут же оборвался, и все увидели, как навстречу белогвардейцам из-за бугра вылетел полк красных конников, и обе лавы тут же в неширокой лощине схлестнулись в отчаянной рубке…

— Этот маневр белых мы давно разгадали, — сказала Глаша, глядя на кавалеристов, — и теперь у нас всегда наготове конная засада…

До лежащих в цепи бойцов доносилось дикое ржание лошадей, звон и скрежет скрещивающихся сабель… Атака белой конницы была смята в несколько минут. По наступающим ударили один за другим несколько залпов, длинными очередями резали колонну пулеметы…

И тут Феликс увидел перед собой вскочившую на бруствер Глашу: размахивая наганом, она кричала, обернув бледное лицо к залегшей цепи:

— Вперед, ребята!

— Впере-ед!..

— На штыки!

— На штыки-и!..

Весной 1920 года Кона вызвали в Харьков. Он покидал Киев, расцвеченный ранневесенней зеленью, которая укрывала раны, нанесенные городу во время недавних боев с деникинцами. С древней столицей Украины Кон сроднился так же быстро, как сроднился с Харьковом два года назад, когда возглавлял Харьковскую секцию левицы. За время гражданской войны Украина стала его второй родиной. Весна нынче пришла рано, и, если выдавалось несколько свободных минут, Феликс Яковлевич выходил прогуляться по Крещатику и непременно сворачивал в парк на Владимирской горке. Здесь, стоя у памятника великому киевскому князю, вознесенному над днепровской кручей, с

высоко поднятым над головою бронзовым крестом, он теперь все чаще мысленно обращался к Варшаве…

В Харькове прямо с вокзала Кон отправился в Центральный Комитет Компартии Украины. В иное время он обязательно выбрал бы несколько минут, чтобы полюбоваться на Покровский и Успенский соборы, взглянуть на Екатерининский дворец, пройтись возле университета… Сейчас не до того.

Косиор принял сразу же. Встал из-за стола, приветливо поглядывая из-под густых бровей. Крепко пожал руку. Уселись за приставным столиком, на котором были разостланы карты областей, примыкающих к линии расположения польских армий.

— Извини, — сказал Косиор. — Знаю, что в киевской партийной организации работы непочатый край и тебе дорога каждая минута, но пришлось все-таки оторвать на время.

— Можешь не извиняться, Станислав Викентьевич. Если вызвал, значит, есть к тому необходимость.

— Вот именно. Выступление Троцкого на Шестнадцатой Московской губернской партконференции читал? — спросил Станислав Викентьевич и, не дожидаясь ответа, заговорил с нескрываемым гневом: — Ведь надо же додуматься?! Заявить, что Западный фронт сейчас пассивен и не имеет самостоятельного военного значения — сейчас, когда у Пилсудского подготовлена полумиллионная армия… Я, знаешь, даже слов не нахожу, чтобы дать должную оценку такой позиции…

— Я уверен, — сказал Кон, — что партия решительно пресечет демобилизационные настроения. И такое указание, конечно, будет дано нашему военному командованию.

— Вопрос в том, сумеет ли оно своевременно произвести перегруппировку сил и подготовиться к отпору, — озабоченно проговорил Косиор. — Есть предположение, что противник главный удар нацелил на Украину, на Киев. Поэтому подготовку к обороне города надо поставить в центр внимания. Ты остаешься представителем ЦК в Киевском губкоме. На твоей ответственности, Феликс Яковлевич, мобилизация коммунистов. Кстати, нет ли чего нового от твоего агента?

— Соловый в последнее время находился в ставке Врангеля, недавно отозван в Варшаву. Получена первая информация оттуда. На Украине будут действовать три из шести польских армий. На Киев нацелена Третья армия. На левом крыле будет наступать Вторая армия. На правом — Шестая. Она наносит вспомогательный удар на Одессу. Седьмая, Первая и Четвертая армии сосредоточены на Белорусском направлении; Пилсудский решил сначала разгромить наш ослабленный Юго-Западный фронт, а потом, оставив Украину Петлюре, повернуть все силы на

северный участок. С Петлюрой готовится договор о совместных действиях на Украине.

— Понятно. Пилсудскому этот союз нужен как политическое прикрытие агрессии, — сказал Косиор. — Меня беспокоит другое. Юго-Западный фронт может противопоставить Пилсудскому только две армии — Двенадцатую и Четырнадцатую, а их белополяки превосходят более чем в два раза. Тринадцатая армия едва сдерживает Врангеля.

— Будем сражаться с учетверенной стойкостью. Главное — не дать окружить и уничтожить Двенадцатую и Четырнадцатую наши армии. Соловый сообщает, что это сейчас главная задача, которую ставит пан Юзеф перед своими тремя южными армиями.

— Надежно ли законспирирован наш агент? — спросил Станислав Викентьевич.

— У него хорошее прикрытие.

Поезд, в котором Кон уезжал в Киев, отошел от Харькова далеко за полдень. Феликс Яковлевич так торопился, что не успел пообедать и, почувствовав приступ голода, вышел из вагона на узловой станции Люботин, где была объявлена десятиминутная остановка. По перрону сновали крикливые бабы, предлагавшие пассажирам домашнюю еду. Феликс Яковлевич остановил одну торговку, купил полдесятка вареников с вишней, завернутых в какое-то разорванное надвое воззвание местного ревкома и направился было в свой вагон. В это время к перрону подошел следующий на Сумы товарняк, облепленный мешочниками, и оборванная орущая толпа кинулась к вокзалу. Кона едва не сбил с ног коренастый мужичок, до самых глаз заросший свалявшейся бородой. Бородач приостановился, чтобы извиниться, и в ту же

секунду его цепкие пальцы схватили Кона за плечо.

— Феликс! Вот так встреча! Здравствуй, брат! Не узнаешь?

Но Феликс Яковлевич уже узнал бородача. За два года, что они не виделись, Орочко постарел. В мешке за плечом побрякивал какой-то инструмент.

— Здравствуй, Алексей! Ты куда это несешься сломя голову?

— Встреча у меня тут. С артельщиком. Набирают артель на торфоразработки. Деньги, говорят, большие платят. Вот я и соблазнился. — И, покосившись на синий пульмановский вагон, к которому направлялся Кон, произнес: — А ты, брат, все в гору идешь. Ну да каждому свое. Я тут как-то в Москве был, Тютчева встретил, удивился до крайности… Как, говорю, ты разве не в эмиграции? Разве ты уже с большевиками?

— Ну и что же он? — спросил Феликс.

— Нет, говорит, я не с большевиками, я — с Россией. И тем же самым тоном, каким он, знаешь, со всеми нами в Минусинске разговаривал. А знаешь, кого еще мне довелось встретить? Не думай, не догадаешься. Глашу Окулову… Виноват, Глафиру Ивановну. Она ведь теперь в генеральском чине. Помнишь девчушечку, что у доктора Малинина в Минусинске останавливалась, когда тайно от отца и исправника Порфишки к нам приезжала? Ну, я тебе скажу, вот это фунт изюму! Какой наганище у ней на боку! Каким взглядом меня полосонула!.. А ты еще со «солнечным зайчиком» окрестил, стишки ей декламировал, а Старков и Кржижановский ей и ее сестрице романсики напевали… Да-а, вот оно как повернулось все…

— Я с Глафирой Ивановной совсем недавно виделся, — сказал Кон суховато.

— Ну да, ну да, — поспешно заговорил Алексей. — Так оно и должно быть, ведь вы же теперь по одну с ней сторону баррикад, как говорится…

В это время ударили в станционный колокол. Алексей задержал руку Феликса в своей мозолистой широкой ладони, спросил:

— Ну а чего ты мне пожелаешь? Тоже дороги скатертью?

— Смотря в какую сторону ты лыжи навострил…

— Понятно. Где живешь-то? Может, и заверну на огонек, если нужда припрет.

— В Киеве.

— О-о! В Киеве! Ну, там вам жить недолго. Пилсудский, слышно, всерьез на вас осерчал.

— Пилсудский на меня уже пятнадцать лет серчает, с самой первой нашей встречи, а я, как видишь, все еще здравствую. На нас и Деникин с Колчаком серчала. А чем все кончилось?..

Поезд тронулся. Феликс Яковлевич вскочил на подножку и, держась за поручень, обернулся: Алексея Орочко на перроне не было. Как сквозь землю провалился.

В тот же день Кон говорил по прямому проводу с Лениным:

— Несмотря на то что обстановка в районе Киева складывается неблагополучно, — сказал Владимиру Ильичу, — мы полны оптимизма, мы твердо верим в победу.

О своем разговоре с Лениным Феликс рассказал на митинге красноармейцев и закончил выступление такими словами:

— Мы сокрушили врага несравнимо более страшного. Мы победили самодержавие, помещиков и капиталистов своих — мы победим и польских помещиков и капиталистов.

Приказ о наступлении Пилсудский отдал 17 апреля, а 25-го соединения трех армий хлынули на Украину. Войска 12-й и 14-й армий Юго-Западного фронта дрались отчаянно, но, чтобы не оказаться окруженными в несколько раз превосходящими силами польских армий, вынуждены были отступить. 26 апреля оставили Житомир и Коростень, а 6 мая армия Рыдз-Смиглы захватила Киев и форсировала Днепр. Но обе советские армии вышли из-под удара — окружить их польским войскам не удалось. Тем временем были созданы необходимые условия для перехода Красной Армии в контрнаступление.

Главный удар наносили в Белоруссии армии Западного фронта, которым командовал совсем юный красный полководец Тухачевский, прославившийся победами над Колчаком. 14 мая перешли в наступление 15-я армия Корка, а 19 мая — 16-я армия Соллогуба. И хотя наступление в Белоруссии было сначала неудачным, но оно, сковав здесь значительные силы белополяков, дало возможность подготовить контрнаступление на Украине, где 25 мая к линии фронта подошла 1-я Конная армия, которая уже в начале июня прорвалась противнику в тыл. А 12 июня войска 12-й армии Меженинова вошли в Киев. Перед Конармией Буденного была поставлена задача прорывом фронта севернее Киева окружить отступающие войска.

В один из этих дней в старом деревянном особнячке Феликс Кон встретился со своим связным.

— Как чувствует себя Соловый? — спрашивал Феликс Яковлевич. — Как относятся к нему офицеры?

— Самочувствие хорошее, — отвечал человек с незапоминающейся внешностью. — Соловый всегда остается самим собой, и это делает его неуязвимым. Хотя, впрочем, есть один незначительный штришок…

— Что такое? — встревожеино спросил Феликс Яковлевич.

— Так, в сущности, пустяковина. Случайная встреча с неким поручиком Львовским…

— Львовский! Знаю такого. Дурак, но дурак опасный. Лучше было бы его убрать.

— Посмотрим, как все будет складываться. Для вас, думаю, представит некоторый интерес последняя информация, полученная от Солового… В Житомир приехал Пилсудский. Там находится штаб-квартира Украинского фронта. Пилсудский решил лично руководить операциями южных армий.

— Что-нибудь уже придумали? — спросил Кон.

— Да. Кавалерийская дивизия генерала Карницкого из-под Жмеринки, где она входила в Шестую армию Ромера, двинута на север. Ее задача: следовать по пятам Первой Конной, прорвавшей фронт севернее Киева. Цель Карницкого вполне очевидна: задержать, сколько возможно, наших конников и не дать им окружить отступающие войска.

Феликс Яковлевич поблагодарил за ценные сведения и попросил информировать обо всем, что будет происходить в Житомире в связи с приездом туда Пилсудского. Связной качнул головой и, поняв, что время беседы истекло, поднялся.

— Врангель начал наступление еще шестого июня. Тринадцатая армия сопротивляется как может, но она ведь слишком слабый заслон на пути войск барона. Отступает. Да вот правильно говорится, что нет худа без добра. Врангеля так и так надо выманивать из Крыма. Как только покончим с Пилсудским — навалимся на врангелевцев и на их плечах ворвемся на полуостров. Иначе штурм укреплений на перешейках будет нам стоить очень дорого. Антанта так закупоривает горловину полуострова, что, кажется, намерена держать там своего Петра Николаича до второго пришествия… Так что папа Юзефа мы должны расколотить как можно скорее и как можно решительней.

— Мы чем можем, тем поможем. Одним словом, сделаем все, что в наших силах. И даже больше.

4 июля в полночь был взят город Ровно. Феликс Кон был здесь уже под утро, остановился в гостинице «Версаль», где расположился Реввоенсовет и полевой штаб армии.

Днем он опрашивал только что освобожденных из городской тюрьмы заключенных, арестованных польскими оккупационными властями. Это были люди самых разнообразных профессий и политических взглядов, и порою, беседуя с ними, Феликс Яковлевич недоумевал: чем руководствовалась польская администрация, изолируя явных антисоветчиков. Попадались

даже «знакомые», то есть люди, каким-то образом слышавшие о нем, Феликсе Коне, хотя сам он с ними никогда не встречался. Один «чистокровный интеллигент», как он сам выразился, даже попытался затеять политическую дискуссию.

Как бы ни была курьезна встреча с «чистокровным интеллигентом», но следующая встреча Кона не только удивила, но и потрясла. Перед ним стояла Светлана Сайлотова, давняя девчушка из далекого Минусинска и совсем недавняя сестра милосердия, ставшая женой полковника Пшебышевского. Она помогала Феликсу освобождать Мариана из тюрьмы, посаженного туда по приказу Керенского. Потом они оба уехали в Сибирь. В конце восемнадцатого Кон снова встретился с Марианом — в Киеве при весьма неблагоприятных для полковника обстоятельствах. Его арестовали чекисты, и он наверняка был бы расстрелян, не вмешайся снова в его судьбу Кон.

…Похудевшая и постаревшая Светлана сидела перед Феликсом Яковлепичем и торопливо повествовала о своих злоключениях.

— Еще в Минусинске я натерпелась страхов за него. Сначала его арестовали по приказу Ревкома, а когда он бежал из минусинской тюрьмы, то вскоре стало известно и совсем черт знает что!..

— Что же именно? — ласково спросил Феликс Яковлевич.

— Атаман Семенов назначил за его голову миллион рублей золотом.

— Ого! — усмехнулся Кон. — Это уже какая-то не атаманская, а купеческая щедрость. А что дальше?

— А то, что было дальше, меня совсем сбило с толку. Адрианов, Александр Васильевич — вы его, конечно, помните? — сказал, что Мариан бежал в Японию, а оттуда в Америку. Не мог же Алексапдр Васильевич выдумать. Он человек серьезный.

— Еще бы, — в бороду пробурчал Кон. — У Колчака чиновником для особых поручений служил. Но в данном случае он вам все верно обсказал.

— Вот и я так думаю, — тихо сказала Светлана, уловив перемену в голосе Кона: видимо, ему не понравилось упоминание об Адрианове, с которым он, кажется, приятельствовал в бытность свою в Минусинске. — Между прочим, Александр Васильевич помог из тюрьмы выбраться, когда меня колчаковцы за решетку упрятали…

— Это ему зачтется.

— И вдруг… — продолжала Светлана, — получаю полтора года назад весточку от Мариана — из Варшавы. Хотела было сразу же ехать к нему, да как уедешь? Война, фронты… А как

узнала, что Пилсудский напал на нас, так кинулась сюда. Хотелось как-нибудь узнать, убедиться, что не мог Мариан воевать с Россией. Не тот он человек! Вот вы тоже поляк, а не воюете же с нами…

Феликс Яковлевич улыбнулся, но промолчал, давая тем самым понять, что готов слушать дальше.

— Кое-как добралась до фронта, а куда дальше? Мыкалась туда-сюда, всюду бои идут… А однажды поезд, в котором я ехала, захватили прорвавшиеся в тыл польские уланы. Я сказала офицеру, что я жена полковника Пшебышевского. Он о нем, конечно, ничего не слыхал. Но меня уланы согласились взять с собой. В Ровно я явилась к военному коменданту. И когда сказала, чья я жена, меня тут же арестовали. Вежливым тоном пояснили: «Ваш муж, пани, предатель и изменник. За предательство он скоро будет осужден и расстрелян…» Я даже плакать не могла. Все это какое-то трагическое недоразумение…

— Да, — сказал Кон. — Полковник Пшебышевский — человек исключительной отваги и мужества. Такими людьми, как ваш муж, будет всегда гордиться Польша.

Светлана смотрела Феликсу в лицо широко раскрытыми глазами.

— Значит, мой муж в самом деле шпион?

— Не шпион, разведчик. И притом разведчик высшего класса. Вы когда-нибудь об этом услышите подробнее и тогда поймете, какой это мужественный и стойкий человек и какой великий подвиг он совершил…

— Хватит! — крикнула вдруг Светлана. — Какое мне дело до его подвигов?! Теперь я знаю, что его арест не ошибка и уже никто и ничто его не оправдает. Они расстреляют его… Понимаете? Расстреляют! А мне он нужен живой… Не герой, не разведчик, а просто — живой! Что толку от трупа, даже если при жизни он был героем?!

— Да успокойтесь! Его уже не расстреляют…

Женщина испуганно вскинула на Кона затопленные слезами глаза:

— Что значит «уже»? Его нет в живых? Его уже расстреляли? Да? Вы это хотели сказать?

— Нет, я хотел сказать, что Пилсудский согласился обменять Солового на трех польских генералов, попавших к нам в плен.

Светлана схватила Кона за руку:

— Соловый? Кто такой? Почему вы говорите о каком-то Соловом?

— Соловый — подпольная кличка вашего мужа. Обмен состоится недели через две, когда доставят генералов.

— Это точно? А он не передумает, этот Пилсудский?

— Нет. У Пилсудского большая убыль в генералах. И три генерала, по его мнению, стоят одного полковника…

В июле Варшава особенно великолепна, хотя теперь, после четырехлетней мировой войны и двухлетнего гражданского разорения, она выглядела все-таки уныло и растерянно.

Но парк Лазенки по-прежнему в благоухании цветов и сверкании зелени, из которой кое-где торчат стволы орудий, а если получше вглядеться в клубящиеся вдоль аллей кустарники, то можно разглядеть пулеметные гнезда: Бельведерский дворец — бывшая королевская, а ныне пана Пилсудского резиденция усиленно охраняется.

С утра у пана «начальника» государства — совещание: собран весь высший генералитет Польши.

Сам Пилсудский уже не похож на того стройного обаятельного брюнета, каким его впервые встретил Кон в 1905 году. Теперь это сильно располневший господин с густыми шляхетскими усами, и даже маршальский мундир не скрывает тяжести его фигуры. Сбоку от стола стоит, подрагивая тонкими длинными ногами, командующий Северо-Восточным фронтом генерал Шептицкий. Генерал в сильном упадке духа. Доклад его сумбурен, нечеток, по все собравшиеся генералы слушают его с озабоченными, потемневшими лицами, на некоторых из пих даже отчаяние.

— Я чувствовал бы себя преступником, пан маршал, если бы утаил хоть каплю правды. Война, собственно, проиграна, и мое решительное мнение: надо любой ценой заключить с москалями мир…

Пилсудский нервно курит папироску за папироской. Некоторое время длится молчание. Потом Пилсудский кинул в набитую до краев пепельницу окурок, выпрямился в кресле:

— Будьте добры, садитесь, пан генерал. — Одутловатое лицо его с землистым оттенком слегка порозовело, и он заговорил уже с былым воодушевлением: — Мой предыдущий план войны имел существенный пробел. Недооценка конницы создала сложность в обеспечении быстрого решения на Южном фронте…

При этих словах генералы Галлер и Карницкий переглянулись. Ведь не далее как месяц назад… маршал в присутствии их обоих назвал Конную армию «оперативной нелепостью».

Пилсудский между тем продолжал:

— Из глубины страны на Южный фронт мы перебрасываем новые резервы. Кроме того, мною отдан приказ о немедленном

формировании двенадцати кавалерийских полков, предназначенных специально для разгрома Конной армии Буденного. Но поймите и вы меня, — резко потребовал Пилсудский, — постоянные неудачи на фронтах не могли не отразиться и действительно отражаются на общем настроении. Я принимаю к сведению ваши мысли о необходимости введения какого-то нового метода для задержания и нанесения поражения противнику и сделаю все, что нужно для этого сделать. Таким мероприятием, я согласен с вами, может быть введение в действие с нашей стороны большого числа конницы. К этому мы приступим немедленно и энергично. Но я не допущу проявления растерянности и упадка духа. Новым командующим Северо-Восточным фронтом я назначаю вас, генерал Галлер. Прошу вас представить на мое рассмотрение план продолжения кампании на востоке…

Через несколько дней Галлер представил план, который в общих чертах был одобрен Пилсудским.

— Мы поспешно, насколько это позволят возможности, — докладывал Галлер, — сконцентрируем все силы и одновременно южнее, на Люблинском направлении, создадим плацдарм для удара в тыл и фланг Западного фронта. А когда его передовые отряды оторвутся от тылов, когда растянутся коммуникации, мы, переформировав и пополнив соединения, нанесем решительный контрудар.

На Пилсудского повеяло холодком смертельней тревоги. Прерывающимся голосом он спросил:

— Где, по-вашему, мы должны сосредоточить главные силы для контрудара?

— На линии Вислы. — Галлер посмотрел Пилсудскому прямо в глаза. Маршал не выдержал этого взгляда.

— Рисковать Варшавой я не могу, — тихо произнес он.

— Тогда придется рисковать Польшей.

— Хорошо, — сказал Пилсудский. — Но имейте в виду, генерал… Просить мира, потеряв Варшаву, я не стану, Я пущу себе пулю в лоб.

— Я тоже, — сказал Галлер…

Все быстрее и быстрее постукивают колеса, поезд летит на север, набирая скорость. В правительственном вагоне едут в Петроград из Киева Феликс Яковлевич Кон, Дмитрий Захарович Мануильский. В Октябрьские дни Дмитрий Захарович был членом Военно-революционного комитета при Петроградском Совете, а ныне — на партийной советской работе на Украине. Вместе с

ними на открытие II конгресса Коминтерна едут секретарь ЦК КП(б) Украины Серафима Ильинична Гопнер, Федор Андреевич Сергеев (Артем) — известный донецкий революционер…

За окнами уплывает назад разоренная гражданской войной и интервенцией страна, все шире развертываются степи, все неогляднее просторы — и вот уже вместо беленых малороссийских хат замелькали русские деревни с потемневшими от дождей бревенчатыми избами, крытыми соломой… Глядя на них, Феликс Яковлевич вспомнил добротные крестьянские жилища в Сибири, в Минусинском уезде, где дома сплошь крыты тесом, а то и железом. Крепко жили минусинские и шушенские крестьяне, а вот, насколько известно, и они не выдержали колчаковских порядков, восстали, да еще самыми первыми во всей Сибири…

Незабываемые впечатления оставили встречи на конгрессе Коминтерна, и прежде всего так давно ожидаемая встреча с Владимиром Ильичем!

Но события на Западном фронте развертывались таким образом, что Феликсу Яковлевичу пришлось покинуть заседания конгресса задолго до его окончания. В составе Польбюро, созданного для руководства партийной работой на территории, освобожденной от войск Пилсудского, он выехал в Польшу.

Тридцать шесть лет назад Кон впервые посетил этот город. Тогда Белосток был грязным тихим городишком, населенным ремесленниками и польско-еврейской беднотой. В Белосток направил его Куницкий. Какая огромная жизнь протекла с тех пор!

И опять жизнь Феликса Кона измеряется краткими часами, а порой и минутами — от митинга до митинга. Митинги, митинги, митинги… А вот и еще один митинг — самый грандиозный в эти дни: по случаю национализации промышленных предприятий. Весь Белосток вышел па улицы.

— Наши имена, имена членов Ревкома, вам хорошо известны, дорогие мои земляки! — Феликс Яковлевич высоко над головой поднял обе руки. — Это имена людей, которые с юности посвятили свои жизни борьбе за освобождение рабочего класса. Это имена людей, которых но смогли запугать виселицами, которых не сломила сибирская каторга, которые не прятались от пуль на фронтах гражданской войны, защищая правое дело рабочих и крестьян, боровшихся со своими эксплуататорами. И мы заявляем вам, что Красная Армия идет к вам, неся на своих знаменах дорогой сердцу каждого революционера лозунг: «За нашу и вашу свободу!» Ваши русские братья в красноармейских

шинелях не за тем вступили в пределы Польши, чтобы завоевать ее. Эту войну им навязала правящая клика Пилсудского. Мы твердо верим, что будущую социалистическую Польшу вы будете строить своими руками…

Но в битве на Висле войска Красной Армии потерпели поражение и начали отступать. 18 марта 1921 года Советская Россия в Риге подписала мирный договор с Польшей.

Трудный 1924 год. Трудный, страшный горем, обрушившимся на партию и весь советский народ. Умер Ленин. Для Кона это горе еще и глубоко личное — потому что с самой первой встречи в Минусинске он любил этого человека. Именно его, Феликса Кона, посылает Центральный Комитет партии своим представителем на партийную конференцию Ульяновской губернии в год смерти Ильича.

Старый революционер, которому в этом году исполнится шестьдесят лет, здесь, в городе на Волге, особенно остро почувствовал душевную близость Ленина к народу. «Понимание масс, — думал Кон об Ильиче, — всех их болей и потребностей, интуиция, которая давала ему возможность видеть, как та или иная идея будет воспринята массами, умение понять сомнения масс и вдохнуть в них уверенность в своих силах, умение, которое было результатом непоколебимой веры в массы, — это то, что сделало Ленина гениальным провидцем. Он не только вмещал в себя дух миллионов людей, он сам миллион, потому что черпал свою душевную силу в миллионах и действовал через миллионы…»

Жителям Ульяновска долго помнилась фигура человека в длинном пальто и широкополой шляпе, ходившего по улицам и переулкам бывшего Симбирска. Феликсу Яковлевичу хотелось самому, не прибегая к расспросам местных жителей, выйти на Венец. Он знал, что так назывался край высокой горы, на которой раскинулся город. Владимир Ильич часто вспоминал Венец и в Сибири, и потом — в Швейцарии.

На своем веку Кон видел не только Вислу. Он жил долгие годы на самых величайших реках Сибири — на Лене и Енисее. Он пересекал и Волгу, но выше, где она по ширине такая же, как Лена и Енисей в среднем течении. Но то, что он увидел здесь, поразило его. И невольно подумалось, что, не зная как следует Волги, нельзя понять душу великого русского народа, с незапамятных пор обжившего ее берега!

…Зал переполнен. Помимо делегатов присутствует весь партийный, комсомольский, хозяйственный актив города и губернии. На трибуне — Феликс Кон. Кое-кто видит ого не

впервые: встречали на съездах, конгрессах. Он по-прежнему строен, потому что годы и лишения не в силах превратить его в согбенного старика. Серебряная с чернью борода аккуратно подстрижена. На нем черный тщательно отутюженный костюм, жилет, галстук, у него могучая с проседью шевелюра, лучатся ярко-синие глаза, в правой руке он держит очки, сильными пальцами левой держится за край трибуны.

— Товарищи! — говорит он голосом признанного всей страной оратора. Твердый голос его звучит под сводами зала как клятва. — Товарищи! Мы собрались в дни, когда осиротела наша партия, когда не стало великого вождя… Когда умер Маркс, старый Энгельс сказал: «Маркса нет, нет человека, к которому стекались со всего света революционеры за руководством и советом. Нет Маркса — осиротел рабочий класс. Нет Маркса, — продолжал тогда старый Энгельс, — но есть марксизм». Мне сегодня довелось сказать то же самое и о Ленине. Мы должны сказать: Ленина нет, но рабочий класс идет указанной им дорогой! Ленина нет, но есть ленинизм. Ленина нет, но есть созданная и выпестованная Лениным Российская Коммунистическая партия!..

Революционер, патриот-интернационалист, государственный деятель (вместо послесловия)

Феликс Яковлевич Кон прожил свой век необыкновенно напряженно. Жизнь его невозможно было вместить в рамки небольшой художественно-документальной повести, последнюю страницу которой мы только что закрыли. Читатель познакомился с героем в бурные годы его революционной деятельности. В последнюю треть жизни Кону, уже умудренному богатым и разнообразным опытом, довелось на практике осуществлять то, за что он самоотверженно, целеустремленно и последовательно боролся вместе с товарищами почти четверть столетия.

В 17 лет, пишет Ф. Кон, «я готов был идти на бой со всем миром лжи и лицемерия, обиды и неправды, со всем миром горя и неволи… Я не ставил себе вопроса „что делать?“. Для меня этот вопрос не существовал». Нравственное озарение выливалось в социальный протест, звало «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» перейти «в стан погибающих», открыть перед ними причины гнетущего их рабства, открыть им глаза на ту силу, которая в них сокрыта, разбудить эту силу «… тогда… тогда… тогда… великое дело будет сделано: рухнет в пропасть царство неправды и рабства, а над землей воссияет яркое солнце свободы…».

Для большинства выходцев из состоятельных слоев участие в борьбе было, увы, лишь эпизодом, пылким порывом мятежной юности. Кон в своем выборе был последователен. В 17–18 лет, когда человек по-настоящему определяется, созревает как член общества, с четкими морально-этическими ориентирами, с понятием о долге, юный гимназист вступил в социалистический кружок. Первокурсником он основал кассу помощи нуждающимся студентам, чем навлек на себя гнев ректора.

За юношей, уже членом партии «Пролетариат», закрылись ворота страшной тюрьмы — Варшавской цитадели. К тому времени была закончена его первая агитационная брошюрка «Безработица», которой он немало гордился. Чуткий к чужой беде, он сумел понять и доказать в ней аморальность эксплуатации, недопустимость попрания достоинства человека труда. Будучи убежден в своей нравственной правоте, он говорил

на суде об одном из главных мотивов, приведших его к идее социализма: «Меня не мог не поразить вид изголодавшейся, истощенной массы рабочих, выгоняемых на мостовые Варшавы… Все эти явления вызвали у меня недовольство существующим порядком… ныне прокурор требует для меня смертной казни. Защищаться я не желаю и ожидаю своей судьбы с сознанием исполненного долга».

Всю жизнь Ф. Кон оставался верным идеалам и ценностям тех лет. «Очень впечатлительный, искренний, хороший товарищ, преданный делу, способный на самые большие жертвы», — писал Лев Дейч. Кон в суровое двадцатилетие каторги и ссылки много сил отдавал тому, чтобы поддержать и облегчить участь своих товарищей. Он был душой организации, собиравшей средства для побегов, обеспечивавшей беглецам временный приют, имевшей связи во многих городах Восточной Сибири.

В эмиграции Ф. Кон работал в Краковском союзе помощи политзаключенным. В этом союзе состоял В. И. Ленин, а Н. К. Крупская была его активным членом. Перебравшись с началом мировой войны в Швейцарию, Ф. Кон возглавил бюро касс помощи эмигрантам. Секретарем бюро стала Н. К. Крупская. После Февральской революции был создан комитет для возвращения политэмигрантов в Россию. Феликс Яковлевич вошел в его исполнительную комиссию. Первая партия политэмигрантов во главе с Лениным прибыла в Петроград в апреле 1917 года. Следом выехал и Кон.

В Советской России Ф. Кон получил множество новых поручений и обязанностей. Старейшину революционного движения приняло в свои ряды Общество старых большевиков. Он был приглашен в редколлегию журнала «Каторга и ссылка», который издавало Всесоюзное общество бывших политических заключенных — каторжан и ссыльных. Талантливый литератор, он не считался со временем, редактируя статьи своих товарищей. Ему было ясно, насколько важны они для воспитательной работы, как велико их значение для сегодняшней жизни.

Общество старых большевиков по инициативе 10. Мархлевского, соратника Кона по польскому рабочему движению, внесло на IV конгресс Коминтерна в 1922 году предложение создать Международную организацию помощи борцам революции — МОПР. По этому вопросу на конгрессе докладывал Кон — как человек, воплощающий в себе высокий авторитет всемирной борьбы пролетариата. Он рассказывал о кровавых акциях контрреволюции в Германии, Венгрии, Польше, Прибалтике. У делегатов, собравшихся в зале, свежи были в памяти обстоятельства зверского убийства Розы Люксембург, Карла

Либкнехта. Делегатам конгресса передавалась взволнованность и глубокая убежденность прошедшего каторгу и ссылку революционера в необходимости материальной: и моральной поддержки соратников по борьбе. Конгресс принял резолюцию о создании единой международной организации рабочей взаимопомощи. Ф. Кон много лет действовал в ее рядах, взяв на себя существенную часть ее агитационно-издательской деятельности.

В публицистике Ф. Кона постоянно присутствовала тема заботы о чистоте морального облика коммуниста и комсомольца. По заказу Госиздата он написал брошюру «Каким должен быть коммунист». Необходимые коммунисту морально-этические качества были охарактеризованы по Ленину. Досталось безучастным и равнодушным, тем, кто бюрократически рапортует по начальству: «Все благополучно!» Резкому осуждению подверглись те, кто, переставая служить трудящимся, грешит комчванством. Автор напоминал ленинское указание о том, что надо смещать тех коммунистов, которые не учатся всерьез делу управления. «Не коммунист и тот, — писал Ф. Кон, — кто не смеет своего суждения иметь, кто угодничает, подхалимничает. Партии нужны мыслящие люди, а не старающиеся угодить лакеи, всегда и всему поддакивающие».

Когда в 1940 году отмечалось двадцатилетие речи Ленина на Третьем съезде комсомола, Ф. Кон откликнулся на него горячей, задорной статьей «Что значит быть комсомольцем». Лейтмотивом выступлений Кона-пропагандиста, Кона-агитатора всегда оставалась мысль: жить по-ленински, равняться на Ленина. В его душе как бы звучали строки революционного поэта: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше».

Как политический деятель, Ф. Кон прошел сложный путь, отражавший основные этапы развития польского рабочего движения. Он входил в руководящие органы ряда революционных партий и организаций. Разумеется, в художественно-документальной повести невозможно описывать их историю, вникать во все перипетии борьбы группировок и течений. Право автора — выбрать основную линию жизненного пути своего героя. Вместе с тем читателя заинтересует, как Кон искал и нашел верные ориентиры, тем более что его эволюция к зрелому марксизму, к ленинизму, к расширению российско-польского революционного сотрудничества была знаменательным явлением. Она отражала тенденцию укрепления позиций революционно-интернационалистского направления польского рабочего движения. Его становление как патриота-интернационалиста

стало примером для многих.

Вступление Ф. Кона в партию «Пролетариат» пришлось на трудный для нее период отлива движения, потери ряда ее важных завоеваний, усиления тенденций террора, отхода под влиянием «Народной воли» от массовой борьбы. Провал следовал за провалом.

Заменив товарищей, Кон работал в подпольной типографии. Ему повезло: пришлось набирать брошюру «Кто чем живет?». Ее автором, скрывавшимся под псевдонимом «Ян Млот», был талантливый польский марксист Шимон Дикштейн. Он блестяще переложил в ней Марксов «Капитал». Ленин считал эту брошюру образцом марксистской популярной литературы.

Политические убеждения молодого социалиста крепли. Он писал, готовя пятый, оказавшийся последним помер газеты «Пролетариат»: «Погибли единицы, но партия живет и жить будет…» О своей верности ее делу он отважно заявил и на следствии.

В Десятом павильоне Варшавской цитадели после вынесения приговора двери камер не запирались. Вместе с друзьями — осужденными на смерть С. Купицким и П. Бардовским, приговоренными к каторге Л. Варынь-ским, Л. Яновичем и Т. Рехневским Кон страстно обсуждал уроки борьбы, судьбы движения. Все помыслы были устремлены в будущее. Работала «тюремная школа»: надо было успеть передать рабочим свои знания, привить азы марксизма.

Однако позже, вспоминая те дни, Ф. Кон не случайно называл себя на том этапе движения скорее народовольцем. Ведь он утверждал на следствии, что считает террор правильной мерой и солидарен в этом с товарищами, хотя сам в террористических актах не участвовал. Осмысливание путей и методов революционной борьбы требовало времени.

Без малого двадцать лет каторги и ссылки стали подлинными университетами. Идейная жизнь была необыкновенно богата. «Я не упускал главного, — писал в воспоминаниях Ф. Кон, работавший письмоводителем у минусинского мирового судьи. — Не было ни одной книги, ни одной брошюры, ни одного воззвания, которых я бы в то время не читал по нескольку раз, и постепенпо из „пролетариатца“, сочетавшего марксизм с индивидуальным фабричным и политическим террором, действовавшего за массы, а не через массы, я превращался в „подлинного“ революционного марксиста…» С прибытием в ссылку членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» он многое узнал о нем от В. Курнатовского, лично познакомился с Лениным, хотя в силу ряда обстоятельств сближение с ним

произошло позже. Незадолго до освобождения Ф. Кон уже неплохо разбирался в состоянии революционного движения в России: «Многое тогда для меня, как мне по крайней мере казалось, выяснилось».

Долгожданная свобода пришла в сорок лет, когда человек обычно достигает расцвета сил и готов действовать, максимально мобилизовав все свои возможности. Ф. Кон был патриотом, о чем отважно, с вызовом заявил еще на суде. Он был готов продолжать борьбу за свободу своей родины. Вопрос был в том, где и как. К тому времени польское рабочее движение прошло длительный путь развития. В нем было два основных течения: одно стояло за национальное освобождение, отодвинув на второй план освобождение социальное и тяготея к террористическим методам деятельности; другое первостепенное значение придавало освобождению социальному и опиралось на массовые выступления. Не очень понимая суть этих расхождений, Кон примкнул к первому, тем более что дело происходило накануне революции 1905 года. На левом крыле Польской социалистической партии крепли силы, выступавшие за борьбу с самодержавием в союзе с революционной Россией. «После стольких лет я вновь приобщился к движению, ожил, помолодел, нашел цель и смысл жизни».

Между тем правое руководство социалистов настаивало на изоляции от растущего общероссийского революционного движения, на восстании — путче для отделения от революционной России, на отличии задач и целей движения. Ф. Кон, побывавший по пути в Варшаву на Украине, вдохнувший наэлектризованный разрядами приближающейся бури воздух Одессы, был убежден, что это неверно.

Весть о залпах на Дворцовой площади — о Кровавом воскресенье, о гневном протесте рабочих Петербурга вызвала взрыв негодования польских рабочих. Не прошло и недели, как все Королевство Польское было охвачено стачками. Атмосфера была накалена до предела. III съезд РСДРП приветствовал борьбу польских рабочих как одного из авангардных отрядов революции. Он выразил уверенность, что близок день, когда пролетариат разных национальностей сбросит объединенными усилиями самодержавие.

Месяц за месяцем польские рабочие, солидаризируясь с рабочими России, оставив работу, выходили на улицы. Они включились во всеобщую октябрьскую политическую стачку, развернули бои в поддержку Московского вооруженного восстания. Горизонты вдруг расширились. Будущее освободительного движения яснее виделось в тесной связи с

российско-польским революционным союзом.

Ф. Кон стал одним из руководителей левых социалистов. Он несколько раз ездил в Россию, установил прямой контакт с большевиками. При его деятельном участии в 1906 году оформилась революционно-интернационалистская ППС-левица, в которой восстание стало мыслиться как завершающий этап развития массового пролетарского движения в общероссийском масштабе.

Представления Кона о революционном процессе складывались во все более стройную систему. Этому помог Владимир Ильич Ленин — его рассуждения в Штутгарте об универсальном значении революции 1905 года, беседы с ним о позициях ППС-левицы по пути с конгресса. По-новому высветились перспективы решения польского вопроса. Кону стало ясно, что недалек тот день, когда левые социалисты, как и польская революционная социал-демократия, будут в одной партии с большевиками.

Вернувшись в мае 1917 года в революционную Россию, Ф. Кон публикует пронизанную чувством горячего патриотизма брошюру «Польский вопрос». Она рассказывает как русскому, так и польскому рабочему и крестьянину, за что боролась и борется порабощенная Польша, как в этой борьбе объединялись передовые силы обоих народов. Выход, подчеркивает он, не в обещаниях воюющих держав, в том числе Временного правительства, решить польский вопрос, а в совместной революционной борьбе за освобождение — после того, как «разразился гром русской революции». Кон восторженно приветствует первое слово, сказанное русской революционной демократией по польскому вопросу: «независимость», заявление Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, который «просто разрубил цепи, сковывающие Польшу». В следующих книжках, затрагивающих польский вопрос, он неуклонно будет подчеркивать, что своим освобождением Польша в первую очередь обязана Великой Октябрьской революции.

Почти пятая часть польского населения оказалась в это время на территории России. Двести тысяч польских интернационалистов стали солдатами Октября, защищали и отстаивали Советскую власть. Победа Октябрьской революции была в их делом, общей победой, приближавшей национальное и социальное освобождение польского народа. Из 7700 польских интернационалистов, биографии которых удалось собрать в «Книгу поляков — участников Октябрьской революции», каждый третий участвовал в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде или Москве, состоял в отрядах Красной гвардии,

почти каждый второй сражался в рядах Красной Армии или партизанских отрядах, каждый четвертый работал в Советах или их аппарате, в ревкомах или других революционных органах. Среди них видное место занял Ф. Кон.

На Украине, где осели к тому времени сотни тысяч поляков, параллельно с работой в рядах ППС-левица Ф. Кон развернул деятельность в органах власти — в системе Наркомнаца, уполномоченным Польского комиссариата по Харьковской области. В его обязанности входило скорейшее решение хозяйственно-организационных и национально-культурных проблем своих соотечественников. Он старался обеспечить опеку над ними, облегчить тяготы жизни беженцев, пленных и солдат, всеми силами помочь в их заботах и хлопотах. Харьковский губернский польский комиссариат вырос в республиканский — Украинский комиссариат по польским делам.

Деятельность Ф. Кона среди поляков на Украине приобретала все более широкие масштабы, особенно в области агитации и пропаганды. Ее содержанием было прежде всего воспитание пролетарского интернационализма, укрепление базы дальнейшей борьбы за воплощение в жизнь целей революционного союза советского и польского народов. Она открывала для польского народа новые исторические перспективы.

Знания Ф. Кона, его талант агитатора снискали ему широкую известность. Уже тогда его воспринимали как полпреда поляков-интернационалистов, как живое олицетворение интернационалистских традиций дружбы и сотрудничества братских народов. Его избрали членом коллегии Наркоминдела УССР. Он стал членом большевистской фракции ВУЦИК (к тому времени он уже был коммунистом, вошел в КП(б)У с зачетом стажа в ППС-левице). Как крупного политического деятеля коммунисты Украины провели его в состав своего Центрального Комитета. Он был избран членом, а затем секретарем Контрольной комиссии, заведовал агитационно-пропагандистским отделом ЦК КП(б}У. За этим последовало избрание в члены Политбюро, Оргбюро. В 1921 году Ф. Кон — первый секретарь ЦК КП(б)У.

Особой страницей в биографии патриота-интернационалиста стала деятельность в составе Польревкома — Временного революционного комитета Польши.

Когда в апреле 1920 года Пилсудский пошел на Киев, а Красная Армия дала ему отпор и вступила в силу военной необходимости на польскую территорию, польские правящие круги говорили о якобы продолжающейся угнетательской политике русских, о том, что только польская армия воюет за

независимость Польши. Между тем советское командование предоставило решать судьбы занятой польской территории и ее населения самим полякам. Работавшие в то время в Советской России крупные деятели, известные руководители польского рабочего движения Ю. Мархлевский, Ф. Дзержинский, Ф. Кон и другие 30 июля 1920 года создали Польревком. В тот момент, как писал Кон, «можно было надеяться, что и пролетариат Польши добьется своего освобождения». У Польревкома была большая программа, отвечавшая жизненным интересам польского народа, — создать революционные комитеты на местах, призвать к жизни органы власти польского пролетариата — Советы рабочих депутатов, провести ряд коренных социально-экономических преобразований: национализировать промышленность, конфисковать помещичью собственность, одновременно гарантируя крестьянам неприкосновенность их наделов, и т. д. Он заверял трудящихся, что судьбу страны будет решать избранное народом революционное правительство.

Польревком, а также около 140 местных ревкомов в течение 23 дней реализовали эту программу, при этом, как свидетельствовал Ю. Мархлевский, «всегда подчеркивалась политическая и национальная самостоятельность Польши».

Ф. Кон вел партийно-политическую работу, налаживал издательское дело, писал листовки, воззвания, газетные статьи. Он отвечал за отдел народного образования Польревкома. Готовился к началу учебного года — нужны были учителя, школьные помещения. Он создавал единую трудовую школу, доступную для всех, читал для учителей лекции «Школа раньше и теперь». Организовал курсы для неграмотных.

Польревкому удалось сплотить вокруг себя городской рабочий класс. Однако это были преимущественно крестьянские районы, в которых влияние коммунистов было невелико. Значительная часть населения осталась пассивной. С отходом Красной Армии прекратил свою деятельность и Польревком. Ф. Кон долго испытывал горечь неудачи. Только Ф. Дзержинский смог влить в него оптимизм своей уверенностью, что настанет день, когда революция победит и на их родине.

К проблемам Польши Ф. Кон возвращался в своем творчестве постоянно. Он много раз издавал, дополняя и шлифуя, свои яркие, написанные живо и образно воспоминания. Трехтомник «За пятьдесят лет» по сей день не потерял своей свежести и увлечет любого читателя. Одновременно он плодотворно работал как ученый-историк. В центре его научных поисков были начальный период польского рабочего движения (партия «Пролетариат») и история революционного движения в России,

особенно период революции 1905–1907 годов. В общероссийском революционном процессе он всегда находил место для показа совместных боев польского и русского пролетариата.

Много книг было написано им о современной Польше — от систематических исследований до популярных брошюр. С болью писал он о трудных проблемах межвоенного периода капиталистической Польши, о закабалении ее иностранным капиталом, об ущербной политике правящих классов и тяжелом положении трудящихся. Он постояппо возвращался к проблеме налаживания советско-польсиик отношений, подчеркивал миролюбивый характер внешней политики Советского государства, указывал, что «интересы Польши и СССР властно требуют установления мирных добрососедских отношений». Он радовался, когда в 1932 году был заключен договор с Польшей о ненападении.

Особое значение Ф. Кон придавал развитию дружеских отношений между советским и польским народами, не щадил сил для пропаганды традиций российско-польского революционного союза. Он справедливо полагал, что огромной мобилизующей силой для польских трудящихся является сознание того, что рабочий класс России уже добился освобождения и дело теперь за польским пролетариатом. Он стал одним из самых последовательных пропагандистов революционно-интернационалистских традиций.

За Ф. Коном закрепилась к тому времени слава убежденного и последовательного интернационалиста. В международном коммунистическом движении авторитет старейшины революционного движения был непререкаем. Деятельное участие в работе конгрессов Коминтерна, обширные контакты и живой интерес к делам коммунистов разных стран логически привели к его избранию в 1922 году на IV конгрессе секретарем Исполкома. Через год он стал членом Интернациональной контрольной комиссии, а с 1927 по 1935 год был заместителем председателя этой комиссии.

Ветеран польского рабочего движения особым уважением пользовался в Коммунистической партии Польши, хотя в те годы несколько отошел от ее проблем. Польские коммунисты приглашали его на свои съезды как гостя. Особенно важен для партии был II съезд, проходивший в 1923 году под Москвой, в Болшеве. На нем анализировались итоги послеоктябрьского пятилетия. Настроение было приподнятым. Ленин был избран почетным председателем съезда. Партия уверенно шла по ленинскому пути. Секретаря Исполкома Коминтерна Ф. Кона делегаты приветствовали пением Интернационала, пригласили в

президиум. Он вел заседание, на котором руководители братских партий, а в их числе М. Кашен и Б. Шмераль, обсуждали перспективы революционного движения, делились опытом борьбы.

Обязанности Кона в Исполкоме были весьма многообразны. Но особое внимание он всегда уделял идеологической борьбе. Острое перо опытного публициста верно служило актуальным задачам агитационно-пропагандистской работы как внутри страны, так и на международной арене. Писал он много, щедро. В выходивших огромными тиражами книжицах всегда были свежие, убедительные факты и цифры. Любое издательство считало удачей для себя заручиться его согласием написать брошюру к Первомаю. Из нее можно было узнать историю праздника, смысл его традиций. Каждый раз обновляй материал, Ф. Кон рассказывал о насущных проблемах строительства социализма в СССР и о ходе борьбы международного пролетариата. В годы мирового экономического кризиса он показывал преимущества планового хозяйствования перед задыхавшейся в тисках кризиса капиталистической экономикой, подчеркивал прочность социалистического строя, которому капиталисты пророчили скорую гибель. В период наступления фашизма брошюры Кона звали к борьбе против гитлеризма и военной опасности. Он пропагандировал ленинские оценки I, II и III Интернационалов, писал о противоречиях капитализма, о борьбе рабочего класса на Западе, об освободительном движении па колониальном Востоке. Ему не всегда удавалось уберечься от распространенных тогда несколько завышенных, схематичных оценок, но он не раз реалистически оценивал ситуацию, отмечал, что час революции на Западе еще не пробил. Большой опыт, знание состояния рабочего движения в различных странах позволяли ему видеть общее и особенное. «…Действуя в различных странах, отличающихся друг от друга политическими и социальными условиями и степенью экономического развития, — указывал он, — коммунистические партии наряду с общими для всего пролетариата интересами должны считаться в своей борьбе с конкретными условиями данной страны, с теми специфическими вопросами, которые выдвигает жизнь у них». В борьбе против оппортунизма и соглашательства старый революционер был непримирим.

Главное место в публицистике Ф. Кона занимала пропаганда идей Ленина, Великого Октября. В брошюре «СССР — ударная бригада мирового пролетариата» он писал, что трудящиеся всего мира высоко ценят наши успехи и гордятся ими, «ибо достижения СССР — это достижения всего мирового пролетариата».

Ф. Кон стал крупным государственным деятелем. Он принимал участие в работе многих съездов партии, ряда съездов Советов, входил в состав ВУЦИК и ВЦИК Советов, был членом Президиума ЦИК СССР. На его долю выпала роль одного из ведущих организаторов культуры.

Человек гибкого, живого ума, имеющий вкус к творчеству, к умственной работе, испытывающий мощный духовный взлет, Ф. Кон одновременно был динамичным организатором. Молодая Советская Республика решала задачи создания системы народного образования — он был в 1919–1920 годах членом коллегии Наркомпроса. В 1930–1931 годах он вновь стал членом коллегии этого наркомата, заведуя в нем сектором искусств, и с увлечением занимался проблемами советского театра и кино, писательской среды, другими отрядами творческой интеллигенции, в том числе деятелями изобразительного искусства. Именно он был создателем Центрального дома работников искусств. Его дарили заслуженным уважением и искренней дружбой К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, О. Л. Книппер-Чехова и Вс. Мейерхольд, писатель А. Серафимович, художник И. Бродский и многие другие. Искусство становилось поистине народным, чему в немалой степени способствовали усилия и Кона, большое внимание уделявшего, в частности, раскрытию талантов самодеятельного искусства.

Развертывалась радиофикация страны. Встала огромной сложности задача — доходчиво и убедительно, без излишней лозунговости и схематизма выйти на многомиллионного слушателя. Созданный в 1931 году Всесоюзный комитет по радиовещанию возглавил Ф. Кон.

Остро встала задача упорядочения музейного дела, налаживания охраны памятников. Ф. Кон был назначен заведующим музейным отделом Наркомпроса и ответственным редактором журнала «Советский музей», а в 1934 году — председателем Комитета по охране памятников революции, искусства и культуры при Президиуме ЦИК СССР. Благодаря его заботливому, уважительному отношению к наследию прошлого многое удалось спасти от безвозвратной утраты. Ф. Кон был одним из инициаторов создания Музея В. И. Ленина, открытого в 1936 году.

Талантливый публицист, чье литературное мастерство совершенствовалось год от года (в 1934 году он был принят в Союз советских писателей), Ф. Кон постоянна привлекался к ответственной работе в советской печати. После нескольких лет редакционной работы на Украине он взял на себя обязанности

заместителя ответственного редактора начавшей выходить в 1924 году армейской газеты «Красная звезда». В 1927 году стал ответственным редактором журнала «Каторга и ссылка», с 1928 по 1930 год редактировал ежедневный орган ЦК ВКГТ(б) «Рабочую газету», приложениями к которой были «Крокодил», «Работница», «Мурзилка», «Экран» и другие массовые издания. Последние пять лет своей жизни руководил изданием журнала «Наша страна».

Везде и всегда Ф. Я. Кон мыслил по-государственному. «… Когда происходит смотр и проверка пройденного пути, — писал он, — когда подводятся итоги борьбы и работы без Ленина, перед пролетариатом СССР и перед всем мировым пролетариатом стоит вопрос, шел ли он по намеченному Лениным пути, не уклонялся ли он от ленинизма, каких результатов добился, какие задачи стоят в настоящее время перед памп».

На любом посту он оставался внимательным к окружающим, заботливым и скромным. Слово «подчиненный», как пишет в воспоминаниях Лидия Феликсовна Кон, он не терпел и никогда не употреблял. «Он хотел, чтобы каждый из работающих с ним людей чувствовал себя не просто служащим данного учреждения, а участником общего дела, понимал и любил это дело». Поощрял деловые соображения, очень ценил инициативу, всякого рода предложения. Прекрасно умел их использовать.

Несмотря на преклонный возраст, Ф. Я. Кон был подвижен, энергичен, очень легок на подъем. 22 июня 1941 года, когда над Страной Советов нависла смертельная опасность, он решил, что слово опытного агитатора, обладающего силой убеждения, сейчас нужнее всего на фронте. Пусть давно дают о себе знать болезни, приобретенные полвека назад в Сибири, в Якутии. Увы, его просьба направить в действующую армию была отклонена. Он долго не мог пережить тяжкой обиды.

Но ветерана международного рабочего движения, старого польского революционера не забыли. На Пушкинской площади, на Путинках начинает работу Польская редакция Московского радио. Феликс Кон — ее главный редактор. Вслед за заявлением Советского правительства о нападении гитлеровской Германии на СССР в эфир идут первые сообщения и комментарии о международном положении, которые слышит оккупированная Польша. Бороться с фашизмом надо вместе. Залог победы в этом. Кон пишет комментарий за комментарием. Вокруг пего — первые сотрудники редакции. Не беда, что еще не утверждены штаты, никто не получает пока зарплаты. Он добьется, ускорит, поможет. Главное — начато новое важное дело. Глаза старого революционера блестят. Он с упоением декламирует своего

любимого поэта Адама Мицкевича. «Ода к юности». Через минуту, не чувствуя усталости, взбегает по лестнице. Надо налаживать дела редакции.

28 июля 1941 года пароход, направлявшийся в эвакуацию, задержался у пристани Малоярославца — снимали тело Ф. Я. Кона, сердце которого не выдержало напряжения.

На Новодевичьем кладбище в Москве, невдалеке от стены, над темным гранитом памятника с барельефом революционера-интернационалиста шелестят листвой белоствольная береза и крепкий, раскидистый каштан. Совсем такой, как в Варшаве.

И. Яжборовская доктор исторических наук

notes

Примечания

1

Революционный народник. Один из организаторов «Земли и воли» и «Народной воли».

2

Агент Исполкома «Народной воли» в Третьем отделении.

3

Рабочему Шмаусу и капитану Люри смертная казнь была заменена каторгой.

4

Кличка Пилсудского.

5

В это время Кон нелегально проживал по австрийскому паспорту на имя Яповского.

ППС-левица и СДКПиЛ, объединившись, в 1918 году создали Коммунистическую рабочую партию Польши.